

Страница главного редактора	
Живой родник.....	3

ПРОЗА

ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ «Белая Акация»	
Евгений Шишкин	
Мужская жизнь (главы из романа).....	5
Юрий Козлов	
Без телевизора (рассказ).....	47
Сергей Скрипаль	
Я – афганец (повесть).....	91
Екатерина Полумискова	
Рассказы.....	176
Лилия Жидкова	
Рассказы.....	241

ПОЭЗИЯ

Алла Халимонова-Мельник	
Стихотворения.....	82
Александр Комаров	
Стихотворения.....	86
Елена Гончарова	
Стихотворения.....	208
Анатолий Шевякин	
Стихотворения.....	213

НЕИЗВЕСТНАЯ КЛАССИКА

Яков Абрамов	
Мещанский мыслитель.....	216

КРАЕВЕДЕНИЕ

Алексей Кругов	
Олег Парфенов	
Бои за перевалы.....	250
Петр Федосов	
Мое военное детство.....	260
Николай Блохин	
Подснежники для «курсистки».....	268
Михаил Петросян	
Рабочий, революционер, писатель.....	278

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Юрий Селиванов	
Пусть жизнь мою ветер листает.....	293
Петр Чекалов	
Запечатленное время.....	301
Сведения об авторах.....	316



Литературное

Ставрополье

№ 1_ (2017)



© Правительство
Ставропольского края

ББК 84 (2 Рос = Рус) 6
УДК 821.161.(470.630)-8
Л 64

Редакционная коллегия:

**И. Аксенов, Н. Блохин, Е. Гончарова, А. Куприн,
Е. Полумискова, С. Скрипаль, О. Страшкова,
Т. Третьякова-Суханова,**

Л 64 Литературное Ставрополье. Альманах. –
Ставрополь. 2017 г. № 1.

Адрес редакции:

355006, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 78.

Тел.: (8652) 26-31-50

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Технический редактор: А.А.Рудометова

Дизайн, верстка: О.О. Буданов

Сдано в набор 10.06.2017. Подписано в печать 20.06.2017.

Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Гарнитура «Georgia». Усл. печ. л. 10,0. Уч.-изд. л. 8,26.

Заказ № 4526 Тираж 979 экз.

ООО «Алатырь» Россия, 115114, г. Москва,

2-й Кожевнический переулок, дом 1

ISBN 978-5-906930-47-7



ЖИВОЙ РОДНИК

Чувство родного языка приходит к нам с первыми словами. А затем, с возрастом, в процессе познания мира, бесценный запас их благодатно пополняется день ото дня. Мне несказанно повезло, потому что детство и юность прошли в донском казачьем хуторе, среди простых и умудренных жизнью людей. Их разговоры, неторопливые беседы и горячие споры, шутки и песни исподволь входили в мою детскую душу, волнуя потаенным смыслом, неразгаданностью и особым очарованием. Смешанный диалект из русских, казачьих и украинских слов, – эта удивительная языковая радуга и поныне остается для меня родной и близкой!

Но прежде всего, грамотной речи учился я у родителей, преподавателей начальных классов, любивших и литературу, и музыку, и живопись. Многие дали мне рассказы дедушки Петра Андреевича, чья судьба по драматизму, обилию событий и лишений могла бы стать сюжетом не для одного романа. Когда же пристрастился к чтению и с каждой книгой открывал новый неповторимый мир, я вдруг понял безграничные возможности и силу писательского волшебства! Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Чехов. Их томики, скромно изданные в послевоенное время на тусклой бумаге, но – многомиллионными тиражами – постоянно хранились на этажерке в нашей квартире, стали как бы неотъемлемой частью семейной обстановки. В школе увлекся я Тургеневым, Шолоховым и Есениным. Так год от года шло освоение великой словесности. И впоследствии, постигая премудрости литературного дела, убедился, что невозможно стать писателем без изучения опыта русских классиков, наших великих предшественников.

В «Школе литературного мастерства», которой руковожу я второй год,



СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА





учащиеся, люди вполне взрослые, заполняют анкету, где указывают любимых писателей. Студенты и выпускники филологических факультетов университета и институтов уверенно перечисляют зарубежных фантастов, эзотериков, детективщиков, наших – Пелевина, Сорокина, поэтов интернетовского посева. И лишь несколько человек – отечественных классиков. Из бесед с молодыми литераторами становится понятно, сколь невежественны они, ограничены, бедны языком и творческими задумками. Трудно поверить, что предо мной выпускники или студенты университета!

Увы, многое объяснил мне профессор СКФУ, ученый с международным именем. Выяснилось, что программа в университете построена таким образом, что на изучение Толстого, Тургенева и Достоевского отведено лишь несколько часов. (В зарубежных университетах их творчество изучается досконально, курсами.) Зато предпочтение у нас отдается писателям-модернистам и второсортным диссидентам, с «либеральными» взглядами, богемным кошунникам, прославившимся употреблением нецензурной лексики и пропагандой разврата. Не лучше ситуация и в школе, где сокращены часы для изучения классиков.

Да, далеко зашло российское академическое и школьное образование! Верней, далеко завели их господа Фурсенко и Ливанов. В последнее время уже на правительственном уровне заговорили о состоянии русского языка. Благодаря «стараниям» некоторых СМИ, интернетовскому «базару», переводам иностранных фильмов, сленгу молодежи и блатной «фени», он превращается в дикое унифицированное наречие с английским акцентом. Я уже не говорю о незнании молодежью отечественной истории, великих соотечественников – военачальников, ученых, писателей. Ситуация крайне тревожная. И недаром по предложению президента В. Путина в прошлом году создано «Общество русской словесности» под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В принятых на учредительном заседании документах сказано, что проблемы преподавания литературы и русского языка в современной российской школе требуют широкого профессионального и общественного обсуждения.

Думаю, и ставропольским писателям необходимо включиться в эту важнейшую дискуссию. Родная речь, брошенная на произвол судьбы, в условиях бездуховности и засилья всего западного, нуждается в защите. Мы несем ответственность перед будущими поколениями. Ибо русский язык, единственно родной и прекрасный, данный нам Богом, был и остается главной скрепой российского общества.



ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ
«Белая Акация»

МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ

1

В армии у меня было два закадычных друга: Гриша Михальчук из Одессы и Петя Калинин из Ростова-на-Дону. Мы с ними «два года в окопах вшей кормили»... По правде-то, ни в каких окопах мы не были, а были на огневых позициях батареи, а вшей я вообще в армии не видел... И Гриша, и Петя были особенными армейскими друзьями, верными. После службы несколько лет мы переписывались, позднее обязательно посылали друг другу открытки к Дню Советской армии, на Новый год, и в День артиллерии. Лишь с двухтысячных стали звонить друг другу, с большими перерывами. Отмотало уже четверть века после нашей разлуки в дембельской армейской форме. Ни с Григорием, ни с Петром мы покуда не встретились, я всё надеялся на командировку или попутный маршрут. Но... Но теперь я ехал в Одессу, где прежде не был, а побывать там мечтал давно: город защищал мой дед, и там живёт кореш Гриша Михальчук. Но — уж если совсем начистоту — это были только поверхностные, открытые поводы для поездки в Одессу. Под покровом тайны гнало меня в этот город нестерпимое желание повидать одноклассницу Ладу. Это редкое имя меня завораживало, и чем я становился старше, тем больше, жгучее становилось желание распутать клубок первой юношеской любви.

Лада жила уже давно в Одессе: муж у неё был военный моряк, но недавно, на очередной встрече с одноклассниками я узнал от нашей старосты Веры, которая всё про всех знала, что муж Лады трагически погиб, что Лада живёт с сыном, всё хочет навестить родные места, но никак



**ЕВГЕНИЙ
ШИШКИН**

ПРОЗА





не соберётся. У меня в душе что-то забурлило, словно шлагбаум, который претил моему пути, вдруг открылся. «Адресок мне найди Лады, — сказал я Вере, — я собираюсь в Одессу по делам, вдруг и к Ладе заскочу...» Хитрая Вера расплылась в улыбке: «Что, не даёт покоя первая любовь?» Я отшутился: «Не первая, а вечная. Бывает у мужиков такая...» — «Ну, ты даёшь, Валентин! Мне бы такую! — восхитилась Вера. — Пиши адрес. А телефона я не знаю...»

В школьной юности с Ладой у меня до близости не дошло, неопытен был. Но целовались мы с ней жарко, в охотку, а кроме этого было между нами что-то такое, что не подпадает под понятие обыкновенной любви. Мы оба понимали, что расстанемся, что никогда не будем мужем и женой, никогда не рисовали совместных планов, и в то же время не могли обходиться друг без друга. В общем-то любая юношеская любовь — счастье, даже если она несчастливо заканчивается.

Ладе всегда хотелось куда-то уехать из родных мест, подальше от обыденности, дров, печек и вьюшек, резиновых сапог, ей мечталось о морях, горах, прериях... Она и вышла замуж за моряка и долго жила на Дальнем Востоке, а потом перебралась в тёплую Одессу, оттуда родом был её муж, потомственный морской офицер.

Я Ладу помнил до сих пор. Не только внешность её — внешность-то помнил безусловно, — но и вместе с тем осязательно её помнил, будто недавно обнимал: сбита, упругая, быстрая, даже порывистая, любила в свитерах и водолазках ходить. Я даже помнил запах одного из её толстых полосатых свитеров, он был у неё любимый, и она часто в нём ходила.

Однажды мы сидели с Ладой на берегу реки, на стареньком причале. Сумерки. Может, днём она и не решилась бы, а в сумерках решилась: она прочитала мне свои стихи. О белой птице, одну строфу я даже сейчас приблизительно помнил:

И я люблю её полёт,
Высокий, песенный и белокрылый.
Она растопит даже лёд
Безумным криком «Милый!»

Голос её дрожал, читала она с трепетом. Я честно не понимал, о какой она читает птице, и, наверное, разочаровал Ладу своей реакцией. Она ждала, может быть, похвалы, восторга, а я сказал, что ничего в стихах не понимаю, и вообще думал, что стихи пишут какие-нибудь бородатые мужики с трубками в зубах, которые шарфом шею обматывают, или старые чернявые тётки, укутанные в белые шали, и все они живут в Москве и Ленинграде.

— Эх, — вздохнула, Лада. — Хороший ты парень, Валька, но с тобой на край света не убежишь...



— А мне там и делать нечего, — ответил тогда я. — Знаю, почему ты бежишь отсюда. Все девчонки из сёл уезжают. Кому хочется коров доить да на пьянку мужиков смотреть. У нас тут сама знаешь...

— Знаю! — резко ответила Лада.

Я уж было спохватился: у Лады отец пил запойно и старший брат к рюмке тянулся.

— Да, я уеду отсюда. Не коров и не пьянки я боюсь. Я просто не хочу жизнь прожить серой мышью.

Она так и сказала, я так и запомнил. Она мне читала стихи о белой птице, о высоком полёте. Я, наверное, тогда их не понял. Я ведь тоже хотел из села уехать. Но не улететь...

...Ах, Одесса, жемчужина у моря!

Ах, Одесса, ты знала много горя!

Ах, Одесса, любимый милый край!

Живи, моя Одесса! Живи и процветай!

Вспомнилась мне песенка, которую раньше часто лабали музыканты для разгорячённой пляшущей толпы в ресторанах по всей стране. В нынешней Одессе, куда я прилетел из Москвы, было что-то настороженное, смурное, словно она, эта жемчужина, была выставлена на торги, и пока никто не знал, в чьи руки она попадёт, кому будет служить. Возможно, жемчужина могла попасть в руки скупердяя, который мог её заточить куда-нибудь в сундук, или, напротив, могла попасть в руки щедрого барыги, который подарил бы эту жемчужину любимой женщине, чтобы жемчужина сияла у неё в колье на высокой груди; а возможно, могла угодить в лапы просто негодяя, которому было бы всё равно, какова истинная ценность этой жемчужины, и который спустил бы её где-нибудь за бесценок в картёжном рауте, проигравшись вдрызг каким-нибудь ушлым шулерам... Я думал сейчас обо всём как-то витиевато, образно, мне хотелось создать для себя благостное настроение и думать о чём-то лёгком, если даже и свет, и обстановка вокруг была смурноватой.

В аэропорту на таможенном посту меня остановил офицер и с ним — вооружённые люди. Он повертел в руках мой паспорт, спросил:

— Цель приезда?

— Приехал к родне. — И я тут же назвал адрес Григория Михальчука.

— Какую валюту везёте в нашу страну?

— Да никакую. Рубли вот поменяю на гривны...

— Рубли — это тоже валюта... Сумма какая?

— Двадцать тысяч... — Наличными у меня было именно столько. Основное — на карточке.

Недовольный офицер больше ничего не спрашивал, нехотя отдал мне паспорт, посмотрел с укоризной: мол, отпускаю



за неимением улик. Конечно, было понятно, почему так: Крым оторвался от Украины, а на Донбассе разгорался нешуточный кровавый конфликт. Одесса в стороне не останется, хотя именно Одесса, мне казалось, самый нейтральный и благополучный город Украины, который никому не надо делить. Но я, по-видимому, заблуждался: даже в воздухе чувствовались напряжённость, взрывоопасность и какое-то затишье, словно перед грозой. Все ждали каких-то перемен.

Водитель такси фыркнул, узнав мимоходом, что я прилетел из Москвы, и замкнулся в себе, хотя поначалу был, казалось, словоохотлив. На улицах было много людей, в основном — молодые, группами; изобилие жёлто-голубых украинских флагов, трезубцев. Время от времени в открытое окно машины неслись со стороны этих молодых стаек речёвки, выкрики. Особенно — во всё горло:

— Слава Украине!

В ответ на это — тоже во всё горло:

— Героям слава!

Мне показалось, что они кричат совсем беспричинно.

— Чего они кричат? Зачем? — спросил я у таксиста.

Тот пожал плечами, он, похоже, не хотел разговаривать со мной.

— Наверно, и в Гондурасе кричат «Слава Гондурасу!» Но Гондурас от этого не становится лучше, — усмехнулся я.

Водитель, мужик уже в годах, утомлённый то ли жизнью, то ли рабочей сменой, всё же тихо сказал:

— Болельщики это, фанаты футбольные, вот и орут... — Потом он скривился в лице, причём нехорошо скривился, даже чуть издевательски: — Москалям лучше с ними не встречаться.

— Это ты меня предупредил, что ли? — резко спросил я, чтоб пресечь насмешливый тон водилы.

— Мне всё равно... — буркнул водитель и прибавил газу.

Я назвал ему адрес Михальчука, но вдруг понял, что совсем не хочу к Михальчуку, и главная моя цель в этом городе — Лада.

— Стоп! Я передумал, — сказал я таксисту. — Поедем по этому адресу, — я прочитал адрес Лады на листочке, а потом зачем-то показал листочек таксисту.

— Это в другую сторону. Там дорога перекрыта из-за этих...

— Объедем. Не бесплатно ведь.

— У меня смена заканчивается...

— Сколько хочешь?

— При СССР жилось лучше, — вдруг ответил таксист. — Всё было как-то по-человечьи. Сейчас все деньгами в нос тычут.

— Я не тычу, я плачу.



Таксист привёз меня по адресу. Я рассчитался с чаевыми, он слегка повеселел, но напоследок сказал с недоумением:

— Ерунда какая-то кругом творится.

Я не совсем понял, о чём он говорит, но его озабоченность к чему-то призывала, как будто он меня предупреждал о чём-то. Впрочем, я не придавал этому значения, меня тянула к себе Лада. Это имя я повторял, как заклинание. Вот дом, войти в который я мечтал десятилетиями... Но как мне показаться? С неба, мол, свалился. Мальчишество какое-то... А чего финтить?! Вот так просто подняться на нужный этаж этого дома, позвонить в квартиру. Ведь все начальные слова и объяснения давным-давно приготовлены. А если откроет новый муж? Ну и что? Лада и я уже не дети. Я приехал издалека. Привёз привет от одноклассников и приглашение на вечер-встречу, а сам еду дальше к армейскому другу. Я поднимался по лестнице и ещё придумывал какие-то разные оправдания своему появлению, алиби для воображаемого нового мужа Лады.

Но до нужной квартиры я не добрался. Мне оставалось несколько ступенек, — и вдруг дверь, которая пленила меня, к которой стремился столько лет, резко, широко отворилась. На площадку быстро, заполошно выскочила Лада. Выскочила, дверь за собой закрыла, стала запирать замок и тут наконец-то увидела меня.

— Бурков?! Валька?! Ты откуда? — спросила она быстро, но таким тоном, как будто видела меня неделю назад; казалось, неделю назад я куда-то далече отъехал, а нынче нежданно-негаданно нарисовался.

Я недоуменно пожал плечами.

— Да вот. Приехал к вам в город, решил к тебе зайти... Там наша староста Вера просила, чтоб я тебя на вечер встречи... — я в общем-то лепетал чушь. Но Лада, видно, пропустила это мимо сознания.

— Не до того сейчас, Валя. Убегаю я... — сказала она, потом внимательно посмотрела на меня.

— Может, ты мне поможешь? А? — спросила с заискиванием. — Сына мне нужно найти. Он сейчас там, на «Куликовом поле». Он позвонил. А потом разговор оборвался. И всё молчит...

— Ну, конечно, помогу, — ответил я.

— Тогда оставь вещи и пойдём со мной.

Сейчас я не понимал, радоваться такому обороту или нет. Всё выходило вроде бы как никуда лучше: Лада приняла меня как родного, близкого; вот она, совсем рядом, даже обнять её можно, но вместе с тем я для неё кто-то другой, не тот влюблённый одноклассник из школьной жизни; ведь ей даже не интересно, как я тут оказался, зачем? Я враз стал ей нужен для чего-то совсем другого, не для личных отношений.



Мы с Ладой торопливо шли по улице, она говорила мне о сыне, который входит в общество русских патриотов, между делом она кого-то клеймила, называла их «сволочи, хуже фашистов, ублюдки...» Я помалкивал. Догадался, что мы идём на какой-то то ли митинг, то ли сбор, где среди активистов — её сын Илья.

Ветер принёс горький запах дыма. Похоже, где-то подожгли автомобильную покрывку. Чёрный, зловещий столп дыма поднялся над крышами, над красиво распустившимися каштанами. Но вместе с покрывкой что-то горело ещё, дым поднимался и из других мест.

— Там палатки. Там палатки протестующих, — говорила Лада.

— Палатки горят, как порох. Это слабое укрытие... Они вооружены? — спросил я.

— Нет. Откуда? Они же мирное движение. Не эти бандеровцы...

Впереди стояли молодые люди с флагами украинской повстанческой армии и флагами Украины. Группы людей стали попадаться всё чаще. А вскоре больше появилось и клубов чёрного дыма. Жгли уже не одну автопокрывку. Этот чёрный дым все видели по телевидению в центре Киева, где бунтовщики или повстанцы лихо наловчились менять власть.

Чувство обыкновенного самосохранения, а скорее — даже чужесте и равнодушие ко всякому политраскладу в украинской заварухе сдерживали меня; мне хотелось схватить Ладу за плечо, остановить, сказать: «Не лезь! От тебя тут ничего не зависит!» — а ещё хотелось притянуть Ладу к себе, посмотреть ей в глаза и сказать напрямую: «Лада, я приехал на тебя посмотреть, я давно-давно мечтал об этом. А на все майданы-замайданы мне наплевать!» Но я не мог поступить так: где-то в центре этой чертовщины, этой заварухи находился её сын Илья, и теперь уже его судьба выстраивала мои шаги, мои слова и поведение.

В некоторые минуты мне казалось, что между мной и Ладой ничего не изменилось. Конечно, Лада сама внешне изменилась, стала острее, жёстче, старше, в ней появилась нетерпеливость и нетерпимость, что ли, и даже жёсткость, но она была будто бы своей, словно перешагнула из прошлого в настоящее, и мы спешим с ней после школы в наш сельский клуб на итальянское кино, чтобы занять лучшие места в зале...

Площадь, куда мы стремились, оказалась за кордонами милиции, плотным кольцом зевак и бунтующих молодых людей с повязками на рукавах, некоторые из них были с жёлто-голубыми флагами Украины. В их лицах таился какой-то лютей восторг, словно бы шла заслуженная расправа, упоительный кураж наказания за содеянное... Кто-то из них, каза-



лось, абсолютно ни с того ни с сего выкрикивал во всю глотку «Слава Украине!» Окружающая толпа в единомысленном полуисторическом порыве одуревше орала «Героям слава!»

Мне всегда мечталось побывать в Одессе, в городе славы, в городе юмора, оригинальных евреев, в южном портовом городе, где много белого цвета, где погиб мой дед-моряк. Теперь я здесь был, в самом начале мая, когда уже было тепло, когда цвели каштаны, когда ветер нёс с моря мягкий солоновато-йодистый вкус... Но теперь Одесса, утопающая в белом цвете каштанов, казалась городом нервноболезным, взбудораженным; она утратила привлекательность и обаяние... Злобные, расхристанные молодчики, стяги с бандеровскими символами, балаклавы и медицинские маски на лицах... И чем ближе к площади «Куликово поле», тем эта толпа становилась плотнее, агрессивнее, взвинченнее, над ней висели матерная брань и постоянный ор «Слава Украине! — Героям слава!»

По дороге Лада не раз пыталась дозвониться до сына, но тот не отвечал. Это взвинчивало её, она что-то шептала на ходу, кого-то ругала. В душе у неё, видно, что-то трепетало, возмущалось, болело. Что-то несусветное происходило и вокруг.

Я видел, как молодые парни и девушки разбирают плитку тротуара. Так и вспомнилось: «бульжник — оружие пролетариата», но здесь были не пролетарии, и это казалось бы полной дикостью, но такое уже случалось на улицах Киева. Всё сопровождалось криками, возгласами, проклятиями и руганью, всё обливалось какой-то животной злобой. Молодые люди, с символикой футбольного клуба на футболках, что-то орала, среди них ходили особенные, в балаклавах, с красными повязками на руках, они что-то подсказывали, организовывали.

Я слышал, как один из них кричал:

— Не трогайте милицию! Никаких камней! Не трогать! Не кидать! Нас пропустят..

Впереди где-то вспыхнул фэйер, потом другой, что-то грохнуло наподобие взрывпакета, а потом в небо с синим хвостом взвилась петарда. Группа молодых людей шла организованной колонной. Они шли целенаправленно и неколебимо. В руках — палки и щиты. По выкрикам было понятно, что они устремляются туда же, куда мы с Ладой. «На Куликово!»

Их колонну сопровождали выкрики:

— Смерть врагам!

— Слава Украине!

— Москаляку на гиляку!

И злобный хохот.

Улицы возле площади, на которой стоял дом с колоннами, казалось, шипели, гудели и изрыгали ненависть... А главное и неожиданное: всё это снимали на телефоны, мини-камеры и



на профессиональные камеры зеваки, люди заинтересованные, журналисты разных каналов. Тут зачиналось какое-то бесовское действо. Но, видимо, Украина, по примеру стольного Киева, уже привыкла к этому, и в этом был революционный наркотический выплеск — выплеск гормонов воинственных внутренних сил. Милиция придавала, казалось, шествиям молодых людей некую упорядоченность, но на самом деле своим бездействием только подстрекала, распалая злобу толпы.

На крыльце дома с колоннами стояли оцетинившиеся люди, они окружили себя хиленькой скелетистой, из деревянных палок и поддонов баррикадой, а на самой площади догорали палатки, какой-то хлам, мусор, лозунги, российский флаг; под ногами была и испачканная тряпичная растяжка «Одесса — город-герой». Дым, всплески огня, крики, взрывы петард и ликующая, а вернее — оскалившаяся толпа оцепила дом с колоннами.

И эта толпа, взведённая и уже подпитанная разгромом и пожаром на площади, с цепями и битами в руках через остовы палаток, мусор, коробки, ящики стремилась к тем, кто огрызался с крыльца дома с колоннами. Но их, затёртых со всех сторон с площади на крыльцо к центральному входу дома, было немного, вернее, большинство уже пряталось в доме с колоннами, а после того, как на крыльцо полетели не только камни, но бутылки и стали раздаваться взрывы «молотовских коктейлей», с крыльца и вовсе исчезли разрозненные группы оборонявшихся, и двустворчатые двери дома с колоннами затворились.

— Он там! Илья там! — выкрикнула Лада.

— Ты его видела?

— Нет! Но я знаю, что он там! Он с ними! — Она не хотела и не могла слышать голос разума, она рвалась к своему сыну, ничего не пытаясь анализировать и предпринимать, кроме единственного — пробиваться в дом, где сын. — Пойдём! Пойдём быстрее! Я знаю, где пройти! — Лада схватила меня за руку, поволокла, умело обходя группки зевак, молодых националистов, фанатов, она даже ловко просочилась и провела меня в разрыв милицейского кордона, правда, тот был каким-то совсем анемичным.

Когда мы подбежали, вернее, протолкались к торцевому входу дома с колоннами, я заметил, что толпа на площади стала активнее: всё больше и больше камней, бутылок летело в окна дома. Оттуда кто-то и что-то пытался кинуть в ответ в толпу, но — больше для острстки. Раздались и выстрелы. Со стороны парадного крыльца уже валил дым.

Возле подъезда, где мы оказались, толпились гражданские люди, милиция, несколько медиков, неподалёку стояла «скорая» с включённым маячком. На земле лежал парень, го-



лова у него была в крови, его перевязывала врач, остальные озирались, что-то сумбурно выкрикивали. Лада, видимо, знала и этот дом, и этот подъезд, она что-то сказала милиционеру майору, который тут стоял с несколькими подчинёнными в спецжилетах и с оружием, а потом, взяв меня за локоть, потянула за собой; мы быстро прошмыгнули к двери, а потом и за дверь, человек, который тут стоял, наверное, охранник, ничего не возразил, потому что Лада выкрикнула ему в ухо:

— Я здесь работаю! Там у меня важные документы!

Лада и в юности была находчива, в карман за словом не лезла, и тут сыграл её талант, больше на нас никто не успел среагировать; мы оказались в коридоре первого этажа дома.

Здесь уже чувствовался запах дыма, гари и ещё чего-то ядовитого. Так обычно горит некачественный пластик, панели или декор, и дым от них бывает всегда чёрным, едучим. В этом момент мне почему-то вспомнился пермский пожар в «Хромой лошади», где сгорели и задохнулись больше полутора сотен молодых безвинных людей. На какой-то момент я замер, то ли вышняя сила задержала меня, то ли обыкновенное чувство самосохранения. «Зачем, куда ты лезешь? Тебе не надо туда!» — просквозило в сознании. Но рядом со мной была Лада, ради которой я и появился здесь. Оставить, бросить её здесь — это невысказано!

— Чего ты собираешься делать?

— Найти сына! — дерзко выкрикнула мне Лада.

— Дом могут поджечь. Его уже подожгли. Мы все окажемся в ловушке!

— Я должна найти Илью!

В коридоре Лада пыталась открывать двери, все подряд, яростно дёрнула за ручки, но они все почти были заперты.

— Стой, Лада! погоди! А вдруг твоего сына нет в здании? Мы не сможем обойти все комнаты!

Я понимал, что идти туда, где разгорается пожар, не надо. Надо убежать от пожара. Но Лада маниакально стремилась в самое пекло. И у неё был железный посыл: там мой сын!

И всё же одна дверь оказалась открыта, там было двое парней. Но разглядеть или что-то спросить их мы не успели: внезапно раздался хрусткий грохот разбитого оконного стекла, чем-то вроде кирпича саданули по нему с улицы, а следом в пробоину влетела бутылка с зажжённым фитилём у горлышка. Бутылка врезалась в стену, лопнула, взорвалась, огненный шар обдал комнату, всех опалило пламенем и жаром, и мы все с криком бросились прочь от огня в коридор. И уже в коридоре волосы на голове Лады вспыхнули. Она закричала громко, дико, стала будто бы отбиваться от огня, но на ней загорелась и кофточка, видно, зажигательная смесь попала повсюду. Лада



просто начинала гореть, вспыхивая в разных местах, куда долетели брызги горячего.

На счастье, на мне была ветровка из плотной ткани, я скинул ветровку, обхватил ею голову Лады, сам прижался к ней, заглушая огонь, который едва не превратил её в свечу.

Когда я сбил огонь с её одежды, скинул с её головы ветровку, Лада, ошалевшая, онемевшая, враз изменившаяся, с чёрными пятнами на лице и на обожжённой голове, стояла передо мной, словно контуженная, надсадно дышала открытым ртом; у неё, скорее всего, были обожжены дыхательные пути, а от головы пахло палёным, бровей тоже не было видно, лишь две чёрные обожжённые полоски смутно проступали в полусумраке коридора, освещённого языками пламени из горящего кабинета.

— Илья! — прошептала Лада. Говорить, похоже, она не могла — только шёпотом.

— Возвращайся! — приказал я. — Возвращайся тем же путём! По коридору! Назад! Бегом! К врачам! Я найду твоего Илью! Беги! — Я толкнул её в спину, чтобы она поняла наконец-то, что надо спастись ей самой, никому другому она не поможет.

Я пронаблюдал, как она, совсем потерянная, пошатываясь, пошла по коридору, потом даже побежала, потом остановилась, потом от моего крика: «Беги, Лада! Беги! Беги!» — она опять побежала. Я увидел и прогал в двери: её выпустили из дома с колоннами. Всё! Значит, она спасена!

Теперь — спокойно. Здесь должны быть огнетушители, пожарные гидранты, пожарные лестницы, чёрный ход. Но почему нет пожарных?! Где они? Это центр города! Где пожарные машины, чёрт возьми!

Запах гари уже распространялся повсюду, дым ел глаза. Я услышал выстрелы, что-то где-то во внутренних стенах дома взорвалось: опять, видно, кто-то кидал в окна бутылки с зажигательной смесью. И ещё — крик. Когда я поднялся на второй этаж, а потом и на третий, когда выбрался на крышу, крик раздавался всё время с разных концов здания, а ещё повсюду стоял шум, ровный, не стихающий, с треском и иногда с шуршанием, — это был шум пожара. А воды в здании нигде не было, ни один гидрант не работал... Люди кричали в ужасе, предсмертно, крик иногда был летящий, значит, кто-то кричал, падая или прыгая из окна или с крыши. А с площади несло какое-то гавканье и улюлюканье толпы. Взрывались петарды, разносились истошные вопли восторга и самозабвенного ликования.

Везде, где я был, спрашивал каждого встречного: «Илья Коробов! Не видали?» В ответ: «Нет, не видели. Не знаем». Вре-



мя от времени я выкрикивал среди коридора или на лестнице: «Илья Коробов, ты где? Откликнись! Илья Коробов!» На крыше его тоже не было. О нём никто не знал. Только один парень пожал плечами: «Я вроде видел его, но вроде ещё на площади...»

Пожар тем временем набирал силу: всё больше комнат, кабинетов охватывал огонь, горел и центр здания, всё, что было вокруг парадного подъезда и лестницы.

Если горят нижние этажи, то люди, естественно, бегут наверх. Дом каменный, можно, конечно, спастись, если придут вовремя пожарные... Но их нет! Даже воя сирены не слышно. В коридорах стали попадаться обожжённые люди: куда-то плелась пожилая пара; девушка, схватившись за живот, передвигалась вдоль стены, парень, очумевший, бормотал: «Туда нельзя, там всё горит!» — и полз на четвереньках. Дым всё больше наполнялся какой-то кислотной — горел, будто, совсем дрянной пластик или из дрянных материалов мебель.

Я не видел самолично и не мог видеть, но догадывался, что некоторые выпрыгивают из окон, отсечённые пожаром в коридоре от лестниц, заблокированные на этажах в помещениях. Подступала минута, когда нужно было самому думать о спасении. Рвать когти...

Заглядывая в разные помещения, я всё чаще стал наткаться на мёртвых, от угарного газа, от дыма, от открытого огня, возможно, от выстрелов, — я всё больше оказывался в перевернутом мире: здесь был не только огонь, дым, хаос, здесь шла война; те, кто на улице, умерщвляли тех, кто был в здании, и делали это под восторженную матерную брань, вопли и издевательские лозунги: «Слава Украине!»

Где пожарные? Где менты? Они что, совсем здесь, в Одессе, осатанели?!

Отчаянные крики раздавались и от осаждённых в доме с колоннами:

— Пойдёмте наверх — внизу всё в огне.

— Сверху прыгивать — слишком высоко...

— Где эти суки, пожарные?!

— Стреляют! Опять стреляют по окнам...

— Надо всё-таки пробиваться через низ.

— Всё подожгли, бандеровцы. Сволота!

— Там внизу нас перестреляют.

— Но я им так не сдамся...

— Отсюда надо сперва выбраться, а потом уже сводить счёты с врагами...

Внутри здания дышать и в самом деле становилось невозможно, но и у открытых окон, на карнизах было также опасно: люди там становились мишенями.



— Эй, сюда! Помогите! — вопили из окон, а в ответ с площади им кричали оскорбления и кидали в них камнями.

Осаждённых загоняли в какой-то адский тупик.

— Почему нет пожарных?

— Потому что нас здесь хотят сжечь... Это же фашисты!

«Сгореть от каких-то бандеровцев — невесёлая перспектива для человека, который приехал на отдых и мечтал повидать свою первую любовь, и даже строил какие-то планы», — думал я. Но больше думал о том, как пробиться обратно к торцевому выходу или чёрному ходу, или к пожарной лестнице — ведь она должна быть! От окружающих я помощи не ждал, в их лицах я читал в основном растерянность и даже обречённость. Они не знали, как действовать, что делать, кто-то из них пытался звонить, кто-то кричал, кого-то умолял, но всё это только приближало жестокий финал.

Э-э, нет! Не сдадимся! Выход точно есть! Где-то есть! Нестерпимая сила действовать, сопротивляться обстоятельствам пробудилась во мне, когда я с ужасом увидел, как молодой парень, который сидел, сгорбясь, в углу на стуле в коридоре, вдруг повалился на пол, ударился головой об пол и вскоре умер, он просто умер, он, наверное, уже отравился дымом, и возможно, у него было слабое сердце; он умер.

Я высунулся в окно, наскоро осмотрелся, увидел, что к дому подъезжает пожарная машина с раскладной лестницей на крыше. Всё-таки пожарные появились. Надо пробиваться туда. Набрал побольше воздуха в лёгкие — и бегом по коридору, в сторону, где была машина. Но до спасительной лестницы я сразу не добрался. По дороге в сумраке я столкнулся с парнем, он был отравлен дымом, он, похоже, умирал, и я не мог его бросить, я схватил его за шиворот и потащил с собой.

Под окнами, куда мы кое-как приволоклись, стояла пожарная машина с поднятой лестницей, и снизу уже пожарный бил из шланга струёй воды по горящим окнам. Я крикнул, что было сил:

— Сюда! Лестницу дайте! Сюда!

Вскоре спасительная струя воды пожарного гидранта ударила в окно, рассыпались брызги, сквозь дым и пар появился шанс на спасение.

— Сюда! Сюда! Парня вытащите!

Парня удалось спасти. Правда, я почти его не запомнил. У него были чёрные печальные глаза, взгляд совсем отсутствующий. Парень ничего не мог сказать. Но он выжил, явно выжил. Его спустили пожарные. Потом — ещё девушку. Потом к нашему окну подбежали женщина и пожилой мужчина.

Самому же мне пришлось ещё попутешествовать по дому с колоннами. Мне надо было выбраться через торцевой ход, найти Ладу — вдруг она ещё там. Да и возле пожарных стоял



кордон милиции, а мне не хотелось оказаться в их лапах. Дом стали тушить, и я понадеялся, что уйду тихо, незаметно, не попав в руки одесских хреновых правоохранителей...

Наконец-то я отыскал чёрный ход. Но именно с чёрного хода в здание шли и пожарные, и спасатели, и милиционеры, и мародеры, и сами поджигатели. Мне навстречу на лестнице попались двое мужчин в камуфляже.

— Где выйти? — хрипло спросил я, держась за горло, — дыма и гари я всё-таки наглотался.

— Иди вниз и направо! По коридору до конца!

Я спустился на первый этаж, прошёл по коридору, куда указали, и вдруг замер перед открытой комнатой: в комнате, обожжённой до черноты изнутри, и уже потушенной, сырой, с лужами посередине, в копоти находились три обгорелых трупа, похоже, двое парней и девушка. Они замерли в нелепых позах: девушка на стуле, запрокинув обгорелую голову без волос, один парень лежал на полу, раскинув руки, а другой сжавшись в углу, калачиком, — все чёрные, неестественно чёрные, как головешки, словно их опалили из огнемёта.

Вскоре возле меня в коридоре появилась троица горластых парней, они были в повязках на лицах, в руках у них были фонарики и палки. Я сразу почувствовал от них ток агрессии. Они говорили:

— Во! Гляди! И здесь негры лежат!

— Башка, как уголь.

— Так им и надо!

И тут они разом, совсем не к месту рявкнули:

— Слава Украине!

Это было как пароль, как символ, как знак слитности или признак духовного единокровия, который их сплачивал даже в самых преступных проявлениях. Говорили они по-русски, чисто, даже не смягчая по-украински «г».

— Ты кто? — рыкнул один из них, глядя на меня в упор.

Я не стал объяснять, показал на горло, тихо промычал.

— Говорить, что ли, не можешь?

Я кивнул головой.

И тут один из них заорал, с матюками:

— Вали отсюда, пока ноги не вырвали!

Я выбрался на улицу, вздохнул полной грудью, хотел куда-нибудь улизнуть от милиции. Но ближний ко мне милиционер в бронжилете цепко схватил меня за руку, даже взял её на излом:

— Оружие есть? — выкрикнул он.

— Да какое оружие? — ответил я, брыкаясь и пытаюсь высвободиться. — Я здесь случайно.

— Разберёмся. Обыщи его, — приказал он другому милиционеру. — Веди в машину.



Милиционер быстро, грубо обшарил меня, толкнул вперёд к машине, которая находилась несколько в отдалении. Тут-то я и оказался в коридоре из людской толпы. Это были те самые головорезы, которые и спалили дом с колоннами. Они кричали на меня злобно или веселяще злобно:

— Вот ещё одного гада поймали!

— На колени! — взвыл кто-то сбоку.

— Оставьте его! Пропустите! — осадил сопровождающий милиционер. Но с ним никто не посчитался, толпа отделила его от меня, да и он сам как будто хотел меня отдать толпе на растерзание.

— На колени! — заорали со всех сторон.

Я никогда ни перед кем не вставал на колени, и в этот момент мне почему-то вспомнился стишок, который заучил ещё в армии: «Мы русские! И пусть навек запомнит враг, Что лишь тогда встаём мы на колени, Когда целуем русский флаг...» На колени вставать перед этими выродками я не собирался. Но несколько пар рук вцепились в меня, стали валить на землю, а один — я хорошо запомнил его: белобрысый, волосы ежиком, в полосатой футболке из синих и жёлтых полосок — подскочил ко мне с диким оскалом и врезал коротким ударом палки по ноге, по колену.

«Я найду тебя и убью!» — промелькнуло у меня в мозгу, когда я упал на землю и скорчился от боли в колене.

— Теперь ползи!

— Коридор позора!

— Ползи, сволочь!

Они пинали меня, оскорбляли, кто-то плевал на меня, но я, как заклинание, повторял про себя: «Я найду тебя и убью!»

Скоро, однако, меня и пойманных, и спасённых горемык-счастливицев из сожжённого дома с колоннами привезли в отделение милиции. У меня забрали документы. Принимавший меня капитан ехидно радостно воскликнул:

— Во, гляньте-ка, у нас кацап! Шпиён? Ты шо здесь делаешь, хад?

— У меня дед в войну Одессу защищал, — ответил я.

— Замолкни! Лучше бы не защищал... В камеру!

2

Утром, проснувшись на нарах в одесском СИЗО, я попытался оценить всю нелепость ситуации: обожжённая Лада, мои травмы, ушибы, ожоги, горящий дом с колоннами, негодяй в сине-жёлтой полосатой футболке, ударивший меня по ноге, пинки, плевки — за что всё это? Ведь я им ничего не сделал. А за что эти сволочи сожгли невинных людей? Что это было? Запах дыма, гари всё ещё был со мной, в одежде, он про-



питал всё, и почему-то не истлела за ночь мысль: найти и отомстить тому подонку, который подло свалил меня с ног. За что мне такое?! Ведь это родина и моих предков!

А утро было солнечным, ласковым. В камеру из форточки врвался свежий воздух, виднелось синее небо. «Жив! И радуйся!» — утешал окружающий мир.

В камере я старался ни с кем не общаться. Слышал разговоры, опасливые, полушёпотом, словно здесь, среди десятка человек затесался доносчик.

— Говорят, больше сотни сгорело.

— Виноватых не найдут. Вот увидишь. Не найдут. И никого не посадят.

— Это «правосеки» и бандеровцы. Они уже все смотались из Одессы... Их для того и привозили сюда.

— Вон и на майдане никто не знает, кто стрелял, как убили. «Святая сотня» — и всё тут, концы в воду.

— А из «Беркута» сколько положили?!

Я с ужасом думал: что же творится на бедной Украине? Чего им не живётся? Климат отличный, море, территория огромная, но при этом промышленность, центры советской науки — всё в прах. Ради чего?

На допрос из камеры меня вызвали первым. Возможно, потому что у меня было российское гражданство, возможно, потому что кто-то хотел покуражиться над москалём или поймав лазутчика, поскорее огласить имя провокатора и шпиона. Я решил, что буду говорить правду. Правда всегда человека спасает! Я много раз убеждался в этом. Всё в жизни объяснимо, если по правде...

Однако услышав несколько слов от упитанного гёкающего майора и злобно хмыкающего следователя в штатском, я понял, что никакой правды им не нужно, они её недостойны.

— С какой целью прибыли в Одессу? Почему оказались среди сепаратистов? Зачем подожгли здание? Кто вас направил на подрывную работу? — в таком ключе они повели разговор, и я не стал им рассказывать о Ладе и цели моего появления в доме с колоннами.

Я стал отвечать коротко, чётко и абсолютно спокойно:

— Я приехал сюда повидать армейского друга. В гости. В здании оказался случайно. Толпа стала кидать камнями — нужно было где-то спрятаться. Я побежал вслед за пожилым человеком... Меня никто не направлял на подрывную работу. Я строитель...

Следователь, закидывая чёлку набок, что-то писал и с иронией кивал головой, хмыкал.

— Слышь, москаль, — вдруг язвительно спросил майор, — на кой хрен ты сюда приехал? Мы без вас тут разберёмся, с



кем нам быть и как нам жить. Крыма вам мало? Сюда припёрлись воду мутить?

Тут я тоже впрямую, глядя в глаза майору, ответил:

— Мутить я тут ничего не собираюсь. Одессу защищал мой дед, погиб... Я должен был здесь побывать.

Тут слегка оживился следователь:

— Ты ж говорил, что к другу ехал. Как его звать? Адрес?

— Это Григорий Михальчук. Он живёт по адресу...

— Кто? — взвеселился майор; они многозначительно переглянулись со следователем.

— К Михальчуку, значит?

Майор взялся за свой телефон, потыкал кнопки.

— Гриша? Ха! Здорово! Знаешь ли ты, Гриша, что являешься пособником сепаратистов? Ха! Гриша, какие шутки! Серьёзно! У нас всё серьёзно! — Майор открыл мой паспорт и по нему прочитал: — Знаком ли тебе Валентин Андреевич Бурков? Ха! Ждёшь его? Он сидит у меня! Обвиняется в шпионаже и пособничестве сепаратистам. Статья тяжёлая, на много потянет...

У Михальчука был автосалон в Одессе, и многие из ментов его, вероятно, знали. Менты к машинам всегда испытывали страсть, и Михальчук оказался для них фигурой известной. Это было для меня спасением, хотя я сразу догадался: менты захотят поживиться, набить цену, вдоволь поиздеваются.

Мы встретились с Михальчуком в комнатухе, где никого не было. Григорий встал со стула подошёл ко мне, я собирался обнять его, но он был возбуждён, очень чем-то озабочен и только протянул мне руку для приветствия.

— Здорово, Валя! Деньги-то у тебя есть? — первое, что он спросил у меня, спросил так, будто мы с ним расстались неделю назад. — Ты, Валя, влип. По уши...

— Что значит влип? Гриш, ты-то чего несёшь?

— А то и несусь... Десять тысяч долларей — тогда отпустят. А если нет, СБУ переправит тебя в Киев, там тебе мало не покажется. — Он произнёс это с угрозой.

— А что я такого сделал?

Михальчук нервно и быстро махнул рукой и снова спросил:

— Бабки есть, я тебя спрашиваю?

— Пусть отдадут мне все документы, телефон, бумажник...

— Значит, деньги найдёшь? Они дают срок до конца дня. Я поручительство за тебя напишу, если гарантируешь... Ты ведь в строительном бизнесе — не бедняк.

— Я найду эти деньги до конца дня. Пусть меня выпускают!

Михальчук слегка помягчел. Подозревать меня во лжи он не мог. А гарантии... Вряд ли он будет писать гарантию на доставку в милицию денег.



Скоро меня и в самом деле освободили. Майор криво лыбился и говорил:

— Благодарю своего друга. Если б не Гриша... Но помни, тебе даём только сорок восемь часов. Через двое суток чтоб духу твоего здесь не было! Ясна?

— Ясна, ясна, — буркнул я.

Михальчук предложил поехать к нему. Я отказался, сказал, что в гостинице мне будет удобнее.

— Деньги я принесу после обеда. Мне отмыться бы надо. И повидать одного человека...

Тут Михальчук замялся, он мне не верил: вдруг я смотаюсь, исчезну. Я это понял, почувствовал:

— Пошли в банк. Я сниму с карты всё, что есть. Там как раз около десятки...

Михальчук опять помягчел.

— Надо отметить твой приезд, Валя. Пойдём в ресторан.

— Не сейчас.

...Добравшись до гостиничного номера, оставшись один, я стал названивать Ладе. Долго никто не отзывался, наконец ответил молодой мужской голос.

— Это её сын Илья, — представился молодой человек.

— Что с мамой?

— Она в ожоговом отделении. У неё голова обожжена. Руки тоже. Я сейчас у неё, в больнице. Она на перевязке.

— Как ты сам? Ты был в горящем доме?

— Нет. Нас ещё раньше оттеснили... Потом — драка...

— Не надо рассказывать. Ты жив-здоров?

— Да... Синяки не в счёт. Телефон разбили... Поэтому и не отвечал.

— Я навещу твою маму сегодня вечером. И вечером заберу свои вещи. Будь, пожалуйста, дома, Илья.

Теперь можно было облегчённо вздохнуть и подвести первые итоги; ведь что-то подсказывало мне — интуиция! — что нет Ильи в доме с колоннами, так и оказалось. На счастье...

Я позвонил в свою контору бухгалтерше Аллочке. Заговорил самым медовым голосом:

— Положи мне на карту все деньги, которые есть в сейфе. Срочно!

— У тебя проблемы? Что случилось, Валентин Андреевич?

— Аллочка, ничего не случилось! Я хочу купить кое-какие товары для бизнеса. Очень выгодный контракт... Поняла меня? Срочно! Я уже подписал документы.

Денежные вопросы я таким образом закрывал. Рассчитаюсь с ментами и поскорей отсюда, к тому же они отмерили мне сорок восемь часов. Главное — к Ладе. Лада — вот глав-



ное, что меня принесло сюда, Лада — вот боль, а теперь и какая-то сумятица в душе.

Вот и побывал я в развесёлой Одессе, жемчужине у моря.

Светило солнце, но мне казалось, что город стоял в каком-то сумраке, в оторопи, в страхе и недоумении. Живьём спалили десятки людей, беснующаяся толпа глумилась над городом, издевалась над его героическим прошлым, грозила расправами. Всё это выглядело чем-то перевернутым, вздорным, шальным. Стаи молодых националистов, обработанных наркотой «новой истории», страдающие манией гитлеровского прихвостня Бандеры, стали хозяевами города-героя. Чего же вдруг захотели шайки этих отморожков? Какого порядка? Какой государственности? Чего они орут «Слава Украине!» Ленин слепил им эту Украину. Сталин нарисовал границы. Хрущёв дал попользоваться Крымом, который тут же отвернулся от них... Может, я чего-то не понимаю?

Наконец-то я принял душ, надел новую рубашку, купленную в магазине поблизости, выпил кофе в буфете, вызвал такси и поехал на встречу с Михальчуком.

У гостиницы я стал свидетелем сцены почти театральной, но дикой. Стайка молодых людей (эти юные националисты ходили стайками, поодиночке, видно, боялись) разыгрывала спектакль. Несколько девушек из стайки окружили двух парней, по всему виду, русских, вышедших из гостиницы (я видел их у стойки администратора), и принялись донимать:

— Кто не скачет, тот москаль!

Четвёрка этих молодых стервочек не давала парням проходу, галдела, прыгая на месте:

— Кто не скачет, тот москаль! Кто не скачет, тот москаль!

Парни, смущённые, растерянно оглядывались по сторонам. А юнцы-националисты хохотали и ехидно ждали реакции взятых в кольцо гостей Одессы. Парни, видимо, хотели поскорее отделаться от этих безумствующих девок, но не знали, как, — попрыгать, что ли, принять всю эту игру или послать их к чертям собачьим, но тогда, возможно, придётся разбираться уже с шайкой парней-наблюдателей.

Такси, вызванное мной, стояло поблизости.

— Сейчас поедем, — кивнул я шофёру и быстро, строго, как учитель, подошёл к парням, которые попали в окружение прыгающих галдящих девок, которые несли околесицу:

— Кто не скачет, тот москаль!

— Ребята, кого ждём? Такси прибыло! Садитесь в машину! — Парни переглянулись и всё поняли, решительно сдвинув девок в сторону, пошли к машине. А я громко прикрикнул на девок:

— Чего распрыгались, дуры! Вон посмотрите, сколько мандавошек натрясли! Прекратить прыгать! — Ошеломлён-



ные, они враз остановились, стали смотреть себе под ноги, словно и впрямь натрясли насекомых... Их присмотрщики возмутились было, ринулись ко мне, но я выкрикнул зло, властно:

— Стоять на месте! Сейчас проверим у всех документы!

После этого я быстро сел в такси, куда уже забрались двое парней:

— Поехали, командир!

В приоткрытое окно, уже на ходу, я крикнул молодым украм:

— Слава Гондурасу, недоноски!

Таксист горько усмехнулся:

— Во, времена пришли! Ждѣшь, когда лучше будет, а тут...

Я обернулся к парням.

— Мы из Питера. На литературную конференцию приехали. Здесь каждый год её проводят. Город-то литературный...

— Не до конференций нынче, — сказал таксист.

Гриша Михальчук сходил в милицию с моей мздой, вышел не просто удовлетворѣнный, а даже довольный.

— Всѣ, Валя, дело закрыли. Теперь — в кабак, отметим. Но уехать тебе через пару дней всё же придётся. Пригрозили...

Мне не хотелось в ресторан, не хотелось отмечать встречу с Гришей: что-то переменилось, что-то произошло в наших отношениях. Я пока не оценивал, не осмысливал эти перемены, но понял, что радости и отдохновения душевного с Михальчуком у меня не получится. К тому же всё время думал о Ладе — она обожжѣнная, лежит в больнице.

В ресторане было достаточно многолюдно: обеденный час. Но все посетители, будто пришибленные, говорили шепотом, поближе склоняясь к собеседнику. В городе объявили траур, но никто из официальных лиц не говорил, кто повинен в этом трауре: кто жѣг?

Это был ресторан с украинской национальной кухней. Вся обслуга в национальных вышиванках. Парень-официант заговорил с нами по-украински. Я тут же его пресѣк:

— Говори по-русски, я по-другому не понимаю.

Гриша снисходительно ухмыльнулся.

Вскоре выпили по рюмке-другой. Поговорили про армию. С ностальгией, с добрым словом. Петю Калинкина вспомнили. Но я чувствовал, что Михальчук хочет высказать мне как жителю России, как русскому какие-то претензии. Хотя я знал, что в политику он тоже не лезет, он спец по машинам, бизнесмен, но сейчас он словно бы захотел просветить меня.

— Вот вы, москали, хапнули у нас Крым. Понавезли туда вояк, понагнали народ на участки — голосуйте! Сейчас вот



Одессу баламутите. Но здесь вам ничего не светит. Здесь Одесса.

Я кивнул головой. Спорить с Михальчуком я не собирался, а выслушать его стоило.

— Здесь, Валя, люди не хотят жить, как у вас в Москалятинне... — голос Михальчука постепенно насыщался металлом. Я решил смягчить его натиск:

— Гриша, никто и не заставляет. Тем более я.

— А я тебе объясню, почему не хотят, — не слыша моего возражения, давил Михальчук. — У вас азиатчина. А мы Европа... Пускай сперва нам худо будет, но мы всё равно уйдём на запад, в Европу. А укры там или как-то ещё... Да хрен с ним, что выдумка... Пускай будут хоть черти лысые! Зато на этих идеях возродится настоящее украинское государство. Без всяких москалей, без всякой азиатчины... — Михальчук говорил, конечно, не своими словами: всё это он от кого-то услышал, кто ему всё это объяснил, а теперь он проповедал меня. — Вон погляди, как забрался ваш царёк на трон, так и сидит, и никто его не тронет, никакие выборы. У нас такого нет и быть не может. Вот придурка и вора Януковича скинули и любого другого скинем, если не станет европейскую линию гнуть. Вон поляки вырулили! И мы вырулим! У нас положение лучше, чем у поляков. Нам только от вас зависимость потерять... Живите вы, москали, в своей Азии и радуйтесь, что у вас там много газа и нефти... И пускай вас, москалей, как держала власть за рабов, так и держит...

Я демонстративно огляделся по сторонам.

— Это ты для меня, что ли, рассказывал? Может, мы ещё тост за это поднимем? — Михальчук слегка смутился, он и сам понимал, что пропагандист из него никудышный. — А это здорово, что вы себе какую-то новую историю про укров сочинили. Забавно... Но ничего путного из этого не получится, Гриша.

— Почему?

— Скажи, Гриша, сколько моих денег ты отдал ментам? Семь, пять тысяч? Пятёрку, поди, себе заныкал? С армейского товарища? — Я сыграл ва-банк, рискованно, но не проиграл. Я чувствовал, что Михальчук торговался с ментами, и от моих денег что-то откусил.

Михальчук даже слегка побледнел: его поймали за руку. Но бледнел он недолго. Он залпом выпил стопку водки, а потом придвинулся ко мне и заговорил, глядя мне в глаза, опять же с напором:

— Валя, время сейчас вон какое... Мне нужны твои проблемы? Задаром они мне нужны? — Он не сводил глаз. — Менты запишут меня в пособника сепаратистов, отберут бизнес. Мне это надо? Зачем ты полез в этот дом?



Вот и встреча с человеком, с которым вместе служил и считал своим армейским другом, вышла в Одессе вкривь да вкось. Мы простились с Михальчуком холодно. И, конечно, навсегда. Я не сказал ему это на прощание, но с иронией подумал: «Да, братья, долгое употребление горилки и сала сказалося на вашей мозговой деятельности... Зациклились вы на этой Европе. Но англичанин хохлу не товарищ».

3

У Лады были забинтованы руки, голова. Говорила она с трудом, хрипло, задыхаясь. В больничной палате она встретила меня с радостью, со слезами. И хотя ей не рекомендовалось вставать, она кинулась мне навстречу — обняла меня.

— Валя, какое счастье, что всё так обошлось, что Илья туда не попал... Господи! Но за что люди пострадали!.. А как ты? Как ты выбрался оттуда?

— Через следственный изолятор и подкуп должностных лиц при содействии влиятельного друга, — последнее слово я мысленно взял в кавычки.

После обеда в ресторане напряжение во мне спало. Но я твёрдо решил, что сегодня же улечу отсюда. Нечего мне делать в Одессе. Я так стремился сюда, так мечтал повидать свою первую любовь Ладу... Но. Не рвись в прошлое. Прошлого нет! Я так и подумал сейчас, когда сидел рядом с обожжённой, забинтованной Ладой.

— Здесь немного денег. Они тебе пригодятся. Возьми. — Я передал Ладе конверт. Она сначала возражала, но я сказал твёрдо: — Жаль, но только этим я тебе могу помочь. Возьми, без возражений... Наверное, я уеду сегодня. Мне предписано покинуть вашу страну. Смешно звучит, но это так.

— Идиоты! Безмозглые необразованные идиоты... Куда они нас заведут? — Лада тихо заплакала. — Неужели придётся уезжать отсюда? Мы здесь прожили столько лет. И ничего не было. Никаких разногласий... Идиоты! Стравили людей... Обними меня, Валя, на прощание, — вдруг потянулась ко мне Лада. — И прости меня. Я тебя втянула...

— Что ты! Не плачь... Прощай, Лада! — Я ткнулся губами в щёку Лады, почувствовал горький запах каких-то лекарств, мази.

Мы расстались. Я, ждавший этой встречи пять, десять, пятнадцать, двадцать лет, не то чтобы разочаровался, а просто после этой встречи как-то разом погас пыл к Ладе, она превратилась из обожаемой когда-то девушки в знакомую женщину, подругу. Я рисовал один «проект» нашей встречи, наших возможных отношений, а жизнь дала свой вариант, совсем не романтический.



Внизу, в фойе больницы, меня словно кулаком в грудь толкнули: я увидел того белобрысого подонка с площади в жёлто-голубой полосатой футболке, который ударил меня по ногам палкой, подло свалил на землю, про которого я в запале подумал: «Я найду тебя и убью!» У меня даже колено опять заныло от боли. И ещё больше ненависти проснулось в душе.

Я знал, что не уйду без расплаты: на этот раз я себе этого не прощу. Второго Козьявкина не будет! Если мстить, надо мстить сразу. Время притупляет злость, боль, силу мести. Хотя месть — штука гадкая. Как там по библейским наказам: «Мне отмщение, и Аз воздам...» Я сам сейчас воздам! Воздам этому гадёнышу, издевавшемуся над беззащитными людьми, которых они окружили своей волчьей стаей. Эти негодяи всегда храбры только в шобле. И такие, как правило, жадны до денег... Возможно, и все беспорядки в Одессе устроены за деньги.

Сейчас на парне поверх футболки была ветровка, на голове — бейсболка. Он сидел с девушкой в халате, у неё была в гипсе рука, и что-то рассказывал, жестикулировал, время от времени они смеялись. Выглядел он и нагло и в то же время как будто чего-то опасался — часто озирался по сторонам.

Я вышел из больницы, остановился в тени деревьев. Пусть парень расстанется со своей больной подругой — уж не вчера ли она сломала руку? Может, и ей отвалил кто-то, может, и сама камни кидала в дом с колоннами? Я опасался, как бы он меня не опознал. Но это вряд ли. Тогда было уже сумеречно, и я был грязный, по-другому одет, и был к нему боком, среди людей; он ведь не одного меня валил с ног. Я надел тёмные очки и, как зверь, стал выслеживать жертву, прикидывая разные варианты атаки.

Вот он и вышел. Один. Это мне и нужно. Я приложил к уху сотовый телефон и заговорил громко, чтоб слышал мой враг.

— Я не могу сам приехать! Я кого-нибудь сейчас найду и отправлю тебе эти бумаги. Жди! В течение часа доставят... Заплачу двести долларов — и привезут... — Тут я прервал свой фиктивный, липовый диалог и пошагал прямо на парня. — Слышь, приятель! — Я подошёл к нему, широко улыбнулся. — Хошь заработать?

— Шо? — Он огляделся по сторонам.

— Я говорю, заработать хошь? Двести баксов! За пару часов?

— Чего надо делать?

— Отвезти конверт по адресу...

— Не наркота? — по-русски говорил он чисто.

— Исключено! Бланки чистые. Пакет... Пойдём! У меня в машине... Не тяжело. Пару кило всего... Аванс получишь сейчас. Остальное — когда позвонит мне заказчик о доставке... Сам я не могу. У меня машина засвечена...



Я даже не стал дожидаться его согласия, надеясь, что двести долларов его сломят. Я зашагал в сторону прилегавшего к больнице парка, куда уже выверил дорогу, дожидаясь своего врага у больницы. Тут не было прохожих. Впрочем, прохожие могли появиться в любой момент.

— Вон там моя машина. Только хочу предупредить тебя. Заказчику ничего объяснять не надо. Адрес написан на конверте. Там же мой телефон... Вот тебе аванс. — Я остановился, выбрав наиболее укромный уголок возле скамейки, под кронами деревьев. Достал кошелёк, вытащил стодолларовую бумажку. Усмехнулся. — Можешь пощупать, поглядеть на свет. Не подделка. Всё по-честному. Проверь! А то с одним связался, он сам купюру подменил, и стал мне же доказывать, что подделка...

Парень клюнул, он поднял купюру, чтобы разглядеть на фоне неба. Тут я и всадил ему, мощно, отточено, снизу вверх в солнечное сплетение. Он враз задохнулся и повалился набок. Я подсобил ему, чтобы свалился он за скамейку. Я забрал у него купюру. Взял парня за пальцы правой руки и со звериной безжалостной силой загнул их — раздался хруст сломанных суставов. В этот момент я был зверем... Потом я встал ногой на кисть его руки, на сломанные пальцы. Парень взвыл, оскалил рот, вытаращил в ужасе глаза.

— Если ты, сучонок, тронешь ещё кого-нибудь, я найду тебя и сломаю тебе вторую руку. Понял?

Он молчал. Он, наверное, не мог говорить. Но я надавил ногой на сломанные пальцы, и он выдавил из себя словно в беспомощности:

— Понял...

— Слава Гондурасу! — склонившись к нему, прошептал я. — Повтори!

— Слава Гондурасу! — выдохнул он.

Потом я взял его за ногу, за стопу.

— Как вы там орёте? Кто не скачет, тот москаль? Это правильно! А кто скачет, тот козёл! — Тут я опять стал зверем и с дикой силой вывернул стопу. Не знаю, сломал я ему кости или нет, но хромоту на пару месяцев он получил точно. — Он вскрикнул и, похоже, впал в болевой шок. — Теперь, сучонок, меньше козлиться будешь!

Я сплюнул и быстро пошёл из парка. За спиной раздался стон — этот стон был мне приятен.

Скоро я заехал на такси за вещами на квартиру Лады. На минутку. Увидел ее сына. Обычный парень. Студент. Сын русского офицера. Конечно, это не было на нём написано, но я помнил об этом.



— Вчера очень много наших пострадало. А ещё многих сцапали эсбэушники. Я уеду на время из Одессы. За мамой присмотрит папина сестра, — сказал Илья.

— Ты крепись, Илья. Береги мать. Если станет неважно, пиши мне, звони.

— Это всё не так просто, — вдруг сказал он, задумчиво и печально. — Это они для устрашения. Заживо людей сожгли. Чтобы больше головы никто не поднял.

Какой-то ледяной досадой опахнуло душу, когда слушал Илью. Почему они, простые русские люди, вынуждены теперь опасаться своих взглядов, своей речи, или даже искать себе другую страну для жительства, хотя место, где они жили, всегда было за Россией.

— Негодяи политики, — сказал я. — Ваше поколение жизнь начинает в конфликте... Будь осторожен. Политики действуют руками подлецов, — прозвучало это из моих уст с какой-то патетикой, но смысл был с убеждением.

— Теперь в аэропорт! — сказал я таксисту. В машине открыл бутылку коньяку. Одесского. Выпил немного.

— Куда летим? — спросил таксист.

— Домой. В Россию. А вернее, в Сочи. В санаторий.

— Везёт... — усмехнулся таксист. — А я вот в Сочи не был ни разу. Хотя тоже в России родился.

— Везёт, дружище... — Мне захотелось похвастаться таксисту. Наверное, у каждого нормального человека есть ген бахвальства. Но у меня было сейчас хвастовство особенное. — Я всего, чего хотел добиться, добивался. Вот и в Одессе. Я хотел повидать друга. Повидал. Хотел повидать свою первую любовь. Не только повидал, но даже в чём-то помог ей... Меня унизил один подонок. Но я отомстил ему. По-настоящему отомстил, запомнит.

— Вот я и говорю: везучий ты.

— Да, везучий. Только мечта осталась несбывшейся. — Я глотнул ещё коньяку из бутылки. — Остановись у воинского кладбища. Я зайду на минуту. Могилы погибшего деда тут нет, но хоть братской могиле поклонюсь.

— Дело святое, — кивнул таксист, потом глянул мне в глаза и опять кивнул: — А Украину вы сами просрали, ребята.

4

Вдоль дороги простирались поля, кое-где кустился рядышком виноградник, но взгляд всё больше забирали и увлекали горы, в синей дымке, загадочные, манящие. А за горами было море. Я ехал на автобусе из Краснодара в Сочи. Прямого рейса из Одессы не нашлось, да и в Краснодар летели ещё через один промежуточный аэропорт.



Итак, я ехал к морю, в санаторий, в Сочи.

В Одессе я и моря-то по-настоящему не видел, даже по набережной не прогулялся. В этом тоже было что-то символическое, ущербное. Вот придурки-националисты! В несколько месяцев так размаландать страну! Всё вверх тормашками... Мне не хотелось вспоминать Одессу, я увёртывался от воспоминаний, но они снова и снова выползали на первый план сознания. «Стоп! Проехали!» — повторял я, но в мозгу держались недавно пережитые события. И не отпускала встреча с Ладой.

Я с горькой усмешкой вспоминал свои наивные мечты о возврате школьной любви. Что это было? «Старческие» иллюзии, которые питали меня романтической любовью к давней подруге? Теперь я не испытывал к Ладе прежних чувств. Будто отшибло. Я пытался найти в себе эти чувства, которые тешили меня долгие годы, но безрезультатно. Лада представляла передо мной несчастной вдовой, занятой только своим сыном, потускневшей и постаревшей, безжалостно и незаконно пострадавшей от «идиотов»...

Наконец-то в глаза, будто волной, плеснула синева моря. Мне стало хорошо и спокойно. Копоть и настороженность сожжённой Одессы смылась, затих южнорусский хохляцкий говор в ушах, который звенел после пожара в доме с колоннами. Я вдыхал напоённый йодом воздух родных субтропиков...

Человек должен жить для себя и своих родных! И выполнять то, что обязан по службе. В этом и будет порядок. И главное — смысл жизни. Иначе всё бардак, глупость, пустота. Я втихомолку блаженствовал. Вот и начался отпуск.

Санаторий пришлось выбрать не самый первостатейный: деньги-то ушли. Ах, какие это ненадёжные бумажки! Но я не был чопорным и избалованным. Словом, санаторий был старенький, советский... Но в этом было немало преимуществ. Здесь сохранились советские врачебные методики лечения, оздоровления, и мне хотелось им полностью подчиниться. Побывать на мацестинских ваннах, не упустить всевозможные процедуры. К моему удивлению, даже море оказалось не таким уж холодным, и нашлось немало отважных купальщиков. А майское солнце светило вовсю. Все ходили в лёгких одеждах. Жары ещё не было, и слава Богу: жару я не любил, не терпел даже.

День-другой — и я стал осматриваться, как всякий неженатый или, тем более, женатый мужчина на курорте. Иллюзии о лёгком романчике скоро растаяли: не с кем тут было знакомиться, амурных перспектив никаких. Я с придирчивостью оценил весь контингент — и разочаровался. В основном, здесь были параи: он и она и, в основном, в преклонных летах. Или одинокие пожилые дамы, а я не забывал напоминать себе, что я ещё ого-го и что в сорок пять для меня жизнь долж-



на только начаться. Ещё упал у меня взгляд на женщину с дочкой, но дочка была такой прилипчивой, что не отпускала от себя мать ни на шаг. По годам дамочка мне вроде бы подходила, но по другим параметрам — габаритам, «кубатуре» — не очень... Тут я вслух рассмеялся: и термины строительные, и просто глупость какая-то, но всё это означало и другое: я начинал по-настоящему отдыхать. Солнце, воздух, процедуры, горы, бассейн с морской водой — что ещё может быть лучше! А любовные интрижки — так, на десерт, если получится. Правда, иногда словно туча находила на меня — дымная туча воспоминаний о Ладе, почему-то я чувствовал себя перед ней должником.

По привычке утром я просыпался рано. Физзарядкой я никогда не занимался, а здесь надевал спортивный костюм и до завтрака выходил на пустующие аллеи санатория, делал пробежку. Меня тянуло жить, а любить пока было некого. После разминки наступала приятная усталость, бессмыслие: худые и нехудые мысли, а главное — всякое раздражение отступали. Я принимал душ, потом недолго отдыхал и шёл в столовую. После завтрака отправлялся на процедуры, ехал на сероводородные ванны в Мацесту. Комплекс Мацесты поражал: архитектура победившего социализма, советский сталинский стиль, монументализм, здесь было на что посмотреть. А какой воздух! Горы в синей дымке. Не исключался и бокал сухого вина в фирменном кафе «Фанагория», и так полдня утекало совсем незаметно. А после обеда — послеобеденный сон. Потом — массаж, бассейн, душ Шарко, прогулка вдоль берега моря. А вечером — Большой Сочи. Парк «Ривьера», платановая аллея, набережная... Появился и попутчик, тоже из отдыхающих, Коля, простой мужик с Севера, из нефтяников-вахтовиков, недоставучий, неболтливый, с которым можно было поговорить «ни о чём» и съесть шашлык в кафе под бокал пива или в кофейне выпить по чашке кофе, приготовленного в турке на горячем песке.

Я озвучил ему тезис: зачем я буду думать о том-то и том-то и тратить на это свои нервные клетки, расходовать свою мысленную энергию, если то-то и то-то от меня никоим образом не зависит? Уж лучше говорить о чём-то отвлечённом и приятном, чем о злом и насущном. Коля меня услышал и совсем не лез с разговорами о политике. Съездили с Колей и на спортивные объекты недавно отшумевшей, победной для нас олимпиады. Как строитель я кое-что оценивал, прикидывал сметную стоимость, удивлялся.

Отдых складывался удачно. Но натуру не проведёшь! Что-то тихонько ныло внутри, как будто в супе не хватало соли, на столе не было солонки, и я начинал оглядываться по сторонам, будто искал солонку на соседних столах, но солонка мне



совсем была не нужна. Женщины! Конечно, среди гуляющей толпы было немало красоток, но они все были как-то пристёгнуты. Впрочем, я не торопил события, случай должен подвернуться или, по-другому, свинья грязи найдёт...

Однажды утром я увидел у стойки регистратора женщину, черноволосую, яркую, одетую в броское платье, с красными крупными бусами на шее; волосы у неё отблёскивали, завитые в мелкие-мелкие кудри. «Наверно, цыганка. Какая экзотика! «Мне б такую», как в песне поётся», — мимоходом подумал я. Рядом с ней, однако, стоял юноша, скорее всего — сын, и он был породы светлой, походил на чистокровного русака. «Цыганка» что-то говорила, то громко, то со вздохом администраторше, то хотела что-то доказать, то о чём-то как будто умоляла. И всё время она озиралась по сторонам, озабоченно и прицельно оглядывала каждого. Взгляд её задержался на мне. Я даже почему-то непроизвольно кивнул ей в знак приветствия. Она тоже кивнула и тут же направилась ко мне.

— Извините, мужчина... Меня Лилей зовут.

Я тоже представился.

— Не удивляйтесь, Валентин, у меня странная просьба. Не могли бы вы побыть недолго моим мужем. Мне вас нужно показать администрации санатория.

Я рассмеялся:

— По-моему, кино такое было: «Будьте моим мужем». Там, кажется, Андрей Миронов играл. Только я не помню, о чём оно и чем закончилось.

Но Лиля не шутила, просила всерьёз, без розыгрышей.

— Вы лучше других подходите. На моего мужа похожи... Вот, на фотографии в паспорте. Взгляните! — Она достала из сумочки чей-то документ и предъявила мне.

С маленького паспортного фото на меня пучился мужик, по моим понятиям, явно не схожий со мной. Мне стало весело:

— А в чём дело-то? Поподробней, пожалуйста.

— Валентин, нет никакого обмана, — она мягко и в то же время по-свойски заговорила со мной, в приятельском духе. Она была взволнована и просила помощи, особой помощи. — Мой муж — чернобылец. Каждый год ему дают путёвку, чтобы самому лечиться и сына подлечить. Но сам он не ездит. Переоформляет путёвку на меня. А тут путёвка горящая. Он не успел... Дал мне свой паспорт, говорит, устройся, договорись. Но администраторша боится... Говорит, должен муж быть оформлен. Я ей сказала, что муж подъедет... Вот я вас и нашла... — Лиля смотрела прямо, искренно и абсолютно серьёзно мне в глаза, и, как мне казалось, без капли юмора.

— Мне только устроиться. Потом я со всеми договорюсь. Главное — для сына Кирюши...



Сынок тем временем не выражал никакого беспокойства: он сидел в кресле и играл на планшете, наверное, в бесконечные игры, которые обожают его поколение, двенадцати-четырнадцатилетних оболтусов...

— Вы уверены, что это правильный ход?

— Да-а... Они вас оформят. Вы поселитесь. Главное — поселиться. А потом я со всеми договорюсь. Главное, чтоб дали номер и поставили на питание. Я готова им приплатить... Все люди. Все всё понимают. К тому же я не задаром.

— А спать нам вместе придётся? Если по паспорту я ваш муж... — коварно пошутил я, чтоб узнать реакцию новой знакомой.

Тут она рассмеялась, задорно, весело. Смеялась она красиво, и лицо у неё становилось очень красивым, глаза сужались, губы и подбородок чуть вздрагивали, на щеках играл румянец; она как будто молодела, становилась девушкой кокетливой и ветреной...

— Всё же давайте сделаем по-другому. Сходим к директору. Он, говорят, человек доброжелательный. К тому же администратор меня уже оформляла и вряд ли забыла... — предложил я.

Лиля предупредила сына об отлучке. Кирюша только головой мотнул и даже не оторвался от игры на планшете.

Директор санатория, молодой элегантный армянин, был прост и вменяем. Лиля ему, очевидно, приглянулась, он ей улыбался, говорил простенькие комплименты; возможно, он в ней чуял свою, возможно, она была из их племени, южных кавказских кровей. Лиля и он больше улыбались друг другу, а говорил, в основном, я, уже с некоторой ревностью:

— Понимаете, Ашот Арменович, я друг её мужа. Он неожиданно заболел и очень просил меня оказать содействие семье. Жене и сыну. Как-никак, чернобылец...

— Уважаемый, нам всё равно, кого соцслужбы отправляют на лечение: Васю или Дашу. Пусть они дадут нам бумагу, письмо, — он говорил с приятным южным акцентом.

— Если они пришлют письмо факсом, это вас устроит? — по-деловому спросил я.

— Разумеется, устроит, — сказал директор.

Однако из кабинета директора Лиля вышла растерянная.

— Где мы достанем такое письмо?

— Неужели в вашем городе нет ни одного знакомого, кто отправил бы нам факс?

— Но письмо мы где возьмём? У этих соцслужб пока допросишься.

— Письмо мы сами сделаем. И отправим по электронной почте. А на санаторий из вашего города отправят факс.

— А печать? На письме должна быть печать!



Я улыбнулся. Мягко взял из руки Лили её путёвку, на которой отлично читалась печать организации, выдавшей этот документ.

Через пару часов из её родного города прилетел факс в санаторий с нужным текстом и печатью внизу. Подделать такое письмо мне труда не составило. В ближайшем компьютерном центре я сканировал печать, разработал фирменный бланк письма, ну, а дальше... Как в моём любимом кино «Бриллиантовая рука»: «Ну, а дальше — дело техники...»

На столе администраторши лежал факс, в котором говорилось, что администрация передаёт путёвку жене, члену семьи чернобыльца. Всё чинно, комар носу не подточит. А когда Лиля с Кирюшей заселились и наконец-то облегчённо вздохнули, я поблагодарил судьбу, что она подкинула мне в санаторий премилую женщину, пусть и замужнюю, пусть и с отроком.

Лиля смотрела на меня благодарными глазами.

— Как всё вы здорово придумали! Так всё быстро решилось... Надо купить бутылку коньяку, отблагодарить директора...

— А меня отблагодарить?

— Ну, это не обсуждается, — рассмеялась Лиля и даже легонько прижалась ко мне в знак благодарности. — Отметим вечером.

Тут моё воображение стало рисовать прекрасные картины сегодняшнего вечера. Внутренний голос лукаво подсказывал: в ресторан с Лилей лучше не ходить, а отметить событие у меня в номере. Было, конечно, опасение: Лиля замужем, муж-чернобылец морально давит на неё и мешает. А вот Кирюша уже не малыш и вполне удовлетворится своим планшетом.

Весь остаток дня до назначенного свидания меня не покидало чувство лёгкости и веселья. Я словно бы помолодел; всё прожитое, пережитое сдвинулось куда-то далеко, будто мне оно и не принадлежало, и вообще казалось, что не было никакого прошлого: всё только начинается с чистого листа. Я оглядывался по сторонам, непроизвольно что-нибудь рассматривал, куда-то шёл, не думая, куда; мне легко дышалось. Вот бы остаться здесь навсегда! Дышать этим воздухом, купаться в море, жить среди этой красоты, покоя, испытывать душевное равновесие, глядеть на пальмы и рододендроны... Чувства мои были настолько светлыми и всеохватывающими, что становилось радостно даже не от предчувствия будущего свидания, а от общей полноты жизни, словом, как в детстве, когда, проснувшись, испытываешь каждой клеткой тела и души свет и радость светлого и радостного мира.



Лиля пришла ко мне в номер принаряжённая, подкрашенная, в синем длинном платье из тонкой материи. С первых же минут свидания мне хотелось Лилю потрогать, обнять. Я даже начинал её ревновать к тем мужчинам, которые у неё были... Пожалуй, это было впервые: странное, новое чувство ревности, ведь у меня с ней ещё ничего не произошло. Но мы с ней уже перешли на «ты».

Осторожненько, без нажима и спешки я решил попытаться Лилю насчёт мужа. Как и что? Проблема верности... Лиля была открыта, искренна, по крайней мере, мне так казалось. Не сразу, не целым ведром информации, но постепенно она рассказала, как стала женой чернобыльца и кто этот самый чернобылец.

— Когда взрыв грянул, Сергей ещё был молодой, пожарным работал. Дурость в голове. Не понимал, что такое радиация и прочее... Набирали добровольцев, он мог отказаться. Но не отказался. Сам напросился в Чернобыль. Героем хотелось быть... Вернулся, всё вроде нормально. Но потом сказалося. Стал часто болеть...

— Сейчас, наверно, жалеет о том, что поехал? — спросил я.

— Нет, говорит: у каждого своя судьба. Он такую выбрал... У меня сразу были сомнения: чернобылец — как дальше со здоровьем? Ведь радиация не шуточки... Но я всё равно за него замуж пошла.

— Любила сильно? — без усмешки подсказал я.

Лиля без усмешки отвечала:

— Нет. Любви не было. Так только, взаимность. А любви не вышло... Просто так... Он, Сергей, из хорошей семьи. И мать, и отец — преподаватели, поэтому я надеялась, что он и мужем будет порядочным. Семью не разобьёт... Мы с ним сейчас уже порознь живём. Просто развод не оформляем, чтобы легче было и с лечением, и с льготами разными.

— А он любил тебя? — я ещё никогда и никому не задавал таких вопросов «в лоб» через несколько часов знакомства, в первый день, но сейчас я даже не испытывал стеснения и скованности, казалось, я мог спросить её о чём угодно, даже о самом сокровенном.

— Он меня, наверно, любил, — простодушно отвечала Лиля. — Ну, во всяком случае, я его очень сильно притягивала. Он мне подарки разные дарил, с поцелуйчиками всё время лез, вещицы разные интимного гардероба покупал. В общем, как женщина я ему нравилась... А любовь — это что-то другое. Я думаю, что любовь чувство бешеное и недолгое. На один месяц...

Я слушал Лилю и старался понять, что она за человек: всё напрямую говорит, не скрывает, что вышла по расчёту замуж, что с мужем не живёт...



— Потом у Сергея проблемы на работе начались, он перестал на меня внимание обращать. Хотя мужчиной-то он быть не перестал... Я друга себе завела. Сперва одного, потом другого. К нему совсем охладела. Только так, по обязанности... Он за городом живёт. Иногда к нам приезжает. Кириюшу очень любит, — Лиля рассказывала увлечённо и главное — доверительно. — Сергей всё время нашу жизнь ругает. Говорит, что сыну досталось время подлое. Всё свели к деньгам и ничего больше. Кругом деньги, деньги... А ведь тушить Чернобыль ехали не из-за денег. Сейчас туда бы никого не загнали по доброй воле... Ну, а к женщинам он сейчас совсем охладел.

— А ты, Лиля, к мужчинам?

— А я нет, — она рассмеялась и прижалась ко мне.

Тут я впервые поцеловал её в щёку. Всё складывалось превосходно!

В этот вечер, в этот изумительный вечер у меня с ней ничего так и не случилось. Когда после лёгкого вина, после милых застольных разговоров о горах, о море, о мацестинских ваннах и о разном прочем курортном, я пригласил её потанцевать (о музыке я позаботился заблаговременно) и мягко прижал к себе Лилу, почувствовал к ней удивительное влечение. Сперва я объяснил для себя это тем, что у меня уже давненько не было женщин и естество брало своё. Но, похоже, это было не так: у неё была упругая душистая смугловатая кожа, цыганочные волосы и безумные чёрные глаза.

— Ты цыганка? — спросил я напрямую.

— Не-ет... Многие так думают. Может, где-нибудь в нашем селе и затесался в роду какой-нибудь цыган, но родом я русская. Просто род такой весь чернявый вышел... А прадедушка священником был с огромной чёрной бородой. Я на фотографии видела.

— Очаровываешь ты, как цыганка...

Лиля рассмеялась, а я поймал момент, обнял её сильнее, стал целовать в губы. Потом стал обнимать её так страстно, что намерения мои были очевидны. Лиля мягко отстранилась от меня, её глаза блестели, казалось, тоже от возбуждения и распалённости, но она тихо сказала:

— Валя, сегодня не надо. Перенесём на завтра. У нас еще уйма времени...

Я подавленно опустил голову, танец подошёл к концу. Самый грустный вариант пришёл в голову: ну вот, воспользовалась мной — и в сторону. Лиля, вероятно, почувствовала эту обиженность, притянула меня к себе, запрокинула голову и впилась сладко, опытно и покорно своими губами в мои губы.

— До завтра, — шепнула она потом, слегка отдышавшись.

В эту ночь я долго не мог уснуть, хотя прежде засыпал легко. Приятные обнадёживающие мысли вились вокруг Лили.



Я думал только о ней. Ни о чём другом думать не удавалось. Даже если я насильно заставлял себя вспоминать о бывших «жёнах», о поездке в Одессу, о Ладе, о дочке, о Толике, Лиля как будто стояла рядом или слушала все мои мысли... В моей груди появлялось какое-то знобяще-тревожное, приятное чувство. Так приходит любовь.

5

На следующий день, вернее, ночь Лиля ночевала у меня. Я беспокоился о её сыне, но Лиля мне сказала:

— Он уже взрослый мужчина — один не боится. Сергей в нём воспитывает мужество... К тому же телефон под рукой, да и расстояние между корпусами (они жили в другом корпусе) — докричаться можно.

Лиля отдалась мне просто, естественно и полноценно, как будто много-много раз делала это уже со мной. Любила она не только умело, но даже как-то весело. Темпераментная, шаловливая, она быстро зажигала меня, да и сама увлекалась самозабвенно и неутомимо. Однажды, разгорячённая, обезумевшая, пылая страстью, диковатая, как пантера, жадно глотая воздух, в потёмках ночи, Лиля шептала мне:

— Валя, делай со мной всё, что хочешь... Ещё... Ты мой мальчик...

Ну, а дальше, а потом и вовсе началось некое любвеобильное сумасшествие. Две недели мы с Лилей проскочили по курортной жизни будто за один день и одну ночь. И всё это счастливо-полоумное время мы ни от кого не прятались. Правда, Лиля не каждую ночь оставалась у меня, зато каждый день оказывалась в моей постели. Теперь я даже не представлял, как мог жить без неё. Наверное, такое бывает с каждым мужчиной, у которого плавятся мозги...

Опять в груди появилось щемящее неизъяснимое волнение, сладкое, будто стоишь над пропастью и гордишься тем, что стоишь на огромной высоте. Это чувство бесстрашия высоты становилось необузданным. Я понимал, что поплыл... Но разве я не об этом мечтал, разве не об этом мечтает каждый свободный мужчина?! Да, отправляясь на юг, в Одессу, я мечтал возродить, обновить свои чувства к Ладе. Но Одесса мне этого не дала. А здесь сам воздух был пропитан не страданиями и тревогой, а весельем, свободой и любовью.

Однажды я ждал её вечером у себя в номере. Уже весь истомился. А она запаздывала. Надоедать звонками — не в моих правилах. Опаздывать ей и не возбранялось: всё-таки нельзя было безоглядно бросать Кириюшу вечерами и нестись к любовнику. Но в этот вечер я почему-то трепетал. Измучился от ожидания. Я уже намеревался пойти ей навстречу, вы-



шел в узкую прихожую номера, посмотрел на себя в зеркало перед выходом. Но вдруг услышал тихий, знакомый, любимый стук в дверь.

— Лиля! — Даже задрожал от счастья. — Я так ждал тебя!

В эту минуту я не утерпел, впрочем, и не хотел сдерживать себя, понимая, что это моя последняя любовь. Всего меня охватило волнение, которое было знакомо и прежде, в молодости и в юности, и я знал причину этого волнения; у меня даже ком в горле появился от горьких и сладко-счастливых слез. Я прошептал Лиле на ухо.

— Я люблю тебя.

Она, похоже, не очень-то удивилась моему признанию, но покорно прижалась ко мне, поцеловала меня, шепнула в ответ:

— Мне так с тобой хорошо, Валя!

Потом она потихоньку стала расстегивать пуговицы на моей рубашке, игриво и тихо шепнула:

— Можешь смотреть в зеркало. Там будет интересно...

Позже, когда пришла успокоенность и чувство благодарности к Лиле за её неистощимую ласковость, я сказал:

— Наверно, твой муж Сергей здорово ревновал тебя? Ты необыкновенная.

— Он мне сказал: ревновать тебя, Лиля, себе дороже. С ума сойдёшь... — ответила она. — У него был друг, этому другу я нравилась. Он этого и не скрывал. Так однажды Сергей позволил мне с его другом вместе поехать в командировку.

— Он так подстроил?

— Нет! Он просто не запретил ни ему, ни мне...

— И что было?

— Ничего не было. Он был его настоящим другом. Он просто меня поцеловал в щёку и сказал, как жаль, что Сергей его настоящий друг. Они вместе ликвидаторами были... А вообще-то, если бы его друг был понастойчивее, я бы... — Тут она рассмеялась. Как всегда, заразительно и достаточно громко, смех её, словно звон колокольчика, разлетелся по номеру. Потом Лиля, словно спохватившись, сказала:

— Всё! Я должна сейчас уйти.

— Куда? — недоумевал я.

— Сегодня день рождения у администраторши. Меня пригласили. Ну, так просто, посидеть. Девичник... Я обещала, так что надо прийти посидеть. Она добрая женщина.

Когда Лиля ушла, я долго лежал на кровати без движений, большой от своего признания в любви, от ласковости Лили. Я не очень понимал: когда, как она успела сблизиться с администраторшей? Всё же очень легко Лиля умела сходитья с людьми. Всех подкупала её искренность... Но я чувствовал и некоторую загадку в Лиле. Если в своих прежних любимых жен-



щинах я, в основном, видел, кто они, что они, то в Лиле ещё не разобрался. Иногда она была и вовсе без тормозов.

Ночью того же дня, после девичника (но был ли это исключительно девичник? — ломал я голову) Лиля позвонила мне по сотовому телефону и спросила:

— Валя, ты правда, меня любишь? — голос её был отчаянно-горячий, заигрывающе-весёлый, с явной пьянцой.

— Такими вещами в моём возрасте не шутят. А если и шутят, то не так, перед зеркалом...

Она рассмеялась.

— А если ты меня любишь, повтори это?

— Я тебя люблю!

— Громче!

— Я тебя люблю!

— Ещё громче!

— Я тебя люблю!

— А теперь выйди на балкон и крикни так, чтоб я тебя услышала... Я тоже на балконе стою...

Я не стал оправдываться перед Лилей: мол, извини, люди уже спят, я, не раздумывая, вышел на балкон и, заглушая в себе всякий разум и осмотрительность, выкрикнул в глухую ночь:

— Я тебя люблю!

Она, безусловно, это услышала на балконе соседнего корпуса. Другие тоже услышали...

Как-то раз, когда курортный роман у нас был в разгаре, а дней до моего отъезда оставалось мало, мы сидели в одном из популярных сочинских ресторанов: хотелось иметь и такую страничку в своём отдыхе. В этот вечер много и мило говорили, шутили, танцевали. Даже приняли участие в каком-то розыгрыше призов в развлекательной программе. Лиля была в тот вечер очень красивой, она и не могла быть иной, она уже крепко загорела, загар ей очень шёл, особенно в белом тонком сарафане на просвет, вся притягательно шоколадная, сексуальная.

Мы пили из бокалов французское вино, ели жареную сёмгу с богатым гарниром. Говорили о ерунде, но о такой ерунде, которая впоследствии чего-то стоит:

— Лилечка, кем ты мечтала стать в юности?

— Все мечтали стать какими-то знаменитыми, а я... А я мечтала стать официанткой... Я ещё школьницей подработывала официанткой в летнем кафе. Мне нравилось.

— За тобой, наверное, многие ухаживали — вот и нравилось.

— Ну, и такое случалось. Но в этой работе есть что-то привлекательное. Мне ведь хотелось быть официанткой на большом круизном судне...



— А кто ты сейчас?

— Работаю в салоне красоты. В общем, парикмахерская. Мы её с подружкой держим. Я упустила время, не получила хорошего образования, а теперь за книжки садиться не хочется. Поздно...

— Но всё равно о чём-то мечтаешь?

— Свой ресторан иметь... Такой же, как этот, — она рассмеялась довольно громко. Кое-кто из зала на нас даже оглянулся.

Хм, она говорит, что не получила образования, подумывал я, наблюдая, как Лиля умело орудует ножом и вилкой. Профессии тоже дельной не получила... Но в ней есть что-то холёное, породистое, и избалованность есть. Похоже, она никогда не перебивалась с хлеба на воду. Хотя кто знает... Всё же есть в ней таинственность. Ну, и здорово!

Я смотрел на неё откровенно-влюблённо: она яркая, обаятельная, она, действительно, как кошка, — ласковая, щедрая, обворожительная. Истинная женщина! И вдруг я почувствовал счастье... Я же мечтал всю жизнь об этом. Сидеть на берегу моря в ресторане с красавицей, пить хорошее вино, слушать музыку. Да, я счастлив! Я люблю эту красавицу, я свободен, я никому не изменяю, никого не предаю, мне некого опасаться. Это полноценное счастье!

— Валя, давай поменяемся с тобой местами, — вдруг попросила Лиля; мы сидели друг против друга.

— Почему? — удивился я.

— Ты только не оборачивайся... Напротив сидит усатый кавказец. Он слишком пялится на меня...

— Может, набить ему морду?

— Нет, нет! Что ты! — Лиля рассмеялась.

— Может, просто ты сама строишь ему глазки, а он цепляется? — шутиливо сказал я, но внутри меня обожгло ревностью. Я давным-давно не испытывал этого лютого чувства.

Я обернулся. За моей спиной, через пустующий столик сидели двое кавказцев. Они и не скрывали, что косились в нашу сторону; мне они даже как-то по-приятельски улыбнулись. Я им не ответил улыбкой.

— Ты в фаворе у здешней публики... Но мне не хочется отдавать тебя на растерзание даже взглядам этих усачей, — сказал я.

Лиля опять безоглядно громко смеялась.

То, чего я боялся, — конец моему отдыху и расставание с Лилей, — произошло как-то внезапно. Однажды я проснулся утром, вспомнил, что вчера у нас с Лилей был последний вечер... На душе стало муторно, хоть плачь. Я сегодня улетаю, а она ещё остаётся здесь на несколько дней. Может, продлить путёвку? Нет, санаторий мне уже поднадоел. На завтрак я решил не ходить, перекушу в аэропорту, всё равно придётся тупо



убивать время в ожидании посадки. Сейчас зайду к Лиле, выдаюсь и... Нет, наперёд загадывать не буду! Пусть всё идёт как идёт.

Я осторожно постучал в номер к Лиле. За дверью раздался голос Кирюши:

— Войдите.

— Где мама?

— Она ушла к администратору. Сейчас придёт.

— Я уезжаю. Давай руку. — Я пожал руку Кирюши. — Рука у тебя твёрдая. Спортом занимаешься?

— Немного. Стрельбой... Папа у меня мастер спорта по стрельбе.

Я вышел из номера: не хотел прощаться с Лилей при сыне. Дождался её в коридоре.

— Я уезжаю, — сказал я.

— Мне проводить тебя? — Она смотрела на меня растерянно, она тоже, наверное, не знала, как вести себя со мной сейчас, что мне нужно.

— Давай здесь простимся. Где познакомились, — сказал я, обнял Лилю в сумраке коридора, поцеловал, потом прошептал: — Спасибо тебе. Я позвоню. — Я хотел сказать ей, что люблю её, но почему-то не посмел, — значит, точно люблю...

Я пошёл по коридору, оглянулся — Лиля стояла на месте. Я не видел из-за сумрака её лица, её глаз, но я видел её внутренним зрением, остро помнил её «цыганские» чёрные волосы, завитые в мелкие кольца, её карие глаза, сверкающие в темноте, когда она любила меня, ощущал запах её кожи, её ласку, слышал, будто втявь, её смех.

Я уходил от неё, будто в забытьи, в некой полудрёме, ещё не понимая, что происходит. Где, когда состоится наша новая встреча? Мы даже не договорились. Созвониться — да. Но что такое звонок!

И в такси я ехал в недоумении. Как так, почему так быстро, неожиданно всё оборвалось? Дорога была скоростная, прекрасная, отделанная к олимпиаде, да и всё вокруг казалось свежим, прибранным, чистым и прозрачным. Погода баловала, и на побережье было полно загорающих и купающихся.

В аэропорту было немногочленно и опять же светло, просторно и чисто. Ну, почему, почему я так холодно и быстро простился с Лилей, отказался от того, чтобы она меня проводила? Меня обжигала обида на самого себя. И почему не поговорил с Кирюшей, не узнал, кто их ждёт дома? Я задавал эти вопросы, и не получал и не мог получить ответов на них. Ругал себя за раздолбайство. А ведь у нас с Лилей всё было так серьёзно. Как в первый раз... А расстались так:

«Позвоню! — Позвони!»



Больше медлить было нельзя, пора идти на регистрацию. Тут во мне всё зануло, загудело в висках. Мучила жестокая мысль: стоит только улететь — и Лилю я больше никогда не увижу. Я позвонил ей, вернее — только набрал номер, но до разговора не дошло. Что я скажу ей по телефону, разве у меня не было времени объясниться с ней раньше? Да и Лиля, как я заметил, не любительница болтать по телефону. А впрочем, куда я тороплюсь? Почему улетаю? Ведь мне, в сущности, некуда торопиться. Дома никто не ждёт. Работа не убежит.

Я пошёл к стойке — не к той, где шла регистрация на рейс, а к той, где сдают билеты.

— Вы сдаёте перед самым вылетом — процент возврата будет очень маленький, — предупредила кассирша.

— Всё равно. Я не могу улететь сейчас.

Ах, не мальчишество ли это? Блажь? Придурь? Но поверх всего во мне бурлило счастье, оно всколыхнулось и заполняло меня точно так же, когда я впервые, с нетерпением дожидавшись Лили, признался ей в любви. Никакой здравый смысл уже не мог остановить меня.

Я опять мчался в такси. Я безумно любил её, ревновал её, я хотел её видеть, быть с ней, жить с ней, никогда не расставаться.

Время было уже послеобеденное, все процедуры, как правило, закончены, и Лиля должна была быть с сыном у себя в номере. Я осторожно постучался.

— Кто там? — спросил Кирюша.

— Это я...

— Вы? — Он с удивлением открыл дверь.

— Да, — пролепетал я. — Рейс перенесли по техническим причинам. А где мама?

— Она ушла.

— Куда?

Кирюша пожал плечами.

— Неужели она тебе не сказала?

Он снова пожал плечами, потом посмотрел на меня с сожалением:

— Зря вы вернулись... Вы её не удержите. Папа говорит, её никому не удержать... Она с директором санатория в кофейню ушла.

— Не говори ей, что я возвращался.

Я вышел из номера. Сердце бешено колотилось, отдавалось в висках, горело от ревности, в ушах шумело от отчаяния. Но я собрал волю в кулак. Хотя бы ненадолго. Нет! Стоп! В кофейню не пойду! Всё! Хватит! Какой дурак! Поверить цыганке! Я рассмеялся ядовитым смехом. И пошёл прочь из этого санатория. Скорее прочь, чтоб никто меня здесь больше не увидел.



С другой стороны, с логической, мне стало даже как-то легче, всё стало понятней и проще. Ну вот, открылись глаза, и никаких обязательств и морок. Свободен по-прежнему! И счастлив, что имел красивую женщину! Теперь пусть с ней спит... Но я оборвал свои мысли. Стоп! Не надо ныть! Проехали! Правда, «проехать» в этот раз не получалось. Но и опешлять ничего не хотелось. Она просто такая. Открытая, доступная, и Бог ей судья.

На этот раз я поехал на вокзал. В кассе купил билет на ближайший поезд до Ростова-на-Дону, поезд был как раз под парами... Сперва до Ростова, как раз и к сослуживцу Петру Калининскому заеду, залью свою и радость, и печаль с армейским другом. В дорогу я всё же захватил бутылку коньяку. Со мной в купе ехала семья. Отец, мать и дочка. Предложил им выпить за удачно проведённый отдых. Они согласились. Мы выпили, я расслабился, успокоился слегка. Я был счастлив и несчастен одновременно. Я был пьян и трезв одновременно. Я был ещё молод и уже стар одновременно. Потом я забрался на верхнюю полку и спал как убитый до самого Ростова.

6

Петра Калининского найти оказалось проще простого. Адрес у него остался прежним, так что плутать по городу не пришлось. К тому же он жил недалеко от вокзала, и таксист даже на меня покосился с подозрительной иронией: чего, мол, пешком пару кварталов пройти не можешь... За три минуты мы от вокзала доехали до дома Петра. А в дом заходить не пришлось. Пётр был во дворе, в окружении дюжины казаков в форме, штаны с лампасами, некоторые — в защитного цвета комбинезонах. Дородный, головастый, с окладистой чёрной бородой, Пётр выделялся из этой казаковой массы и ростом, и осанностью. Он что-то говорил окружающим, и все были возбуждены, словно он травил их анекдоты. Увидав меня, Пётр онемел, вытаращил глаза. Потом он всплеснул руками и бросился ко мне навстречу. Мы крепко обнялись. Глаза Петра аж заслезились от радости.

— Валька, чертяка! Да ты ли это? Не сон ли привиделся?.. Я ж про тебя только что вспоминал! Даже казакам рассказывал, как мы с тобой служили...

— С чего вдруг такое внимание? — рассмеялся я. Что-то в этом скрывалось загадочное: ничего ж так просто не происходит в жизни, и даже воспоминания не бывают случайными, а тут Пётр про меня сотоварищам рассказывал.

Я оглядел окруживших нас мужиков в казачьих мундирах и камуфляжах. Усастые, бородастые, подтянутые, с какими-то наградами на груди, и всё равно немножко как будто ряженые,



они у меня покуда полного доверия не вызывали. Не вызывали до одной минуты.

— Мы на Украину едем. Не все. Покуда впятером. Вот ещё двое чеченов сейчас подойдут, и в путь, — сказал мне после знакомства с сотоварищами Пётр и кивнул головой в сторону машины. Поодаль, на обочине улицы, стоял военный тентованный «Урал». — А вспоминал-то я тебя вот чего... — Тут Пётр перебил себя: — Слышь, Валь, а ты куда собрался-то? В отпуск, что ли?

— В отпуске, Петя, я уж отбывал.

— А дома-то тебя сильно ждут? — заискивающе спросил Пётр.

— Нет, не сильно...

— Так поехали с нами! Помочь, Валя, надо братьям. Их там эти уроды бандеровцы со свету сжить хотят. У западнцев совсем мозги съехали... Ну, разве на Донбассе русские будут говорить по-хохлацки или за ихнего Бандеру тосты поднимать? Они ещё одуматься могут, если им по башке немного наступать, — говорил многословно Пётр, он будто торопился вылить на меня ушат своей информации. — Америкашки воду мутят. А хохлы перед ними выслужиться хотят: мол, мы кацапам покажем... А народ-то, простой народ боится. Вон, в Одессе сожгли заживо полсотни человек, и все заткнулись. Сдалась Одесса.

— Я знаю. Я был там, — сказал я мимоходом. А Пётр тем временем шпарил своё:

— Ежели бандеровцы залезут туда, в Донецк, на Луганщину или Харьков подомнут, нам тут тяжко придётся. Нельзя время упустить. Выручай, Валька! На месяцок съездим. Повоюем. Сам понимаешь, там позарез артиллеристы нужны. Наводчики, корректировщики... А ты ж профессиональный артиллерист. Отличник боевой подготовки, — он рассмеялся, а глазами сверлил мне глаза — и просил, и настаивал, и внушал... — Поехали, Валя! Денег не обещаем, но тут честь задела... Кормёжка, обмундирование — это как полагается. Да и ребята какие добрые. Казаки!.. У тебя размер какой? У меня новые берцы для тебя есть...

Я смотрел в глаза Петру. Возможно, он дуркует, прикидывается, и вовсе не верит, что я могу поехать, ведь так обычно не бывает, с бухты-барахты, но он не прикидывался, он, похоже, искренно верил, что меня ничто не может удержать, кроме разве что какие-то бытовые или семейные обязательства.

Я тихо рассмеялся, хлопнул Петра по плечу.

— Ты чего? — удивился он.

— Всё мне, Петь, казалось, что где-то ждёт меня моя судьба. Как бы сказать... Не просто судьба, а на самом деле какой-то важный выбор. Всё казалось, что это женщина будет. Появится



— и вся моя жизнь как-то иначе пойдёт... Я ведь ещё несколько дней назад так и думал. А теперь понимаю, что нет. Не женщина это... А это ты, Петя! Ты меня тут и подловил, дождался. — Мне сделалось даже весело — и от своих мыслей, и от той ситуации, в которой я оказался. — Виляла, Петя, виляла моя дорожка среди женщин, а выскочила на мужика с бородой... — Я рассмеялся. Пётр стоял в недоумённом ожидании, видно, пока не понимал, куда я гну.

Почему-то сейчас, именно сейчас, в это мгновение мне вспомнилась история про мужа Лили, которого я не знал лично, но знал, что он ликвидатор-чернобылец, который сам напросился на опасную работу. Не настолько же он был тогда молод, слеп и глуп, чтобы не понимать, куда едет? Ради чего же он рисковал своей жизнью и, возможно, жизнью потомства, ведь наверняка думал о будущей жене, о счастливых семейных днях, о детях, а шёл ворошить радиоактивный пепел на проклятой АЭС.

— У меня ведь, Петя, дед из казачьего племени. И родом он с Украины... — сказал я.

— Ну, вот и здорово! — подхватил Пётр; у него был такой вид, словно он поймал в пруду на крючок большую рыбину, но из пруда её пока не вытащил. — Если дома не очень-то ждут, так поехали!

Почему Пётр надавил «на дом»? Выходит, это было для казачков основным препятствием для поездки на Украину? И тут я поймал себя на мысли, что меня в родном Гурьянске никто не ждёт. Фактически никто не ждёт. Если я потеряю свой бизнес, его с радостью подхватят партнёры и конкуренты. Жены нет. Сын Толик — не глупый и сам выпутается. А дочка Рита давно самостоятельна и, можно сказать, пристроена к жениху-режиссёру. Я мельком, с наскака припомнил своих последних гурьяновских женщин, но ни на ком не смог остановиться (пока ещё самой близкой, избранной и не пережитой осталась Лиля). Все шашни с женщинами, их капризы, сцены ревности, собственные измены и та же ревность показали непростительной глупостью — ради этого никогда и переживать-то не стоит. Всё это вздор!

Вздором казалась и вечная погоня, рвачка за чем-то, за кем-то. Вскользь припомнилось, как переживал из-за денег, из-за неразделённой любви, из-за не сданных вовремя экзаменов в институте, из-за не введённых по договорам строй-объектов, из-за неувязок с богачами-заказчиками, для которых строил особняки; эти жирные коты ещё смели повышать на меня голос, твякать, а мне порой приходилось извиняться за то, что какому-нибудь чиновному жулику, прониры-депутату вовремя не выложили итальянской плиткой туалет... Даже стало дурно от этих воспоминаний. И стыдно за пережитое.



Тут я вспомнил мать и отца. Они будто бы молча смотрели на меня с надгробных фотографий. Без слов говорили: ты уже совсем-совсем взрослый, сам выбирай себе судьбу... Потом ещё жена Анна вспыхнула в сознании. Но она была уже не жена и не могла меня ни остановить, ни благословить.

Пётр Калинин, сдержанно улыбаясь, терпеливо ждал. И вдруг он испуганно покривился, настрополился весь. В моём кармане, в пиджаке, глухо запиликал телефон. Должно быть, Пётр услышал в нём угрозу: звонок словно бы мог всё сорвать. Я суматошливо полез в карман, надеясь, что это звонок от Лили. Я любил её, несмотря ни на что... Позови она меня сейчас к себе, я бросился бы к ней! Я всем своим существом хотел, жаждал увидеть на экране телефона имя Лили. Но на экране высветилось совсем другое. Там было имя «Полина». Откуда она? Что ей от меня нужно?

— Валентин, ты куда пропал? — говорила она нежно, ласково; наверняка с расчётом помириться.

— Я в отпуске...

— А когда приедешь?

— Пока не знаю.

— Я в прошлый раз погорячилась. Извини.

— Ничего, бывает.

— Ты, как приедешь, заходи...

— Зайду.

— Ну, пока. Я буду ждать.

— Пока.

Я спрятал телефон в карман, посмотрел на Петра. Лицо его мне показалось очень родным.

— Ну, что, Валя, поехали? — он произнёс это особым тоном. Я догадался, что он спрашивает в последний раз. Да и окружающие его уже ждали.

— Поехали, — негромко ответил я и подал ему свою руку. — Конечно, поехали!

В этот миг будто бы что-то взорвалось, грохнуло. Я даже глаза прищурил, словно вокруг всё окрасилось ярким алым цветом от неимоверного взрыва, в ушах стоял стон канонады, на зубах закрипела песчаная пыль, которая ополаскивала лицо на учениях в армии. И опять одним кадром, одним махом пронеслась пред глазами вся моя жизнь.

«Поехали!»

По дороге, сидя в кузове «Урала», я всё поглядывал в маленькое застеклённое оконце в тенте. Нет, не потому что впервые видел Ростов. Я хотел увидеть магазин «Канцтовары» или что-то в этом роде.

— Стой! — выкрикнул я, когда прочитал название «Товары для школьников».



— Ты чего? — испуганно вскинул брови Пётр, сидевший рядом.

— В магазин схожу. Надо купить альбом для рисования.

Казачи, что сидели рядом, недоумённо заулыбались, а Пётр понятиливо кивнул. Он знал, что я и в армии занимался «порисушками» — так я называл свои рисунки, сделанные на бумаге или картоне чёрной гелевой ручкой.

Когда я возвращался из магазина к машине, почему-то думал о Полине. Интересно, смогу ли я по памяти её нарисовать. Пожалуй, это и будет моим первым рисунком в альбоме. Ведь она позвонила мне перед самым отъездом.

Я забрался в кузов, Пётр добродушно сказал:

— Мы тут тебе позывной придумали. Без позывного нельзя. Конспирация такая... Не кличка, заметь, а позывной, по фамилиям и именам не надо.

— Какой?

— Пикассо! И художник, и звучно, и непонятно как-то. Вроде итальянец.

— Пикассо французом был.

— Не всё ли равно! — усмехнулся Пётр. — Ну, согласен?

— Как скажешь, начальник.

Альбом был такой хороший, такой манящий! Бумага плотная, чуть-чуть шероховатая, на такую чёрный гель кладётся красиво, чётко. Я радовался приобретению, как в детстве.



БЕЗ ТЕЛЕВИЗОРА

Войдя утром в свой кабинет, врач-психиатр Егоров увидел чёрную с золотой каймой по краям крыльев бабочку, энергично бьющуюся в прозрачный пластик закрытого окна. Кажется, она называлась «Мёртвая голова», но, может быть, Егоров ошибался, и она называлась как-нибудь иначе.

Залетела с улицы, или из коридора, когда приходила уборщица, подумал Егоров. Но уборщицы точно не было в его кабинете. На стеклянном столике возле кожаного дивана стояли две невымытые с вечера чашки, а в пластмассовом ведёрке у письменного стола белели клочки изорванной бумаги. Значит, кто-то заходил в кабинет, когда меня не было, предположил Егоров, или...- задрал голову, посмотрел на гофрированную вентиляционную вытяжку на потолке, она прилетела оттуда. Правда, непонятно было, как бабочке удалось при этом сохранить в целости крылья? Но в мире было много непонятного, и если всему искать объяснение, то можно сойти с ума. Бабочка, она сродни Духу Божьему, решил Егоров, летает, где хочет.

Даже сквозь вентиляционные решётки и закрытые окна, сохранив в целости и сохранности крылья.

Честно говоря, Егорову было плевать, что кто-то (возможно) посещал кабинет в его отсутствие. Ничего компрометирующего или секретного неведомый «кто-то» обнаружить не мог. Другое дело, что он мог подложить в укромное место нечто, что потом с победительной радостью обнаружат в нужный момент. Но и это было маловероятно. Егоров не выписывал рецепты на транквилизаторы и антидепрессанты, то есть на лекарства, попадающие под определение «наркосодержащие препараты». В частной клинике с политически выверенным названием «Наномед», он всего



**ЮРИЙ
КОЗЛОВ**

ПРОЗА





лишь консультировал пациентов по разного рода, в основном, психологического свойства, проблемам. Лекарства, если это было необходимо, им выписывали другие врачи после положенных в таких случаях исследований и анализов.

Клиника располагалась в переулке неподалёку от Садового кольца в здании бывшего детского сада с прихватом территории бывшей игровой площадки. Где раньше резвились детишки, теперь росли деревья и стояли скамейки. Ничего не напоминало о близости перегруженного машинами, как шея утопленника тяжёлыми цепями, Садового кольца. Память о некогда игравших во дворе детишках была погребена под бетонными дорожками, ухоженным газоном, клумбами и компактной автостоянкой перед клиникой.

Егорову нравилось работать в этом тихом, Богом (Егоров надеялся, что не только Богом) забытом месте. За психологической помощью в клинику, в основном, обращались состоятельные люди. Проблемы нищих российскую медицину не интересовали. Если нищие не могли решить их самостоятельно, им на помощь приходил ОМОН.

Проблемы богатых русских были, во-первых, не очень сложны, а, во-вторых, многие поколения психоаналитиков на Западе давно и изощрённо ответили на все вопросы, как богатых, так и внезапно разбогатевших людей. Даже не те, которые они не задавали, но могли задать. Егоров свободно читал на английском, а потому был со своими пациентами как рыба в их замутившейся от денег воде.

Но мысль о том, что могли что-то подложить, установить и подключить, не отступала. То, что незачем - не успокаивало. А просто так, на всякий случай. В России, мысленно дополнил великое изречение Черномырдина Егоров, много чего делают на всякий случай, а получается как всегда, или хуже.

Егоров, как и подавляющее большинство граждан России в первой трети двадцать первого века, не надеялся на лучшее и всегда был готов к худшему.

После суетливого и тревожного обольщения перестройкой, гласностью и демократией, Россия поверила в худшее и жила, крепко держась за эту веру, не слушая своих вождей, соревновавшихся в возведении телевизионных воздушных замков.

То вдруг выяснялось, что в стране не осталось бедных.

То неудержимо росло народонаселение, словно у баб открылось... второе дыхание.

То какой-то гениальный школьник из Тамбова, понаблюдав за ночным небом в театральный бинокль, засёк в созвездии Рака новую галактику, которую в упор не видели астрономы, нацелившие в небо из всех углов планеты километровые телескопы.



То наша женская сборная по крикету, впервые взяв в руки клюшки, или как там называются то, чем бьют по железным е шарам в этой игре, обыграла родоначальниц крикета - сборную Англии.

То есть, у страны были достижения, и только существовавший вне телевизионного экрана идиот, мог в этом сомневаться. Если в тёмные века Средневековья худшая – неуправляемая - часть народа обобщённо именовалась «не узревшим Бога скотом», то нынче её впору было называть «скотом, не узревшим телевизора».

Егоров был именно таким идиотом и скотом.

Он состоял в сетевом сообществе БТ – любителей болгарского табака, а если точнее, сигарет «БТ», которые продавались в советское время в белых пачках, стоили сорок копеек и были по социалистическим понятиям настолько хороши, что не нуждались в ином, помимо двух строгих чёрных на белом фоне букв «БТ», названии.

Члены сообщества обменивались воспоминаниями об этих восхитительных сигаретах, а также вели напряжённый сетевой поиск случайно сохранившихся с советских времён в загашниках пачек «БТ». В начале девяностых в СССР были введены талоны на сигареты, и многие некурящие люди исправно выбирали норму – два блока на члена семьи. Сигареты тогда служили чем-то вроде разменной монеты при главной валюте того времени - водке, которую тоже отпускали по талонам - с непременным возвратом бутылок. В народе это называлось поменять «плохие» на «хорошие». Спустя четверть века то там здесь всплывали из небытия (падали с антресолей, обнаруживались за банками с мукой или на полках за книгами) пачки и нетронутые блоки «БТ». Сигареты выкупались представителями сообщества - для этого был учреждён своеобразный «общак» - и распределялись между членами.

Когда же на сетевом горизонте сигарет не наблюдалось, понимающие люди задействовали бэтэшный общак на виртуальных фондовых торгах, добиваясь удивительных по нынешним временам результатов. Егоров, к примеру, по итогам года получил на свою долю в общаке двадцать процентов прибыли.

В социальную сеть БТ объединились люди образованные, профессионально состоявшиеся, преуспевшие в избранном деле. На форуме обсуждалось предложение одного бизнесмена возродить знаменитую марку. Бизнесмен провёл переговоры с болгарским правительством. Он утверждал, что для старта проекта потребуется всего два миллиона евро и был готов вложиться, не покушаясь на общак. Но тогда терялся смысл сообщества БТ.



«Мы ловим ускользящий дым не потому, что не можем бросить курить»;

«В один и тот же дым нельзя войти дважды» - такие мнения превалировали на форуме.

Но всё это, включая проект возрождения «БТ» и удачную игру на виртуальных фондовых торгах, было маскировочной сетью, надводной частью айсберга, призванной сбить со следа наблюдающие за Сетью структуры. У названия сообщества была ещё одна расшифровка – Без Телевизора. Бэтэшники были людьми, сознательно отказавшимися от созерцания ящика. Члены сообщества изощрялись в размышлениях о канувших в Лету болгарских сигаретах, прекрасно понимая, что властям вряд ли придётся по душе сам факт наличия в стране организационно оформленной группы товарищей, отвергающих, как первые христиане языческих богов, телевизор. Во времена Юлиана-отступника людям в Древнем Риме платили за посещение языческих (традиционных) храмов дабы отвратить их от христианства. У христиан же этот император повелел отнимать имущество и деньги, дабы облегчить их путь в Царство Небесное, куда, как говорилось в Евангелии, богатею было пробраться столь же проблематично, как верблюду сквозь игольное ушко. Юлиан советовал обобраным христианам уподобиться евангельским птицам небесным, которые ничего не имели, а были любимы Господом.

Руководство Древнего Рима взялось на христиан потому, что языческие боги многие века являлись по умолчанию посредниками между властью и подданными, то есть тем, чем в настоящее время был телевизор. Разрушение Римской империи началось с тихого и на первый взгляд немотивированного отказа отдельных граждан от посещения гладиаторских боёв. Огромный Колизей, где, помимо боёв, демонстрировались моды, обсуждались сплетни, велись ток-шоу, продавались и рекламировались произведения искусства, различные товары и лекарства, был античным аналогом телевизора. Причём современный телевизор проигрывал античному предшественнику, честно показывавшему то, что больше всего хотели видеть зрители - смерть в прямом эфире, а уже потом - секс, скандалы и спорт.

Егоров допускал, что Сеть БТ – не единственное объединение ТВ-отказников. Слишком уж многих в России телевидение, как говорится, «достало». Но в то же самое время он понимал, что современные отказники, в отличие от первых христиан, искали утешения не в новой, облагороженной известными заповедями реальности, а в переполненном порнографией Интернете, то есть на вселенской информационной свалке, оглашаемой дикими воплями сумасшедших. Могло ли там прорасти зерно истины? Нет, вздохнул Егоров, скорее те-



левидение сольётся с Интернетом, как Волга с Каспийским морем, Магомет взойдёт на гору, истина останется в вине, а власть пребудет вечно. Он кощунственно сомневался в правомерности библейской строчки: «Вначале было Слово». Он полагал, что вначале была Власть, а уже потом всё остальное. А может, зерну истины как раз и назначено было прорасти сквозь вселенскую телевизионную и сетевую мерзость, чтобы дальше уже ничего не бояться?

Но пока, вынужденно признавался себе Егоров, сообщество БТ – не архимедов рычаг, способный перевернуть мир, а всего лишь игра взрослых людей, уставших от телевизионной галиматши. Сеть БТ и прочие объединения ТВ-отказников в лучшем случае были чем-то вроде коллективного Иоанна Предтечи, которому, как некстати вспомнилось Егорову, библейские ребята отрезали голову, а потом куда-то её унесли на серебряном блюде.

«Каждый волен курить в отведённых для этого местах. Не лезь с дымящейся сигаретой туда, где курить запрещено, и тебя не тронут», - писал некто на форуме.

В переводе с бэтэшного это означало примерно следующее: «В России есть свобода частной жизни. Каждый на свой страх и риск может жить, как хочет, если не лезет в политику».

«И если не кашляет так, что в кармане звенит мелочишка», - уточнял другой бэтэшник, что следовало истолковать, как совет помалкивать о финансовых, да и прочих удачах.

«И если не даёт оснований встречному менту или прокурорскому думать, что в кармане скрывается пачка сигарет, не обязательно «БТ», - дополнял третий, полагавший, что политически стерилизованного бизнесмена легко может пустить по миру, а то и отправить на нары дяденька из правоохранительных органов, положивший взгляд на его бизнес или имущество.

Егоров вдруг задумался, доживёт ли он до времени, когда возникнет сетевое (антисетевое) сообщество БТК – Без Телевизора и Компьютера? Он не сомневался, что рано или поздно оно возникнет и, по всей вероятности, будет телепатическим. Егорову постоянно казалось, что окружающий воздух наполнен мыслями. Осталось только научиться их считывать с невидимых страниц и записывать поверх них свои мысли.

Любой член Сети БТ мог выставить на главной странице – она называлась Большая Тема – любой текст. Многие делали это в стихотворной форме.

Сегодня Егоров решил порадовать друзей гекзаметром:

По запаху дыма БТ, запретную мыслью воздушной

Мы будем общаться в отсутствии фабрик табачных и спичек.

Прикуривать будет сознание одно от сознания другого.



И следом – сообщение о бабочке:
Сквозь закрытые окна и двери
Дым БТ – дым Отечества горький
В виде бабочки в смокинг одетой
Влетел в мою жизнь,
Но тайны моей не узнал...

...Несколько лет назад в пациенты к Егорову определили худенького, сухого, как ящерица, дедка, в советские времена как выяснилось, известного диссидента, неустрашимого борца с коммунизмом, отмотавшего не один срок по лагерям, тюрьмам и ссылкам.

Вначале девяностых этот дед не слезал с телеэкрана, был объявлен «совестью нации», примером того, как надо в нечеловеческих советских условиях отстаивать человеческое достоинство. Потом он как-то странно выступил на правительственном приеме по случаю главного государственного праздника – Дня независимости России, куда его пригласили молодые реформаторы. Президент предоставил ему слово, а дед возьми да провозгласи тост «за тех, кто не здесь». «За Россию, которая там! – кивнул он в сторону выхода из зала. – В тоске и в нищете!» – и вышел под гробовое молчание присутствующих вон.

Потом ещё хуже – отказался получать орден за заслуги перед Отечеством.

Несколько лет его было не видно и не слышно.

Многие старики исчезают ещё при жизни, постепенно растворяются в ней перед тем, как окончательно выпасть в кладбищенский или пепельный (крематорский) осадок.

Усиленно размышляющему о дедке и – параллельно – о Сети БТ Егорову, Бог увиделся в образе курильщика несгораемой сигареты, с которой непрерывно падал этот самый пепел.

Дед, однако, вернулся в общественную жизнь, правда, радикально изменив свои прежние взгляды. Он даже как будто помолодел, что с недоумением отметили участники политического ток-шоу во время его единственного появления в прямом эфире ТВ. «Неразрешимые проблемы несчастной России не дают мне состариться, – ответил дед, – мой девиз: старость – это отложенная молодость!»

Он назвал российскую власть «коллективным ничто, отнимающим у народа жизнь», но и не пощадил народ, «продавший душу за деньги, которых ему никто не даст, то есть за то же самое ничто». А на вопрос, возможна ли в России революция, ответил, что страну ожидает череда революций, но только последняя из них будет настоящей.

«И что же будет с нами после последней настоящей революции?» – полубопытствовал ведущий.



«Со всеми разное, - ответил дед, - но вам, скорее всего, не повезёт».

«Вы нас расстреляете, как при Сталине?» - крикнул кто-то из зала.

«Любой болезни рано или поздно приходит конец, - задумчиво произнёс дед. - Смерть, конечно, гарантия излечения, но, когда терять нечего, больной готов использовать любой шанс. Лекарство будет страшнее болезни, но другого пути у России нет. Я бы назвал это умножением ничто на ничто в надежде получить хоть что-то».

«Ну да, на всё воля Божья», - хмыкнул ведущий.

«Бог знает, как лечить безволие», - сказал дед.

«Как?» - прицепился, как репей, ведущий.

«Безволие, - нехотя объяснил дед, - отдельного ли человечка, целого ли народа, как гнойная рана прижигается запретным, превосходящим всякую меру, злом».

«Круто берёте», - покачал головой ведущий.

«Зато потом народ, точнее та его часть, которая идёт за теми кто «круто берёт» побеждает в войне, выходит в космос и... так далее», - не стал открывать конечную цель победы в войне и выхода в космос дед.

«А кто не идёт?» - спросили из зала.

«В унитазах», - ответил дед.

«Куда в своё время слили СССР?» - нашёлся ведущий.

«Кто знает, сынок, что творится в канализационных и цивилизационных трубах, - пожал плечами дед, - иногда фекальные воды в них обращаются вспять».

«Ну да, дай мне отведасть от вод твоих», - растерянно произнёс ведущий.

Должно быть, это была какая-то цитата, случайно, быть может, даже против воли, слетевшая с его языка. Но все случайности в мире закономерны. В зале на мгновение установилась тишина, как если бы каждый задал себе вопрос – отведал ли он от этих вод?

«Библия трактует итоговую экологическую катастрофу, как следствие катастрофы нравственной, - заметил дед. - А нравственную катастрофу как следствие катастрофы социальной».

Естественно после таких разговоров деда перестали беспокоить приглашения на прямой, да и любой другой эфир.

Он взял лодку на запрещённые митинги - под рёв мегафонов: «Немедленно разойдитесь!», омовновское дубьё и автобусы с зарешеченными окнами. Там хватало всех, а его упорно не трогали, так что в оппозиционных кругах стали поговаривать, что ругает-то власть дед ругает, но вот всех бьют, сажают на пятнадцать суток, вызывают на профилактические бе-



седы, а то и просто хватают возле дома, а с деда как с гуся вода. С чего ему такой респект? Не засланный ли казачок?

Отчаявшись угодить под карающую руку власти, равно как и убедить демократическую общественность, что он не знает, почему его не трогают, дед переквалифицировался в протестанты-одиночки, завёл блог в Интернете, взяв эпиграфом строки:

*«Умру, но власть не полюблю,
А если полюблю – умру!».*

Хулиганская его активность сильно обеспокоила дочь, возглавлявшую до недавнего времени крупный частный банк, успешно слившийся со Сбербанком сразу после получения гигантской «антикризисной» - на погашение долгов - дотации от государства. Долги, как водится, погасил Сбербанк, исправно пополняемый трудовой народной копеечкой, а дотация частично вернулась к добрым людям, её организовавшим, частично разошлась на бонусы руководству двух объединяющихся банков.

Сейчас дочь старого хулигана служила начальницей департамента в крупной финансовой корпорации.

В середине девяностых, когда дед был в почёте и всюду вхож, она, как прочитал в Интернете Егоров, вернула себе девичью (его) фамилию, быстро поднялась по банковской лестнице. И сейчас, как она намекнула Егорову, ей совсем не хотелось, чтобы наверху обратили внимание (услышали по радио, прочитали в аналитических записках и так далее) её фамилию. Там не будут вникать, кто именно – она или её отец - рычит на власть. Фамилия была украинская – Буцыло – гулька, как пустая бутылка или высушенная тыква, несклоняемая и одинаковая для женского и мужского родов.

«У вас анархическая фамилия, - заметил Егоров деду, заполняя на него, как на пациента, формуляр в компьютере. - Буцыло – производное от бутылки и бациллы. Что убивает бактерию анархизма в России? Бутылка! Повальное пьянство народа».

Дед и впрямь был похож на длинную высушенную тыкву с седым хохолком на голове, как если бы тыкву до зимы оставили на грядке, и её макушку припорошил иней.

«А как твоя фамилия, сынок?» – поинтересовался дед. Руки у него не дрожали, взгляд был осмыслен и ясен. Егоров сделал вывод, что жизнь, хоть и превратила деда в высушенную тыкву, не наполнила её, как флягу, алкоголем.

Узнав, что фамилия врача, к которому его неизвестно зачем определили, Егоров, дед задумался.

«Змея разишь, - задумчиво произнёс он, - только вот какой змея, где он?»

«Везде, - ответил Егоров. – Он везде, здесь и сейчас».



«В тебе! – с непонятной уверенностью заявил дед, немало озадачив Егорова. – Змей, сынок, в тебе!»

«Во мне, - не стал спорить Егоров. – Нет на свете человека, внутри которого не было бы змея, которого он мечтал бы паразитить – змея лени, пьянства, жадности, равнодушия»...

«Да нет, сынок, - покачал белой головой тыквенник и он же трезвенник, - я о другом змее. Ты знаешь - о каком. Он уже сделал своё дело, и сейчас спит, свернувшись кольцами. А ты бережёшь его сон».

«В надежде, что он никогда не проснётся», - Егоров подумал, что неизвестно, привезли ли деда к нему – врачу, или дед – незванный врач – приехал к нему...

Зачем?

«Проснётся, - уверенно, как о деле решённом, заявил дед. – Обязательно проснётся».

«И победит анархию?» - усмехнулся Егоров.

«Её нельзя победить, - возразил дед. Зависть, бедность, злоба и глупость вечны. Анархию можно только временно возглавить».

Егорову было поручено привести деда в чувство, отвлечь от неуместной политической деятельности, ненавязчиво объяснить, что негоже поднимать хвост на власть, которая сделала его дочь богатой, да и ему, старому хрену, немало от этой власти перепадает.

Правда, выяснилось, что не сильно перепадает.

Нервно постукивая пальцами в бриллиантах по стеклянному столику, дочь рассказала Егорову, что положила на папин счёт определённую сумму, а он взял да перевёл все деньги в фонд помощи... - она понизила голос, - каким-то молодым экстремистам. Ну да, тем самым, в чёрных ботинках. Они ещё написали какие-то ругательства на кремлёвской стене, за что и получили по десять, что ли, лет.

Егоров смотрел на её гладкое без единой морщинки, откорректированное пластической хирургией, лицо и думал об изначальной несправедливости жизни. Почему одним – всё, а другим – ничего? Какая сила сделала эту бабу (в советское время администратора ресторанного зала) безразмерно-богатой, а миллионы других людей, многие из которых наверняка превосходили её умом и добродетелями, нищими?

Скальпель пластического хирурга откорректировал её лицо таким образом, что взгляд съезжал с него, как с ледяной горки или намазанной маслом плоскости. Ничего индивидуального, свидетельствующего о характере и темпераменте, не было в её лице, как нет ничего отличительного (помимо, естественно, номинала) в денежной купюре. Её лицо представилось Егорову дверью в загадочный, порочный и одновременно манящий мир денег. Егорову (каждый знает это про себя,



но не всегда себе в этом признаётся, надеется на чудо) не было входа в этот мир. Ледяная, смазанная маслом, бронированная, сейфовая, электронная и так далее дверь в силу неких надмирных (неужели божественных?) причин была для него закрыта.

Как и всякий униженный и оскорблённый, Егоров считал, что утвердившийся после СССР в России порядок, как Вавилонская башня, или Карфаген должен быть разрушен. Но пока что у него было достаточно денег, чтобы терпеть его. В этом заключалась крепость нового мира. Одним – всё, другим – ничего, третьим – чуть больше, чем ничего. Эти третьи как раз и не давали бронепоезду революции перейти с запасного на магистральный путь.

«Ему нужен собеседник, - сформулировала задание Егорову дочь, - точнее единомышленник, с которым он мог бы разговаривать на самые разные темы. Ещё точнее, товарищ. А если совсем точно – родственная душа. Вы начинайте, я всё увижу. Родственная душа оплачивается по высшему тарифу. Вы ведь, как я понимаю, - свойски подмигнула Егорову, - в деньгах особо не нуждаетесь, но деньги любите?»

«Без малейшей надежды на взаимность», - Егоров подумал, что есть что-то человеческое в дочери Буцыло. Во всём, что касалось денег, её ум остр, как скальпель пластического хирурга облагородившего её лицо. А так как всё в этом мире крутилось вокруг денег, дочь Буцыло, можно сказать, пребывала на вершине волшебной ледяной горы, куда чёрными тараканами ползли неудачники, готовые за деньги продать Родину и убить родную мать. Но не доползали. Даже если продавали и убивали. Большинство преступлений в мире совершалось из-за денег. Но преступления и деньги далеко не всегда являлись сообщающимися сосудами. Здесь действовали иные закономерности, точнее их отсутствие. Сидящая напротив Егорова дочь Буцыло была доказательством существования, но не разгадкой тайны.

Она любит отца, подумал Егоров, а потому нейтрализует его по «мягкому» амбулаторному варианту. Хотя может запросто запереть старика в психбольнице, откуда люди его возраста выходят исключительно «вперёд ногами».

«Может быть, вам повезёт, - оценивающе посмотрела на Егорову финансистка, - и вас ещё полюбит молодая доверчивая денежка. Иногда эти простушки обращают внимание на симпатичных зрелых мужчин, которым нечего терять, потому что они всё потеряли в момент появления на свет».

«Ну да, - вспомнил Габриэля Маркеса Егоров, - бедняки – это такие люди, что если бы дерьмо чего-нибудь стоило, они бы рождались без задниц».



«Если у нас получится, я вам помогу с пластической операцией, - посмотрев на часы, заторопилась миллиардерша. – Большую задницу не обещаю, - улыбнулась Егорову, - а так... чтобы штаны не сваливались - это вполне реально».

Договорились, что дед Буцыло будет привозить в клинику два раза в неделю.

Егоров решил отрачивать большую задницу, двигаться к высшему тарифу с освоения образа «собеседника».

«Ваша дочь платит мне деньги за то, чтобы я с вами общался, - сразу же заявил он деду. Егоров давно уяснил, что самый эффективный и безопасный способ общения с людьми – говорить им правду, точнее, почти всю правду. Когда Егоров видел перед собой достойного человека, а дед Буцыло, несомненно, таковым являлся, он, как правило, был с ним честен, или почти честен.

Почему «почти»?

У правды и честности, как у любого земного, пусть и виртуального, предмета, должна была быть тень. В отсутствии тени, правда и честность сами претендовали быть солнцем, а под таким солнцем человеческие отношения быстро сгорали, или испарялись, если в них было много (а с женщинами иначе не получалось) слёз. «Почти» было зонтиком, защищавшим Егорова и человека, с которым он общался, от проникающей радиации правды.

«Она хочет, чтобы вы перестали ругать власть, потому что у неё могут быть неприятности, - продолжил Егоров. - Я не энциклопедист, не философ, не оратор, не парадоксалист, вообще, не озабоченный политикой человек. Я вижу, что власть сживает со свету народ и губит России, но, честно говоря, мне плевать на власть, на народ и на Россию. Иногда мне кажется, что народу нравится, что власть сживает его со света, а Россия гибнет. Помните, как Швейк, оказавшись в лазарете, подбирал своих мучителей, лечивших все болезни обёртыванием в мокрые простыни и зверскими клизмами? Если вас устраивает такой собеседник, давайте общаться, если нет, я не обижусь. Всех денег не заработать, а чем заняться у меня есть».

«Не робей, сынок», - почти как Швейк подбодрил Егорова дед Буцыло, удобно расположившийся в мягком кожаном кресле, куда Егоров усаживал пациентов для долгих и, как правило, совершенно бессмысленных бесед.

Стандартные сценарии этих бесед для любых возрастных групп пациентов были разработаны американскими психоаналитиками – последователями доктора Фрейда - давным-давно, кажется, ещё в тридцатых годах прошлого века. Изучив их, Егоров понял, откуда растут ноги у ЕГЭ. Врач должен был предложить пациенту тест. Пациент должен был от-



ветить на тест клипом, произвольно, как чёрт из табакерки, выскочившим из сознания.

«Только не будем спешить, - предложил Егоров. - Иначе ваша дочь решит, что мы в сговоре».

«Деньги – всегда сговор, - заметил дед, - точнее, заговор. Они делают так, что богатые при всех обстоятельствах становятся богаче, а бедные – беднее. Деньги необходимы для того, чтобы сохранять и защищать существующую власть, - продолжил он, - но иногда внутри них что-то происходит, и они перетекают к тем, кто хочет эту власть свергнуть, уничтожить. Сейчас её деньги, - продолжил дед, - там, где власть, поэтому она беспокоится. Моя вина в том, что я не смог её убедить направить часть денег туда, где готовится свержение власти, то есть зреет новая власть и, следовательно, возможность сохранить и преумножить деньги. Недавно я ходил на двадцатилетний юбилей оппозиционной газеты, - задумчиво посмотрел на примостившуюся на краешке егоровского стола старинную деревянную фигурку дед. - Она в каждом своём номере бескомпромиссно сражается с властью, кричит народу горькую правду, предупреждает о грядущей беде»...

Резная фигурка изображала зайца в сюртуке со стоячим воротником, орденом на лацкане и выглядывающим из кармана стетоскопом, из чего можно было заключить, что заяц – доктор, причем не простой, а так сказать, элитный, то есть не обслуживающий всякую гольтьбу. Егоров ещё в советские времена приобрёл эту фигурку в антикварном магазине, усмотрев в сюртучном зайце некое сходство с собой. Он был, как заяц, труслив и осторожен, но при этом мысленно рядился в неподобающие ему, такие как дорогой чиновный сюртук, одежды. Не рвался к богатству, но каждый раз оказывался там, где неплохо платили. И ещё, быть может (но в этом он себе принципиально не признавался), мечтал получить орден от власти, которую глубоко презирал, но и уважал за то, что ей, власти, было плевать на это его презрение. Как, собственно, и на презрение прочих граждан. «Презрение – сила» - так по умолчанию можно было сформулировать девиз власти, охотно раздававшей ордена шоуменам и эстрадным юмористам и крайне неохотно – остальным презираемым.

«И что?» - Егоров подумал, что, пожалуй, надо убрать фигурку со стола.

Не видать ему ордена, как своих ушей.

Или не надо, засомневался, вспомнив, что совсем недавно прочитал в одном журнале, что заяц – храбрейшее и умнейшее существо среди всех обитателей российских лесов. Заяц и трусость, утверждал автор-новатор, понятия несовместные, как гений и злодейство. Он отсылал сомневающихся к размещенному на U-tube видеосюжету, снятому им зимним вечером в



глухом лесу - сверху вниз, не иначе, как с дерева. Окружённый волками заяц, рассчитано перепрыгнул через жоака стаи, причём, не просто перепрыгнул, а победительно разбил-разрезал ему лапами, как ножницами, нос и ещё успел на лету накатать на оскаленную в бессильной ярости волчью морду, то есть, по блатным лесным понятиям, по полной «опустил» волчару. И – без особой спешки - ушёл по насту, даже особо не оглядываясь на хрипящих, проваливающихся сквозь корку в снег по самые уши, волков.

«А ничего, - пожал плечами дед. – Двадцать лет газета разоблачает власть, а той хоть бы что. Двадцать лет слова летят в пустоту, но газету это устраивает».

«Это капитализм, - сказал Егоров. – Разоблачение власти – товар, который все эти двадцать лет покупается. Поэтому власть отгружает его газете, а газета им торгует». Или, подумал, но не сказал, газета – тот самый заяц, который отважно какает на нос волку.

Это было удивительно, но за годы работы врачом-психиатром Егоров не утратил интереса к человеку. Он по-прежнему считал, что нет на свете ничего интереснее человека. Каждый человек носил в себе странный, противоречивый, со своими особенностями, мир. Он какое-то время существовал, свинчивался и развинчивался с другими мирами, затем (вместе с человеком) навсегда исчезал. Оставался истаивающий, метеоритный след в воспоминаниях и снах немногих или многих, кто этого человека знал.

Память о великих людях была долгой и непрерывной, как неустанно пополняемая приливом песчаная коса.

О прочих, имя которым миллиарды – короткой, как время сгорания божественной спички, имя которой человеческая жизнь. Пока жили дети и – в лучшем случае – внуки.

Были миры сложные и интересные, как романы Диккенса или Толстого. Были простые и примитивные, как подписи под фотографиями в таблоидах. Были пустые и серые, как пролежавшие зиму в сугробе бутылки.

Егоров так и не приблизился к пониманию замысла Творца: к чему такое множество миров и почему они столь скоротечны во времени и пространстве? А может, замысел заключался в том, чтобы из разнонаправленного, дополняющего и уничтожающего друг друга множества, самостоятельно свинтилось то, что надо Творцу? Тогда миры были ищущими друг друга пазлами. Но с таким же успехом, подумал Егоров, можно видеть план будущего в... текущей из крана воде, Сети БТ, статьях оппозиционной газеты, рюмке водки, или речах деда Буцыло. В рюмке водки, мысленно усмехнулся Егоров, определённно, а бутылка водки – это, вообще, священная книга человечества, ответ на любой вопрос.



Каждый из микромиров был озабочен будущим - собственным и общим. С собственным всё было более или менее понятно. Но общий-то мир оставался. Близкие и родственники, утерев слёзы, залив за воротник водочки на поминках, разбрелись по домам, а не по гробам.

Конечного во времени человека мучительно беспокоил бесконечный во времени мир, продолжающийся в неверных шагах нетрезвого (после поминок?) гражданина на пустынной улице, ночном ветре, сгоняющем с крыш ворон, сиреновой луне, катящейся по небу, как монета по чёрному столу, обнажённом женском теле в освещённом окне на пятом, а может, седьмом этаже. В чём угодно, точнее во всём продолжался бесконечный мир, а потому конечный человек в своём стремлении переделать его иной раз заходил так далеко, что сильно сокращал собственный недолгий век.

Что такое революция, задал себе Егоров вопрос и сам же на него ответил: это извращённая тяга к бессмертию, точнее тоска по бессмертию. Она может быть кроткой и тихой, и тогда мир блаженно спит, а может – буйной, как приступ бешенства, и тогда мир меняется в одно мгновение. Приступ проходит, но мир, как капризный ребёнок, не торопится засыпать.

Что ему до будущего, до того, что будет после него, с удивлением смотрел на деда Буцыло Егоров, не всё ли ему равно, какая будет в России власть и у кого будут деньги?

Время от времени Егоров почитывал книги по социопсихологии, так называлась новая, составленная из двух могучих, выросших в землю и поросших мхом, монолитов – социологии и психологии – наука. Как иногда случается в жизни, у полноценных родителей родилась хилая дочь. Нечто скорпионье присутствовало в её свистящем имени. «Жид скорпионом бичует русскую землю», - ни к селу, ни к городу припомнилась Егорову странная метафора из стародавнего пастырского послания.

Заходя в книжные магазины, где было мало людей и много книг, он радовался, что вернулись раздражавшие вождя мирового пролетариата времена, когда «писатели пописывали, а читатели почитывали». Книжный магазин был раем для читающего человека, если, конечно, у читающего человека имелись деньги. Для читающего человека без денег книжный магазин был чистилищем, дорожной картой в обезличенную, цифровую проекцию рая – Интернет. «Нет денег, чтобы купить книгу? – вопрошала кованая реклама на воротах цифрового рая. – Качай бесплатно!»

У Егорова деньги были. Он мог себе позволить книгу.

В социопсихологических трудах утверждалось, что по мирам отдельных людей, точнее по объединённой силе их



стремления изменить существующий мир моделируется будущее страны и народа. Наверное, это было так. Но по миру банкирши моделировалось одно будущее, по миру деда Буцыло – другое, по миру самого Егорова – третье – сомнительное, если не сказать позорное, будущее зайца-орденоносца. А вот какая сила могла слить три этих разных будущих в одно, приемлемое для страны и народа, Егоров даже приблизительно не представлял.

В дыму моё сердце.

Я в мире ином.

Сквозь пепел экранов ползу тараканом

Объедки надежд запивая вином, - такое вдруг родилось у него четверостишие, которое он немедленно – ещё дымящееся – отправил в Сеть БТ.

Мир деда Буцыло представлялся Егорову архивом музейной коллекции. Но не мёртвым, а живым, как если бы тексты на картонных учётных карточках, как на дисплеях, менялись, дополнялись, уточнялись, одним словом, пребывали в состоянии вечного поиска истины. А истина, как было мудро отмечено в лучшем сериале всех времён и народов «Секретные материалы», всегда «не здесь», а «где-то рядом». А иногда, как понял Егоров, очень даже не рядом.

Скелеты в живом музее деда Буцыло обрастали плотью. Засушенные стрекозы выпархивали, шурша крыльями, из стеклянных коробок, птицы, прежде считавшиеся райскими, превращались в гарпий, а прежние зловонные стервятники представляли если и не мирными домашними гусями, то вынужденными ликвидаторами запредельной падали.

Дед Буцыло однажды рассказал Егорову про русского белогвардейца, докручивавшего свою «двадцатку» в соседней избе на поселении в Красноярском крае. Он воевал с большевиками в гражданскую, был штабс-капитаном у Врангеля, эвакуировался вместе с армией в Константинополь, мыкался по Европе. Арестовали в сорок пятом в Белграде, посадили, как власовца.

«Ему много раз предлагали освободиться, подать заявление на пересмотр дела, - вспоминал дед Буцыло. – При мне к нему пришёл следователь с постановлением. Из югославского архива прислали документы, подтверждающие, что он не служил у Власова, а наоборот, партизанил у Тито. Но он всё равно отказался. У него не осталось родных. Некуда было ехать. Но он отказался по другой причине».

«Этих двух причин более чем достаточно», - заметил Егоров, которому, в принципе, после гипотетической отсидки (от суммы да от тюрьмы не зарекайся) тоже было бы некуда и не кому ехать.



«Следователь его спросил, - продолжил дед Буцыло, - неужели вам не противно жить с клеймом власовца, изменника Родины? Не нравится СССР, возвращайтесь в Белград, Тито назначит вам пенсию. А он ответил, что при жизни для него Родина превыше любого клейма, хотя и не превыше пенсии. А после смерти – всё равно, потому что Бог смотрит сквозь любое клеймо. Сам... был с клеймом. Как это, не понял следователь. Белогвардеец вздохнул, а потом сказал: ты меня обязательно поймёшь. Но не сейчас, а когда сам будешь ходить с клеймом. Каким ещё клеймом, удивился следователь. Партократа и коммунистического отребья, ответил белогвардеец. Где же я буду ходить с таким клеймом, удивился следователь. На Родине, где же ещё, сказал эмигрант. Тогда-то вы и поймёте, что пенсия превыше Родины, а Бог превыше клейма, потому что доподлинно знает, какие навешивают люди клейма тем, кто хочет их спасти. Следователь убрал документы и ушёл, помахивая папочкой. Наверное, решил, что старикан раздружился с головой. А в девяносто первом, после ГКЧП, его действительно таскали в прокуратуру за дела, которые он вёл против власовцев и прибалтийских эсэсовцев. И тогдашний заместитель генпрокурора на всю страну по телевизору обозвал его партийным прихвостнем и коммунистическим отребьем, Я бы его самолично, сказал он, если бы это было возможно, лишил персональной пенсии.

«И ведь лишил, - вспомнил давний скандал Егоров, - а тот, кажется, ушёл в монастырь, стал старцем».

«Отцом Драконом, - кивнул дед Буцыло, - странное какое-то имя во Христе он себе выбрал».

«Как клеймо наложил, - согласился Егоров, вспомнив этого самого отца Дракония, страстно проклинающего российскую власть, спустившуюся на страну, по его мнению, не от Бога, как положено истинной власти, а выползшую на четвереньках из огненных пропастей ада. За такие речи патриарх лишил отца Дракония сана, а коммунисты провели по своему списку в Думу, где отец Драконий мрачно восседал в тёмных, как скорбь, одеждах. - Но эмигрант ведь до этих времён не дожидил?»

«Мог дотянуть, - пожал плечами дед Буцыло. - Крепкий был мужик. Каждое утро делал зарядку, обливался ледяной водой»...

«И как в воду смотрел, - вздохнул Егоров. И зачем-то добавил: - В ледяную воду... истории».

«Будущей истории, - уточнил дед Буцыло. - Удивительно, - продолжил он неожиданный крещенский заплыв из прошлого в будущее, - мне тогда казалось, что Советский Союз вечен, а этот старикан с белой бородой и железными зубами уже как будто знал про конец. Помню, зимой мы с ним ловили на озере



рыбу, а рядом - там было огромное поле - приземлился вертолёт. Вылезли мужики в чёрных кожаных пальто. Начальство будущего металлургического комбината. Походили, посмотрели. Один даже к нам подошёл, поинтересовался, как рыба ловится, спросил, сколько расконвоированных душ на поселении. Узнал белогвардейца, они в одной камере в Крестах сидели в пятьдесят первом, угостил коньяком из фляжки. Начальник тогда по ленинградскому делу проходил. Ну вот, говорю, господин штабс-капитан, когда они улетели, у вас есть шанс стать героем труда, победителем соцсоревнования. А он отвечает, соцсоревнование уже проиграно, интересно, какая мразь приберёт этот комбинат? Я молодой был, горячий, кричал на суде: «Смерть кремлёвским бандитам!», за это мне ещё два года накинули. Думаю, точно старик спятил. Ясно ведь, кто приберёт. Коммунистическая партия и советский народ! То есть, никто! А он, оказывается, вон как далеко смотрел. Показывали вчера по ящику этого... который прихватил наш комбинат. Конченная мразь! Он бы на зоне у параша дежурил, а президент его вчера орденом наградил... За заслуги перед Отечеством, что ли, какой-то степени»...

«Был ещё такой... Амальрик, кажется, - с трудом припомнил Егоров, - книгу написал: «Просуществует ли СССР до 1984 года?» Все думали, что это за идиот, где он ходит, а он тоже... в воду смотрел. Что это за вода? - искренне возмущился Егоров. - Одни сквозь неё всё видят, а другие ничего!»

«И ещё одну вещь он мне сказал, - словно не расслышал Егорова дед Буцыло, - которую я тогда не понял. Что в истории нет побеждённых, а есть только победители. Правда, одни получают всё и сразу, так сказать, пируют на костях побеждённых, а другие, на чьих костях они пируют, получают вместе со смертью, или переломами, если посчастливилось выжить, победу, так сказать, отсроченную во времени и пространстве. Ты, сказал мне этот старикан, до своей победы точно доживёшь и даже без больших повреждений. А вы, спросил я. Мы тоже выиграем гражданскую, ответил он, и генерал Власов дождётся своей победы на том свете, и даже эти ребята, которых матрос Железняк разогнал, как тараканов, в восемнадцатом году, тоже там... в ледяной воде... дождутся Учредительного Собрания. Только все эти отсроченные победы радости не принесут. Как мёртвые из могилы встанут. Что за радость? А ещё он сказал, что мразь, которая присвоит наш комбинат и все другие, которые эски при Сталине проектировали и строили, никакой нам компенсации не даст. И спросил: нужна нам с тобой такая победа?»

«И что вы ему ответили?» - поинтересовался Егоров.

«До сих пор стыдно, - вздохнул дед Буцыло, - но я ответил, что за свободу слова и мысли отдам все комбинаты, а также



космические корабли, ядерные бомбы и химическое оружие. Дурак был, - вздохнул дед, - но я, сынок, сейчас не об этом думаю».

«О чём же?» - поинтересовался Егоров.

«О твоей победе, сынок».

«Моей?» - изумился Егоров.

«Человек не может жить без победы», - сказал дед Буцыло.

«Но не всегда может переложить её, как мелодию, на складные, понятные хотя бы ему самому, слова, - возразил Егоров. - Это Ленин был в словах, как рыба в чешуе, а моя победа ещё не вылупилась... из икры. Сумбур вместо музыки. Мычание вместо песни».

«Поторопись, сынок, - встал из кресла дед Буцыло. - А ну как твоя победа - ключ ко всему?»

«До свидания, - тоже поднялся Егоров. - Продолжим в пятницу».

Ему не нравилось, когда его грузили пусть даже виртуальной, как в данном случае, ответственностью.

Моя победа - заячий орден, грустно подумал Егоров, неужели в России проиграны - как в плане игры, так и проигрыша - все возможные варианты, и Господь готов поставить на случайный, изначально невыигрышный - мой - номер? Только как определить мой номер, если я всю жизнь за версту обходил казино?

Нет, вздохнул Егоров, отследив в окно, как охранного обличья водитель усаживает деда в длинную чёрную машину, этим ключом ничего не откроешь.

У Егорова был собственный - неправильный, на что, впрочем, ему было плевать - взгляд на историю России. Он полагал, что в России всегда правили люди, которые чего-то сильно хотели. Захотели порядка - призвали Рюрика. Пришлась по сердцу монгольская простота? Несколькими столетиями терпели иго, закладывали друг друга, тянулись в Орду за ярлыками на княжение. Устали от Смуты? Триста с лишним лет сидели Романовы. Надоело? Получили революцию и военный коммунизм. Решили поквитаться со старыми большевиками - врагами народа? Начался террор. Не захотели в немецкие концлагеря? Разнесли в щепки гитлеровский рейх. Захотели бесплатного образования и социальной справедливости? Построили «развитой» социализм, правда, без хорошего пива и без туалетной бумаги. Захотели джинсов и кока-колы? Развалили СССР, получили капитализм с джинсами и кока-колой, но без детских садов, больниц и пенсий. Ну а сейчас Россией правили люди, которые не хотели ничего, кроме денег - любой ценой, даже ценой развала уже не СССР, а его остатков - Российской Федерации, так называлось это государство.



Похоже, Господь вослед отлучённому от сана отцу Драконю, посчитал сложившуюся ситуацию нетерпимой и – за неимением в России людей, которые сильно хотели чего-то иного, помимо денег, вознамерился отдать страну людям, которые не хотели ничего, как Егоров, или не знали, чего хотели. Во всяком случае, не одних только денег. Пожалуй, это была единственная (невостребованная) часть общества, которая ещё ни разу не управляла страной.

Зайцы-орденоносцы, вперёд!

Боже мой, отошёл от окна Егоров, какая чушь лезет в голову!

*На зайца без ордена и без копейки
Господь возлагает задачу римейка
Ворующей власти, преступников- мэров
В свинцовую пачку БТ, БТэров.*

Определённо, в его сознании произошли некие изменения: он, как разгорячённый маньяк, бросался в прохладную воду Сети БТ, и как маньяк окоченевший бросался туда же, но - уже в воду согретую. Ему стало казаться с некоторых пор, что вода (она же дым) Сети БТ первична, в то время как его сознание вторично. Сознанию было назначено скользить над водой, как утреннему туману. Теперь Егоров знал, что имели в виду музыканты группы «Deep purple» - авторы бессмертной песни «Smoke on the water», понимал, почему их каждый год принимал президент России. А вдруг и он там... в БТ? – посетила Егорова совершенно безумная мысль.

Сеть БТ была подобно плаценте в материнской утробе, куда Егоров – давно не младенец – раз за разом возвращался вопреки закону природы. Он был готов растворить своё сознание вместе с просроченными мечтами и отсроченными победами в исцеляющей его боли плаценте, то есть, в сущности, смоделировать новый закон обществоведения – перехода индивидуального бессознательного в коллективное сознательное, которое, как ему только что открылось, должно управлять страной.

Егоров подумал, что если ему выпал выигрышный номер, он будет моделировать будущее по Сети БТ.

Он не сомневался, что знает, как спасти страну и что нужно народу. Единственно, смущало, что существительные в этом предложении легко менялись местами: «...спасти народ и что нужно стране». Политическая наука утверждала, что подобная взаимозаменяемость – свидетельство ложности тезиса. Но Егорову было плевать. В политике все тезисы изначально ложные. Так что речь шла всего лишь о стилистическом оформлении лжи, которым можно было пренебречь.



Егоров отправил вдогонку деду Буцыло e-mail, где сообщил пароль для разового входа в Сеть БТ, проинформировал деда, что выступает его поручителем перед Советом Сети.

Через пару недель дочь-финансистка сказала Егорову, что он гений, одарила его пухлым конвертом.

На сей раз она была без бриллиантов и, похоже, приехала на метро и одна. Одета миллиардерша была вызывающе просто. Русоволосая, гибкая, определённо похудевшая со времени их последней встречи, она напоминала типичную городскую женщину из народа – ту самую, работающую на нескольких работах, тянущую семейную лямку, из последних сил удерживающую от перемещения в антимир – депрессию, запой, блядство, оформление кредита под залог квартиры и так далее – неудачника-мужа. В синих глазах миллиардерши вспыхивали и гасли искорки. Егоров вспомнил, что доктор Фрейд считал яркие с искрами глаза признаком двойственности натуры, даже раздвоенности личности.

Но эта дама не была его пациенткой, поэтому Егорова мало волновала гипотетическая двойственность её натуры. Хотя, впрочем, подумал он, как бы ей без этого удалось заработать столько деньжищ? Егоров давно смирился с тем, что любая психологическая коллизия заканчивается тупиком. Да, сегодня дочь Буцыло напоминала женщин, которые одни только и не давали России окончательно пропасть. Но с другой стороны она отнимала у этих самых женщин жизнь, присваивала себе средства, которые должны были идти на детские сады, школы, поликлиники и прочее, что государство должно давать женщинам, рожаящим и воспитывающим детей.

Егоров сказал дочери Буцыло, что хотя революционный настрой её отца в данный момент сместился в эстетическую плоскость, обольщаться не следует. Революция прячется в искусстве, как дьявол в деталях. Ленин пронципательно назвал Толстого «зеркалом русской революции». А дьявол, зачем-то добавил Егоров, прячется в зеркале.

«Вот как? – одарила его синим искрящимся, как осыпала сапфирами или ослепила лазером, взглядом изображающая из себя рядовую труженицу богатейка. – А я думала, дьявол прячется в добавленной стоимости на все без исключения товары и услуги, которая идёт на содержание чиновничьего аппарата».

Егоров, как психиатр отметил, что, выбирая себе роль, она перестраивает под неё сознание, то есть играет с чувством.

«Зарплаты в России сейчас, – продолжила дочь Буцыло с необъяснимым для миллиардерши, но естественным для женщины из народа пафосом, – значительно ниже, чем во многих странах, а цены – неизмеримо выше. В этих ножницах он и прячется. И ими же незаметно перерезает нить, на кото-



рой висит власть. Но смена власти, - покачала головой, - это, к сожалению, не изгнание дьявола. Мой отец, - посмотрела на часы, - лет пятьдесят назад опубликовал то ли в «Гранях», то ли в «Континенте» статью под названием «Дьявол и революция». Он не любит о ней вспоминать, считает устаревшей, а по мне так она весьма актуальна».

«Кто главный революционер? – Егоров статью не читал и задал вопрос по наитию: - Христос или дьявол?»

«Два финансовых гаранта внутри одного проекта, - ответила миллиардерша. – Кредит берётся при жизни у одного, чтобы сделать счастливой жизнь других, на очень выгодных условиях. Но не получается. Возвращать неподъёмную из-за набравших процентов сумму приходится после смерти на Страшном Суде».

«Как же он распоряжается столь значительным капиталом?» - полюбопытствовал Егоров.

«Закапывает в землю, - ответила финансистка, - сжигает в огне, топит в воде, развеивает по ветру».

«Потому-то у нас... у многих из нас ничего нет», - вздохнул Егоров.

«Кроме счастья, - неожиданно подмигнула ему дочь Буцыло, - или свободы от счастья, что, в принципе, одно и то же».

Уже не рядовую труженицу изображала она из себя, а искушённую политологическую даму, заматеревшую в публичных диспутах о судьбе России. Это было уже не раздвоение, а расстроение личности. Электрон, вдруг вспомнил Егоров строчки Ленина, написанные задолго до создания ядерного реактора, столь же неисчерпаем, как и атом.

И на этом, подумал Егоров, процесс деления отнюдь не останавливался.

Он хотел продолжить беседу, спросить, не идёт ли речь о некоем сговоре сторон с целью извлечения максимальной прибыли, но миллиардерша заявила, что опаздывает на фитнес. Егоров понял, что мнимая её простота, как революция в искусстве, а дьявол - в зеркале, в хищно щёлкающих ножницах и в добавленной стоимости, прячется в... практичности. В сауне, в бассейне бриллианты только мешают.

Дед Буцыло к этому времени совершенно освоился в Сети БТ. Некоторые его вирши даже поднимались в «топы», то есть в десятку лучших.

*Не тухнет вяленая рыба
В дыму идей
Среди людей.
Они как дым.
Стыд им.*



Честно говоря, Егорову эти строчки не понравились. Он проголосовал «против». Гораздо больше ему понравился другой стишок деда:

Река повинования втекает в ад.

Никто не рад.

Дымится жизнь, как спица

В пряже лжи

Лежи.

Или лови рукой синицу,

Но нет синиц в реке – одни ужи.

Ножи.

...Егоров извлёк из конверта деньги, предложил деду разделить их, при условии, что тот не отправит свою долю лимонцам, но дед отказался. В пансионате он живёт на всём готовом, наличие лишних денег там не облегчает, а осложняет жизнь.

Ему нравились молодые нацболы, но не нравился их вождь. Дед заметил, что тот сильно смахивает на старого козла.

«Любой человек в старости смахивает на какое-нибудь животное, - заметил Егоров, невольно скосив глаза на зеркало, висевшее напротив его кресла. – Хотя животные доживают до старости гораздо реже людей. Чем плох старый козёл, или... заяц?» - Беседуя с пациентами, Егоров следил за выражением собственного лица. Искренность заканчивалась там, где начинался скука, а ему не всегда удавалось её скрывать.

Но с дедом Буцыло Егоров не скучал, скорее уставал. Чтобы догнать мысль умного человека, а дед был умным человеком, надо было бежать. Егоров иногда не возражал пробежаться, но жить на бегу не желал.

«Про зайца ничего не скажу, - внимательно посмотрел на Егорова дед, - а вот молодящийся революционный козёл - весьма опасная разновидность социально активной личности. Все деятели с подобной внешностью – Троцкий, Радек, Бухарин и прочие плохо заканчивали. Гнались за невозможным, проливали невинную кровь, подводили под гильотину соратников, а Яков Михайлович Свердлов, так ещё и набил сейф краденым золотом и бриллиантами».

«Зато Сталин не был похож на козла», - сказал Егоров.

«Правильно, - согласился дед, - потому что козлы - всегда хулиганы и оппозиционеры. Иногда они вплотную подкрадываются к власти, как к бурту с капустой, но им всякий раз дают по рогам».

А вообще, заметил дед, тема «козлоподобия» политических деятелей, представителей культуры, философии, науки ещё ждёт своего исследователя.



«Николай Бердяев, - продолжил он, - типичный пример философского козла в... хорошем смысле слова. Или вот вчера по телевизору выступал журналист... Не помню фамилию, он всё время пишет какие-то письма президентам, ну чистый козёл! Странно, - добавил дед, - почему они не маскируют, а, напротив, подчёркивают свою схожесть с этим животным? Они... хоть иногда смотрятся в зеркало?»

«Наверное, потому что считают козлами всех нас», - ответил, убирая конверт в ящик стола Егоров.

Дед Буцыло, кстати, тоже напоминал козла. Не злого (как Троцкий), не корыстолюбивого (как Свердлов), не дураковатого (как Бухарин), не молодящегося (как Лимонов), а задумчивого такого козла, вдруг осознавшего во всей непреложности собственную сущность и устыдившегося её. Дед - БТ-козёл, решил Егоров, а я... БТ-заяц... без ордена.

«У меня в советские времена получилась смешная история с этими долларами, - без печали проводил взглядом убираемый Егоровым в ящик стола конверт дед Буцыло. - Я знал, что перед Олимпиадой в восьмидесятом меня обязательно прихватят, а потому ничего дома не держал, даже советские издания Пастернака и Ахматовой подарил районной библиотеке. Пришли. Всё перерыли. Ничего. И вдруг один с берёт с полки журнал, как сейчас помню «Огонёк» с рожей Шелеста, как с жопой, во всю обложку, открывает и показывает мне доллары. Нашёл! А я у себя доллары никогда не хранил, сразу отдавал дочери, у неё подруга работала в «Берёзке», она и отоваривала. Пересчитывает в присутствии понятых, объявляет: тридцать девять долларов! Те расписываются в протоколе. Почему именно тридцать девять? А с этой суммы, только для советского правосудия надо было обязательно пересчитать по курсу в рублях, начиналась статья «незаконное хранение валюты». Им всегда ровно столько под отчёт выдавали. До тридцати девяти, если первый раз, и не ловят на улице, а находят при обыске - строгое предупреждение, добровольная сдача, приглашение к сотрудничеству и так далее. Ребятки уже готовятся меня, как сейчас говорят, «паковать», а я вдруг вспоминаю, что на прошлой неделе Государственный банк повысил курс рубля. В те годы один армянин, его в перестройку убили, издавал на папиросной бумаге бюллетень «Моя борьба с беспорядком», распространял его по проверенным людям. Там был специальный раздел про разные юридические зацепки, которые могут помочь при задержании, в том числе и про меняющийся курс рубля. Всегда почему-то в сортире этот мониторинг просматривал, - задумчиво добавил дед, - очень удобно было и... гигиенично. Тычу в «Известия», где в столбике курсы валют, кричу, что проклятый доллар уже не шестьдесят семь, а пятьдесят девять копеек, окреп советский рубль,



предлагаю пересчитать по новому курсу. Получается тридцать шесть с хвостиком! И ещё одно новшество тогда ввели – временно отменили обязательный обмен валюты. Разные же люди приедут на Олимпиаду, у кого-то советский заграничный паспорт, у кого-то двойное гражданство, африканцы, индусы, в общем, сложно разобраться, кому сколько долларов положено иметь. Вот так я в тот раз не только остался на свободе, а ещё и разбогател от щедрот КГБ на тридцать шесть долларов. Постеснялись при понятых забрать. Наверное, потом у старшего из зарплаты вычли»...

«Сейчас бы не ушли, - заметил Егоров, - по любому замели бы. Зато потом можно было бы откупиться».

«Не факт, - возразил дед. – Я знаю, как работает их система. Если с самого верха спускается команда посадить – посадят. Некоторые, назовём их отдаваемыми от имени и в интересах государства, приказы исполняются, потому что иначе нарушится циркуляция денег внутри вертикали, и она пересохнет, рассыплется. Они это понимают. Но перед тем как посадить, конечно, обдерут как липку».

Дед Буцыло признался Егорову, что всю жизнь ненавидел Сталина, а сейчас...

«Неужели полюбили?» - спросил Егоров.

«Да нет, - покачал головой дед, - мне его... жалко».

«Вот те раз, - опешил Егоров, - он же палач, уничтожил миллионы людей!»

«А кто из них не уничтожил? – видимо, имея в виду прочих властителей разных стран и народов, поинтересовался дед Буцыло. – Сталин, как загнанный волк, угодил в яму, из которой не выбраться. Марксизм – говно! Он имеет определённую ценность только как экономическое учение. Сталин это понял под конец жизни, но было поздно. В России может быть только так: или тиран, которого большинство любит, меньшинство тайно ненавидит, но все боятся, а потому работают, делают своё дело, или всё разваливается к чертям собачьим. Сталин из всех правителей России в двадцатом веке был единственным её модернизатором. Дело в том, - продолжил дед, - что диктатор, олицетворяющий для своих подданных не только смерть, но и жизнь, а иногда смерть после жизни, как Сталин для многих военачальников и учёных, всегда стремится к модернизации, потому что иначе он просто не выживет. Он может управлять страной, приносить жертвы только ради и во имя непрерывной модернизации, оформляемой в разного рода компании, чистки, борьбу с уклонами и так далее. Долго, естественно, в таком режиме существовать невозможно, но именно в такие периоды государство, выталкивая народ из тёплого тупого созерцания на ледяные стройки новых реальностей, создаёт запас прочности, позволяющей ему



продержаться некоторое время после смерти диктатора. Или – до новой железной руки, или – до окончательного развала, то есть негатива модернизации. Так называемое коллективное, демократическое, законно избранное, одним словом, обезличенное руководство всегда стремится к тёплому тупому, столь милому народу, застою. Все их декларируемые новации – всего лишь маневры по сохранению себя во власти. Сталин создал всё, что они до сих пор не могут разворовать. Даже тот металлургический завод в Красноярском крае должны были начать строить в пятьдесят третьем, но Сталин помер, и всё задержалось на десять лет. А кто создал ядерный щит, остатки которого до сих пор позволяют нашим воришкам разговаривать с правителями других стран на равных? Берия. Хотя, конечно, - добавил задумчиво дед Буцыло, - сегодня пресловутый ядерный с кнопкой чемоданчик – это фикция».

«Почему?» - поинтересовался Егоров.

«Потому что сейчас во власти нет того, кто нажмёт на эту самую кнопку, - объяснил дед. – Как ты пошлешь ракету туда, где твои дети, имущество и деньги?»

«И всё равно, я бы не хотел жить при Сталине», - честно признался Егоров.

«Это ты, нынешний, не хочешь жить при Сталине, - возразил дед Буцыло, - а если бы ты вырос и жил при Сталине, захотелось бы тебе жить в современной России?»

«Смотря как», - заметил Егоров.

«Даже если бы ты сидел при Сталине в лагере, - сказал дед, - променял бы участь зэка на участь бомжа?»

«Почему обязательно бомжа?» - слегка обиделся на предлагаемый вариант Егоров.

«Число бомжей в России сегодня превосходит число заключённых при Сталине», - сказал дед.

«И что из всего этого следует?» - полез в шкаф за рюмками и коньяком Егоров, радуясь, что он не зэк при Сталине и не бомж в современной России, а главное, может позволить себе в рабочее время рюмку доброго французского коньяка. Наверное, это, посмотрел на литую, похожую на тёмный матовый снаряд бутылку «Martell», и есть тёплый тупой застой, скрашиваемый бессмысленным самосозерцанием. Мы – нефтегазовое ничто, могущее позволить себе немецкую машину и французский коньяк. Это примиряет нас с тем, что мы ничто. И ещё Егоров подумал, что шанс, учитывая определённые особенности современной российской экономики, превратиться в зэка всегда оставался при советском человеке сталинской эпохи.

«А если... бомжом при Сталине?» - разлил по рюмкам коньяк Егоров.



«Это всё равно, что сейчас – несгибаемым сталинистом, - рассмеялся дед Буцыло. – Убить не убьют, но в приличное общество не пустят».

«Чтобы нам с вами не сидеть в тюрьме и не бродить с сумой!» - поднял рюмку Егоров.

«Отказываешься от сумы и тюрьмы?» - неодобрительно покачал головой дед Буцыло. Он всласть посидел в тюрьме, походил в диссидентские времена с сумой по добрым людям, а потому ведал глубинный смысл русской поговорки.

«Скажем так, стараюсь воздержаться, - пояснил Егоров, - но, - звонко чокнулся с дедом, - не зарекаюсь!»

«В советские времена я твёрдо знал, что Сталин – злодей, - сказал дед, - ненавидел его всей душой. Сейчас прежней ненависти во мне нет, потому что к тому моему знанию добавилось другое. Получается, что знание знанию рознь? Или одно знание поглощает другое, как более серьёзная статья в УК менее серьёзную?»

«Знание – сила, - вспомнил Егоров название некогда популярного научного журнала, - и большая печаль, если верить Библии».

«Не сила, а забор», - покачал головой дед Буцыло.

«Забор?» - Егоров удивился, что дед так быстро захмелел.

«Ну да, забор, за который не хочется заглядывать, - пояснил дед. – Вроде как огораживаешь им свой кусочек мира, а что там за забором знать не хочешь!»

«А... что там?» - поинтересовался Егоров.

«Полагаю, что там истина», - ответил дед.

«Очередная или окончательная?» - уточнил Егоров.

«Окончательную истину знает только Господь Бог, - строго посмотрел сначала на Егорова, а потом на бутылку дед Буцыло. - Сейчас я столько знаю про Сталина, что не знаю, какой он был, а потому не берусь его судить. Да, собственно, какое это имеет значение? Мне скоро будет девяносто. Хотя нет, в моём возрасте подобная категоричность неуместна. Скажем так, возможно, скоро мне исполнится девяносто... Бессюжетность, - вдруг упавшим голосом произнёс дед. – Знаешь, о чём я думаю? Не о том, что скоро умру. Меня дико огорчает отсутствие сюжета. Из моей жизни, как из плохого романа, ушёл сюжет. Роман продолжается, а сюжета нет. Что такое настоящий сюжет? – спросил дед и сам же ответил: - Это прорыв в будущее поверх отработанного, как ступень космической ракеты, настоящего».

«А как же...» - Егоров смолк на полуслове.

«Смерть? – без труда догадался дед Буцыло. – Когда остаёшься один, то есть переживаешь всех, кого знал, когда вокруг сплошные кресты, тайной начинает казаться то, что она



так долго не приходит. Неужели есть что-то такое, что Господь не успел мне объяснить за девяносто лет моей жизни?»

В словах деда Буцыло угадывался какой-то смутный смысл, как, собственно, в любых произнесённых человеком словах. Егоров вспомнил Гёте, страстно влюбившегося в восемьдесят лет в юную девушку, побежавшего за ней, упавшего, сломавшего ногу и - вскоре скончавшегося. Льва Толстого, отправившегося в непонятное путешествие из Ясной Поляны на станцию Астапово за смертью. А вот Пушкин и Лермонтов уклонились от неизбежных старческих странностей, избежали «провисания» сюжета. Ленину зато не повезло, вдруг подумал Егоров, просил яду – не дали, умер в полном психическом расстройстве, говорят, выл на Луну...

В свои сорок девять Егоров тоже ощущал то, что называется биологической дискриминацией. Девушки в метро, или на улице его в упор не замечали. А если он, забывшись, слишком долго смотрел на симпатичную девушку, та брезгливо отворачивалась, как, вероятно, отвернулся бы и Егоров, если бы на него с неуместным вожделием уставилась ровесница деда Буцыло.

Для каждого старца, подумал Егоров, давно «отлита» соответствующая форма: Король Лир, Отец Горио, Гобсек, Фёдор Павлович Карамазов и так далее. Почему-то Егоров вспомнил ещё и про Вечного Жида. Это был загадочный персонаж, влачивший противоречивое существование в мировой культуре.

Будто бы он был сапожником, и дом его стоял на пути Христа на Голгофу. Несущий на плечах тяжёлый крест, Иисус попросил разрешения передохнуть возле дома сапожника, но тот не позволил, сказал: иди дальше! Ладно, я пойду, ответил Иисус Христос, но и тебе придётся погулять тут до моего возвращения.

В советской литературе Вечный Жид последний раз появился в тысяча девятьсот сорок девятом, кажется, году в повести (названия Егоров не помнил) Всеволода Вишневского, автора знаменитой «Оптимистической трагедии». Тогда как раз сражались с космополитизмом, и появление Вечного Жида в Москве было логичным и ожидаемым.

Явившийся по какому-то делу к главному герою повести Вечный Жид, напомнил тому «сточенный ржавый нож». Но по мере их общения, Вечный Жид начал наливать силой, очищаться от тысячелетней ржавчины, а герой, напротив, ржаветь и чахнуть. В трактовке революционного драматурга Вечный Жид был чем-то вроде вампира, отнимающего жизненные силы у неслучайно выбранных жертв – коммунистом был главный герой повести.

Егоров затруднялся с ответом, снискало это произведение успех у власти и читателей, получил Вишневский за него



Сталинскую премию, или повесть прошла по литературному небосклону стороной, как косой дождь.

Может быть, деду Буцыло выпала ипостась Вечного Жида?

Но дед не походил на Вечного Жида, особенно в трактовке Всеволода Вишневского. Будь иначе, Егоров давно бы получил инфаркт или инсульт, а дед Буцыло попивал бы коньячок, да гладил по заднице Сусанну. И никакие взбадривающие средства были бы ему не нужны.

Вечный Жид ни за что не боролся.

Дед Буцыло боролся против могучего государства - СССР. Если он и был Вечным Жидом, то, так сказать, политическим, не позволившим задержаться у своего дома (правда, большую часть времени дед Буцыло тогда проводил в лагерях и ссылках) бредущему на Голгофу колоссу на глиняных ногах - СССР. Но ведь и СССР отнюдь не считал себя бредущим на Голгофу, а, наоборот, брёл со своим социализмом в Афганистан, в Африку, в Аравию.

Потом Егоров подумал, что какая-то слишком уж энергичная и большая была улетевшая бабочка. И вообще, в начале лета в городе такие бабочки не летают. Может быть, кто-нибудь их специально разводит?

Но зачем?

Как зачем, усмехнулся Егоров, на продажу. Бабочки хорошо смотрятся в стеклянных коробках. Ему самому одна пациентка подарила такую коробку с перламутровой южноамериканской бабочкой размером с небольшой вымпел.

Сначала гусеница, вспомнил уроки биологии Егоров, потом куколка, потом бабочка. Выбравшись из куколки, бабочка не просто обрела невероятный запас жизненных сил, но как будто страстно приобщалась к той самой вечности, выпить за которую в мире не хватит алкоголя. Каждую весну Егоров обнаруживал у себя на даче в укромных местах сообщества безжизненно зимовавших бабочек. Они висели вниз головой, сложив крылья, на чердаке, на досках черными лезвиями, сгустками дыма над неведомым огнём. Нечто необъяснимое заключалось в том, что ломкий клочок пепла без малейших признаков жизни на солнце оживает и... летит. Неужели это намёк на... существование души? Жизненная сила возникает из ничего, и, значит, нет ничего невозможного?

Но тут Егорову вспомнились россыпи сухих мух между оконными рамами на даче. Он часто забывал их выметать. Мухи, точно так же как бабочки, весной оживали, летали, только в их пробуждении не было для Егорова ни радости, ни тайны. Почему-то в его представлении бабочки имели отношение к бессмертию души, а мухи нет. Однажды его даже посетила смелая мысль, что после смерти души людей обре-



тают крылатую невесомую плоть бабочек и мух. И те, и те летят на свет. Егорову хотелось верить, что бабочки (правильные души) – на божественный, мухи (плохие души) – на люциферов. Но это было не так. Бабочки частенько залетали в его дощатый дачный сортир, а мухи нагло ползали по оставшейся от прежних хозяев тёмной иконе, забыто висящей в углу.

Интересно, вдруг задумался Егоров, куда полетит душа Вечного Жида?

*Я – Вечный Жид,
Я – динамит.
Куда душа моя летит,
подобно взрыву?
По призыву
невидимого командира.
Он на кресте
в тоске.*

*Ему не закурить БТ.
Никто не поднесёт Ему холодного матэ.*

Сами собой возникли строчки, а руки сами собой набрали их на компьютере и отправили в Сеть БТ. Егоров простил себе экзотическое «матэ», тем более, что было немало документально подтверждённых свидетельств повышенного внимания Господа к Южной Америке. Егоров сам читал в Интернете, что во время Второго Пришествия Господь, как святая вода в стакан, вольётся в знаменитую, обнимающую человечество широко разведёнными руками, статую на холме над Рио-де-Жанейро, и пойдёт (потечёт) вниз навстречу людям.

...В медицинском центре «Наномед» деньги с пациентов брали за каждый вдох, выдох, шаг вперёд и два шага назад. Брали с друзей народа и социал-демократов, марксистов и эмпириокритицистов, солнцепоклонников и людей лунного света.

Видя, как неохотно все они расстаются с деньгами, Егоров посоветовал владельцу клиники – многолетнему со времён мединститута приятелю – завести электронную систему расчётов. Пациент получал в регистратуре пластиковую карточку, перечислял на неё деньги, и лечился, ни в чём себе не отказывая, пока на карточке были деньги.

«Пациент – наше всё! – любил повторять на общих собраниях коллектива генеральный директор (он же и владелец) медицинского центра – Игорь Валентинович Раков, в прошлом (для Егорова) «Игорёк». – В чём залог успешной работы и, соответственно, нашего материального благополучия? – продолжал он. – Во-первых, – начинал поочередно отпускать пружинно сжатые пальцы, – надо стремиться к тому, чтобы у нас лечились исключительно здоровые люди. Во-вторых, они должны получать от процесса лечения удовольствие. В-тре-



тких, врач должен быть другом пациента. Общаться с другом легко и приятно. Делиться деньгами, пусть опосредованно, через клинику – тяжело и неприятно, но необходимо. Ваша задача – превратить эту необходимость в осознанную. В-четвёртых, приходя к нам, пациент должен расслабляться, отдыхать, отгораживаться от хищного мира, как эмбрион в материнской плаценте. Пациента – в плаценту! Вот наш корпоративный лозунг. «Наномед» - тихая гавань. Здесь укрываются истрёпанные в битвах за деньги и власть одинокие сердца вместе со своими несправедливо нажитыми капиталами».

«А если приволочётся реально больной и без денег?» - помнится, спросил кто-то из врачей.

«Без денег – не пускать! Реально больного надо честно продиагностировать и переправить в другое медицинское учреждение, - ответил Игорёк. – Чем больше будет у нас разных договоров о сотрудничестве, обмене пациентами, тем лучше. Тогда, во-первых, - снова принялся разгибать пальцы, - конкуренты не станут нас сильно гнобить, а, во-вторых, не будет сложностей с надзирающими структурами. Дескать, мы кому-то назначили неправильное лечение, а кто-то, не приведи Господь, - перекрестился Игорёк, - помер, или, ещё хуже, накатал заяву в суд».

Как доктор, Игорь Валентинович Раков был изначально и абсолютно профнепригоден. Егоров до сих пор удивлялся, как ему удалось окончить институт, получить квалификацию токсиколога, защитить диссертацию?

После института Игорёк ринулся в медицинский бизнес, запатентовал революционную методику лечения наркомании. В его наркологическом центре наркоманов лечили... сауной и минеральной водой.

Человек на девяносто процентов состоит из воды, объяснил Игорёк Егорову, когда тот спросил, не боится ли он, что его посадят, как шарлатана. Когда эти уроды сидят в сауне, они потеют. Вместе с потом выходит наркота. Потом они пьют минеральную воду, восстанавливают баланс, но наркоты в организме уже меньше. Пятьдесят часов сауны в неделю, сто литров минералки – и он уже почти нормальный человек! Худенький, правда, уточнил Игорёк, как хорёк, но... живой.

Егоров посоветовал Игорьку объявить свой центр молодым – человек в возрасте, даже и не наркоман, не выдержит семи часов сауны в сутки, откажет сердце, - и сильно потратиться на рекламу, точнее, на пиар-агентство, причём не абы какое, а то, которое ему посоветуют в профильном министерстве. Тогда, может быть, всунешься в правительственную программу борьбы с наркоманией, объяснил Егоров. Потом уходи под крышу главной партии, ну, у какой большинство в Думе, где состоит Никита Михалков и на чьи съезды



ходит президент. Будешь со слезой в голосе вещать из ящика о спасении подрастающего поколения, но больше о великом будущем России, глядишь, проскочишь в депутаты, тогда вообще никто пять лет не тронет. Ну а за пять-то лет... Всегда держи пару-тройку сменных ребятишек из народа, можно даже не наркоманов, но с красивыми историями, как загибались от наркоты, но, благодаря твоему центру, спаслись, поверили в Бога, вступили в главную партию, стали заниматься благотворительностью, бороться с экстремизмом и ксенофобией, попали в кадровый резерв президента. Всем их показывай, но основной контингент должен быть – детки богатых родителей. За них конкретно будут платить, больше ни за кого не будут.

«Пойдёшь главврачом?» – предложил Игорёк.

«Не пойду», - ответил Егоров.

«Почему, Кеша?» - ласково назвал его имени Игорёк.

Егоров заключил сам с собой мысленное пари, что Игорёк скажет ему какую-нибудь гадость. А ещё подумал, что зря заговорил с Игорьком про депутатство. Для этого тому придётся поменять фамилию. Перед глазами возник неотвратимо преобразованный несознательными избирателями плакат: «Голосуйте за (с)Ракова!» Егоров вспомнил другой плакат – из детства – они тогда жили на Красной Пресне: «В ДК «Трёхгорная мануфактура» поёт Галина Невзгляд». На плакате она была в шарфике с блёстками и с грустными – с поволокой – глазами. От дома до школы он насчитал одиннадцать плакатов, и везде в фамилии певицы буква «г» была переделана на «б».

«Я знаю, почему, Кеша, ты не хочешь идти ко мне главврачом, - продолжил Игорёк. – Ты боишься людей. Не работы, а того, что ради правильно организованного дела людей надо будет ломать и строить. Без этого нигде и никуда. А ты не можешь. Ты – самодостаточный ягнёнок в волчьей шкуре. Поэтому у тебя никогда не будет ни большого капитала, ни многих людей в подчинении. Только – чтобы хватало на жизнь, ну и иногда нанять кого-то по мелочи, когда не можешь починить сам, хотя будешь пытаться. Это довольно распространённая категория людей, только о ней не сильно распространяются, потому что к ней относится большая часть человечества, и типа как стыдно признаваться самому себе, что ты всего лишь интеллигентное быдло, так сказать, молчаливое существо грунта. Ну, а на полюсах – отморозки со знаком плюс и со знаком минус. Не бойся, Кеша, я объясню людям, как надо работать, и отморозков тоже возьму на себя».

«Ты мне льстишь, - ответил Егоров, давно поставивший на себе крест, как на рвущей удила пассионарной личности, - я не в волчьей шкуре, а вообще без шкуры, так сказать, блюю-



щий шашлык. А может быть, я - заяц. Или живой гусь в магазине «Битая птица». Вот почему я стараюсь держаться подальше от мест, где ходят решительные ребята, вроде тебя. Я пойду к тебе работать, но только не в сауну с минеральной водой. Твой центр просуществует максимум три года. В России много идиотов с деньгами, но даже им нужен результат. Если ты организуешь клинику с современным оборудованием и грамотными специалистами, я, пожалуй, соглашусь, но только не главным врачом и без права подписи на финансовых документах».

«У меня отменный аппетит, - подмигнул Егорову Игорёк. – Мне потребуется много мыслящего, а главное, складно блеющего шашлыка».

Егоров как в воду смотрел. Год Игорёк не слезал с телеэкрана. Затем просочился в Думу (плакаты не потребовались) по списку правящей партии. Через год удачно избавился от центра, сославшись на парламентский регламент, запрещающий депутатам заниматься предпринимательской деятельностью. А на излёте депутатства после недолгой заминки грамотно решил вопросы с долгосрочной арендой особняка в переулке у Садового кольца, где и поместил свою новую клинику.

Всю свою жизнь Егоров учился смотреть в воду жизни, пытаясь сквозь муть и завихрения, коряги и водоросли, стаи мальков и зеленые шнуры кувшинок и лилий разглядеть дно, на котором, как на странице книги судеб, писалось будущее. Легче всего угадывалось будущее проходимцев: им почти всегда везло, они добивались, чего хотели. Быстрое течение, природу которого Егоров не вполне понимал, несло их, поверх камней и затонувших брёвен к поставленным целям. Некоторые – самые наглые – иногда напарывались на камни и брёвна, но это было исключением из правила. Уделом честных, порядочных людей были труд и нищета. Тяжёлая несправедливость расплющивала их, как глубоководных рыб, прижимала ко дну, лишая манёвра. А вот у мыслящего, складно блеющего «шашлыка», у ягнят в волчьих (рыбьих?) шкурах, мечтающих об орденах зайцев, типичных или нетипичных представителей «интеллигентного быдла» манёвр был. Некоторые встраивались в пенный след проходимцев. Не высываясь на поверхность, шли в кильватере. Другие хотели, но не могли преодолеть притяжение «магнита» по крайней мере двух евангельских заповедей – «не убий» и «не укради», вынужденно придерживались относительной добродетели. Третьи – основное, так сказать, стадо (или грунт) - суетливо плавали ломаными маршрутами, урывали что-то для себя, «мутили» воду, поднимая со дна ил.

Это был ил телеэкранов, глянцевого журналов, ток-шоу, сериалов, лотерей, выборов, известий о катастрофах и оше-



ломляющих научных открытиях, бестселлеров и новых лекарственных препаратов. Он делал воду обманчиво сладкой, давал надежду на исполнение желаний, счастливый случай, могущий изменить судьбу. Он, как пропасть под ногами, завораживал, лишал воли, скрывал внутри беснующегося во тьме лазерного шоу железную конструкцию: мерзавцам и негодьям – всё; честным и порядочным – ничего, вернее закон, который суров, но только по отношению к ним.

Егоров подумал, что определение «мыслящий шашлык» - неточное. Ил питался этим шашлыком и сам был им же. Люди ила – так, по мнению Егорова, следовало называть тех, на ком держался, точнее, в кого, как в вонючее болото, проваливался мир. Когда-то, возможно они были «существами грунта», как выразился Игорёк, но грунт сгнил, превратился в ил. Поверх ила гордо ползали тритоны, привыкшие к новой среде обитания. Егоров к ней, в отличие от Игорька, так и не привык. Он не знал собственного будущего. Точнее знал, но не хотел верить, надеялся на чудо... ила.

Или – в иле.

В клинику Игорёк подбирал специалистов, как будто взял за образец Егорова. Это были профессионалы с повышенным уровнем цинизма и пониженным уровнем гражданского и социального самосознания. Они не верили в государство, власть, справедливость, закон, порядок и далее по списку. Они, вздумай Игорёк задержать им зарплату, не стали бы объявлять забастовку, искать правду у профсоюза, давать интервью журналистам. Но при этом они хорошо делали своё дело, потому что это было единственной их гарантией от нищеты, единственной возможностью обеспечить себе относительно сносное существование. Их не надо было ломать и строить, потому что они сами давно сломали себя и выстроились под чужую волю.

Каждый – на доступном ему уровне – стремился установить истинную причину недомогания пациента, дойти до сути болезни, до той самой кощеевой иглы, таившейся в яйце, которое в свою очередь находилось в птице, птица – в рыбе, рыба – в звере и так далее. Каждый – никоим образом не ограничивал себя в выборе методов диагностики и лечения. Похоже, коллеги Егорова вослед деду Буцыло полагали, что медицинская наука – забор, ограничивающий вытопанный, замусоренный рецептами, как осенними листьями, газон, настоящее же исцеление, как сказочный зверь единорог, пасётся где-то там, поверх рецептов за пределами забора.

Игорёк был не просто талантливым, но и идущим в ногу со временем бизнесменом. Он обязал сотрудников вести блоги для общения с людьми, которые ещё не стали пациентами клиники, но теоретически могли ими стать. До определённого момента корреспонденты получали бесплатные советы по



разным направлениям медицинской науки – кто страдал от подагры, кого беспокоили головные боли, кто мучился от недержания мочи, кто-то забыл, что такое полноценный оргазм. Но как только интернетовский «френд» созрел, переходил черту, допустим, присылал рецепт, или выписку из истории болезни, советы становились платными. Ну а дальше, понятное дело, оставался единственный путь – в клинику.

Если урологи, гастроэнтерологи, кардиологи работали, как часы: две недели переписки – и в регистратуру, то у Егорова, учитывая специфику его контингента, так не получалось. Блогосферные собеседники то засыпали его сообщениями, то впадали в ступор, замолкали на недели. Многим из них вполне хватало виртуального общения.

Егорова это вполне устраивало.

Но не Игорька.

Он распорядился приобрести для Егорова самый современный портативный ноутбук со встроенной видеокамерой, чтобы тот мог видеть лица собеседников, интерьеры их квартир и, соответственно, безжалостно отлучать от переписки «нищую сволочь». Егоров неожиданно привязался к безотказному устройству, как средневековый рыцарь любимому мечу, дал ему имя – Исай, в мысленных диалогах – Исайка. Он понял, что преодолел некую психическую границу, когда пробормотал, устремляясь в компьютерном салоне к полкам с чехлами: «А сейчас, Исайка, мы выберем тебе пальтишко. Какое тебе нравится?»

«Странно, что у тебя недобор по Интернету, – однажды сказал Егорову Игорёк. – Я всегда думал, что Интернет – идеальная среда обитания психов, где каждый из них находит то, что ему надо».

«Это так, – ответил Егоров, – поэтому они и не хотят лечиться. Психи в Сети, как рыбы в воде. Сеть – их мать, первая любовь, верный друг, сладкий грех – и так далее до самой могилы. Они никогда не променяют Сеть на клинику».

«Но кто-то же приходит», – заметил Игорёк.

«Только те, кому я интересен, – сказал Егоров. – Но я не могу заменить им Сеть».

«Сеть – река, кишашая рыбой, – возразил Игорёк. – Твоя задача – правильно подобрать наживку. Остальное сделает клиника. Что-то тут есть, – обернулся от двери, – что-то такое, чего мы не понимаем, а, следовательно, – вздохнул, – не можем превратить в деньги. Думай, Кеша, думай! Слабо, – внимательно посмотрел на Егорова, – гипнотизировать через Интернет?»

Чего тут думать Исайка, мягко и быстро, как опытный гардеробщик в дорогом ресторане, освободил электронного друга от пальто Егоров. Интернет – цифра. Деньги – цифра. Человеческая жизнь – цифра: сколько лет прожил, сколь-



ких детей родил, скольких жён бросил, сколько денег оставил на счету, скольких родственников указал в завещании. Миром правит Главная Цифра, то есть Господь Бог. В Него можно не верить, но Его нельзя обмануть. Его стиль управления прост, как правда: «хард» – это неизбежная смерть, «софт» – гипотетическая вечная жизнь. Но смерть, как некогда Ленин, всегда с нами. Точнее, при нас. А вечная жизнь, как коммунизм – там, за облаками, там-там-тарам-там-тарам... Конечно, ласково посмотрел на оживающий исайкин экран Егоров, придумать какой-нибудь moneyraising и neverending лекарственно-медитативный курс для идиотов, гарантирующий долгую жизнь, допустим, лет до ста. Но ведь всё это уже было, ты мне рассказывал. Егоров вспомнил недавнее путешествие по Интернету: два парня и девушка, объявили себя Святой Троицей, а условно-досрочно выпущенный из тюрьмы «привидец», не возражавший, когда ученики называли его «Иисусом Христом», опять взялся воскрешать мёртвых. А ещё Егоров вспомнил незабвенного Ходжу Насреддина, обещавшего шаху научить ишака разговаривать за двадцать лет. Он мудро рассудил, что за это время кто-нибудь да помрёт: шах, ишак, или он сам.

Да только кто в России позволит негосударственной структуре двадцать лет безнаказанно собирать деньги с граждан? Стало быть, только стремительное, как ураган, и юридически ненаказуемое мошенничество, то есть обман государства (не пойман – не вор) и Бога (не пойман – хуже, чем вор), было единственным способом выжать деньги из сетевых товарищей Егорова.

Но он был равнодушен к деньгам, а потому созерцателен в отношении мошенничества: не играл в казино, не отдавал деньги под большие проценты, но и не переживал за тех, кто обманывал и кого обманывали.

Проверяя электронную почту, Егоров мысленно согласился с Игорьком, что «что-то тут есть». Но это было совсем не то, что подразумевал Игорёк.

Исайка знает, вдруг подумал Егоров, но он не может сказать прямо, он может только помочь мне понять. Сколько на это потребуется времени? Мы с ним, покосился на приветливо мигающего синим огоньком Исайку, существуем в разных временах. Он знает всё и никуда не спешит, а я – только то, что знаю я, и ещё, что он мне изволит сообщить.

*И жизнь моя летит к концу,
как дым к небесному венцу...*

Сами собой отправились в Сеть БТ не сказать, чтобы сильно нагруженные смыслом, скорее, так, лирические, точнее, пораженческие строчки.



ДОРОГА К ЛИКУ

Не страшила людей высота,
Никому не хотелось вернуться,
И тянулись мы к Лику Христа,
Как всегда будем в жизни тянуться.

Проходя за ступенью ступень
И цепляясь за толщу каната,
Наполняли мы праздником день,
Всё для нас было важно и свято.

Словно в душу глядели глаза
На скале отражённого Лица,
И Спаситель как будто сказал
Нам о самом святом и великом.

Он всегда рядом с каждым из нас.
«Потрудитесь, - Он просит, - немного».
За прозреньё спасибо, Кавказ.
Наша жизнь – это к Лику дорога.

Вечная музыка – музыка слов,
Хитросплетенья таинственных снов,
И вдохновенья шальная волна,
И удивленье, что в сердце – весна.

Данная свыше, как чудо, как дар,
Сердца открытого пламенный жар,
На протяжении сотни веков –
Вечная музыка – музыка слов.

ЕЛЕНА

Самое мягкое имя - Елена.
В нём - облаков белоснежная пена,
Солнышка тёплого лёгкий привет.
Есть красота на земле, несомненно,
Непостижима, вовеки нетленна.
Есть и величье духовных побед.
Самое светлое имя - Елена,
Факелом ярким горит вдохновенно,
Тьму побеждает, спасает от бед,
В жизни суровой врачует смиренно,
Душу ведёт из греховного плена
Мягкое имя, струящее свет.



**АЛЛА
ХАЛИМОНОВА-
МЕЛЬНИК**

ПОЭЗИЯ





Ставрополь сияет куполами
На горе, открытой всем ветрам.
Ангел осенил его крылами
И наполнил светом каждый храм.

Град спасён в огне времён жестоких,
Он укрыт от равнодушных глаз.
Чистый свет молитв его высоких
Охраняет Северный Кавказ.

Что бы было с нами и с Россией,
Если б не молитвы до зари,
Если в Небо главы золотые
Наши храмы и монастыри

Так не возносили величаво?
Разве б жил доньше человек?
Господу Всевидающему – слава!
Слава ныне, присно и вовек!

ЛЕСТНИЦА. ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА ГОГОЛЯ

Он за ступенью проходил ступень
По лестнице духовной поднимаясь
Душа томилась, и молясь, и каюсь,
Молитвой был наполнен каждый день

И вот, когда совсем не стало сил
И уж над ним небесный ангел реял,
«Подай мне лестницу, подай скорее...
Скорее... лестницу», - он попросил.
Стремилась к Богу чистая душа,
В небесные высокие селенья.
А мы пытаемся понять значение
Тех слов, какими путь свой завершал

Непостижимый и далекий нам,
Великий Гоголь, гений и писатель.
Его призвал в небесный мир Создатель,
И лестница взметнулась к Небесам...

Нравственности чистый камертон –
Вот что для народа вера наша.
Это было в русских испокон –
Светлый мир молитвой был украшен.

Русью назывался он Святой,



Чистотою в душах возвышался,
Не мелькал безумной суетой,
Тихим и достойным он казался.

В нём детей растили, хлеб пекли,
В праздники водили хороводы.
Любовались красотой земли
Населявшие страну народы.

А в годину браней и скорбей
От врагов Отчизну защищали.
Говорили твёрдо: «Не робей,
Одолеем беды и печали».

Плыл над Русью колокольный звон,
Этот звон мы слышим и сегодня.
Вера – наш чистейший камертон,
Помощь постоянная Господня.

СВЯТИТЕЛЬ ИГНАТИЙ

Святитель Игнатий служил на Кавказской земле,
Во граде Креста проповедовал Божие Слово.
Он был справедлив, беззаконье карая сурово,
И вся его жизнь обличала ослепших во зле.

Он был нестяжатель, он был по натуре аскет.
Богатый духовно, он все раздавал неимущим,
Он очень нам дорог. И всем, на Кавказе живущим,
Он стал путеводной звездой, излучающей Свет.

Нам так не хватает кристальной его чистоты.
И образ святого сияет во тьме лучезарно.
Мы ропщем порою, что нам непосильны кресты, –
Святитель их нес и безропотно, и благодарно.

Он опыт бесценный оставил во множестве книг.
Читая его, будто пьешь родниковую воду.
Он Богу служил! Но служил и простому народу,
И прожил он жизнь, как единый таинственный миг.

И мы, христиане, возможно последних времен,
К святому владыке взываем с молитвой горячей:
«Спасибо, Святитель, за то, что душа стала зрячей,
Спасибо, Святитель, от всех, кто тобой исцелен».

Открой глаза и плечи распрями.
Ты – образ Божий, будь его достоин,
И даже если трудно, то пойми,



Что ты на поле брани, Божий воин.

Стяжи в душе бессмертной мирный дух,
И тысячи вокруг тебя спасутся.
Ты лишь не будь к страданиям ближних глух,
И души тех, кто рядом, встрепенутся.

Но помни: Родину не посрами,
Суди себя безжалостно и строго.
Какой бы трудной не была дорога –



Открой глаза и плечи рас-
прями.

О ПЕСНЕ

Испокон веков известна
Эта истина почти:
На Руси нельзя без песни
Даже поле перейти.

Так сложилось, спелось, сжилось
И с годами не умрёт -
Носит песню с кровью в жилах
Русский песенный народ.

С балалайкой и гитарой
На работу и за стол
Под напевы песни старой,
Незабытой и простой.

Греет душу, лечит раны,
Как глоток воды, нужна.
Даже и на поле брани
Песня ратная важна.

Всё хлебнули полной ложкой -
И напастей, и удач...
Но зальётся вдруг гармошка -
И пляши, а хочешь - плачь!

И хоть трезвый или пьяный,
Удаль сроду не унять.
Без гармошки да баяна
Дух России не понять.

Так забудь же про усталость,
Струны ладно-складно тронь.
Зазвени во всю, гитара!
Заиграй во всю, гармонь!

Вначале было слово.
Дело
Возникло после первых фраз.
Мы шли по жизни неумело,
Как будто жили в первый раз.

Земля, как палуба, качалась,
Вскипала темень за бортом.
К нам постепенно возвращалось



**АЛЕКСАНДР
КОМАРОВ**

ПОЭЗИЯ





Всё то, что сбудется потом.

Дымилась даль позёмкой чёрной,
Смерть по пятам за славой шла.
И испытаний кубок полный,
Не расплескав, судьба несла.

Траву надежд беда косила,
Дух уходил в земную твердь.
Пружина тайной русской силы
Сжималась, чтобы прозвенеть.

Среди разрушенной Отчизны
Над пеплом ветер горевал.
Но медленно во имя жизни
Хлеб русской правды вызревал...

ХЛЕБОДАРЫ

Эти люди особой породы.
Души их из особой струны.
Имя общее им – хлеборобы,
Хлебодары, кормильцы страны.

Мчались годы, и ветры менялись.-
Всё видала родимая степь.
А они, позабыв про усталость,
Лишь упрямее сеяли хлеб.

От дедов до отцов и до внуков –
Эстафета борьбы и труда.
Хлеб, он тоже рождается в муках,
Лёгким хлеб не бывал никогда.

Эту истину ценят в народе,
Где молва, как холодный ручей,
Охолонит, коль ты из породы
Обожателей длинных речей.

Если слово – пусть будет толково
И весомо, как в землю – зерно.
Хлебом правды крутого помола
Нынче быть это слово должно.

Эти люди особой закваски
В землю всеми корнями вросли,
Любят, сеют и жнут без подсказки,
Чутко слушая душу земли.



Эти люди особого роста,
Неподкупных. Упрямых кровей
Держат весь этот мир, как колосья
Держат небо России моей.

БАБКИН ЛЕС

На месте Бабкина пруда
Давным-давно растут деревья.
Где та вода, где те года,
Где те былые поколенья?

Когда-то дальше за прудом
Там, где поближе тракт почтовый,
Стоял бело-колонный дом
И рядом – добрый сад фруктовый.

Летели облака легко,
В воде зеркальной отражались,
Где между белых облаков
Лениво караси плескались.

А на все стороны окрест –
То густ и тёмн, а то светел –
Располагался Бабкин лес,
Былых времён немой свидетель.

И нынче в жизни непростой
Легенда бродит в поколенье,
Что здесь когда-то граф Толстой
Гостил у Бабкина в именье.

Где мельница среди ветвей
Молола годы словно воды,
Теперь жгуты весенних змей
Пугают редких пешеходов.

Какая эра здесь прошла,
Какая жизнь отбушевала!
Какая вера душу жгла,
Какая нива вызревала!

Поочерёдно смёл прогресс
Рукой безжалостной и грозной
И барский дом, и МТС,
И крыши мастерских колхозных.

Как жалок всё же человек!
И некто здорово слукавил:
Пронёсся мимо целый век,



А счастья в мире не прибавил.

Лес свои тайны сторожит,
Итожит, ворожит и множит.
Жизнь, как река, бежит, бежит...
И убежать никак не может.

СЕНТЯБРЬ

Задумчиво падает лист
В тиши голубой и протяжной.
...Тревога подступит однажды,
Что быстро проносится жизнь.

А ночью под белой луной,
Повисшей недвижно и немо,
Осыплет сентябрь продувной
Подсолнухи жёлтые с неба.

Чего я от жизни хочу?
Что надобно мне, что я значу?
Листовою опавшей плачу
За то, что смеюсь я и плачу,
Шагами планету кручу –
Смешной, молодой и горячий.

По мокрому саду бродя,
Я в сумрачном слышу сияньи,
Как в капле глухого дождя
Четыре гремят океана...

Пока ещё кружится лист,
Пока ещё звёзды не гаснут,
Живу эту краткую жизнь
Напрасно ли я? Не напрасно?

ИГРА В ВОЙНУ

В детство однажды своё загляну:
Будто бы на киноплёнке
Самозабвенно играем в войну
Я и ровесник мой Лёнька.

По пустырю по-пластунски ползём
Храбро и неутомимо,
Нам удивительно в жизни везёт –
Пули проносятся мимо.

Каждый героем себя подаёт,
Любит отвагой хвалиться.
И вдохновенно строчит пулемёт



По набегающим фрицам.

Вечером дома с вопросом к отцу:
- Папка, давно ли всё было?
Тень у отца промелькнёт по лицу,
Взгляд на мгновенье застынет.

Он папиросу в раздумье помнёт,
Но не закурит, а скажет:
- Будто вчера это было, сынок, -
Раны не зажили даже.

Сплю глубоко, как уставший боец.
Дождик стреляет по крыше.
В полночь от боли застонет отец –
Стон лишь сегодня услышу.

ЖАТВА

Сегодня не будет покоя.
Усталость забудем до срока –
Пришла на поля Ставрополья
Работа до жаркого пота.

Пульс жатвы настойчиво бьётся,
Вращенье Земли убыстряет:
На западе падает солнце –
И вновь на востоке взлетает.

По нраву нам смелые ритмы,
По норову сверхнапряженье.
Мы вышли на хлебную битву,
Чтоб выиграть в мирном сраженьи.

Спрессовано время до мига.
И властвует труд вдохновенный.
Так пишутся лучшие книги,
Так Родину любят, наверно.

Просторы от края до края
Моторным наполнены гулом –
Решают судьбу урожая
Надёжные сильные люди,

Что лица от зноя не прячут,
Презрев кабинетные щели;
Что выстоят в деле горячем,



Поскольку сердца горячее.

Я – АФГАНЕЦ

Повесть – реквием

Вот и ты, сыночек!

*«Во Путивле на забрале
Ярославна рано плачет...»*

Сыночек! Сынок родился! Ой, какой же ты маленький! Страшненький, красненький! Да нет же, нет, самый красивый! Самый лучший из всех людей на белом свете!

Дети громко плачут и кричат, а ты радостно кричишь и кривишь губочки в улыбке. Счастливой, долгой жизни тебе, сыночек мой! Любимый мой!

Это птички, сынок, это кошечка. Не бойся, радость моя! Не бойся, погладь ее. Жалей, береги все живое, маленький мой! Заступайся за них. Они слабые и беззащитные перед человеком. Заклинаю тебя! Помни об этом.

Отпускай, отпускай мамину ручку, сынок. Это детский садик. Это твои товарищи, твои подружки, солнышко мое. Береги друзей, хороший мой, и тебе с ними всегда будет хорошо. Иди к ним, маленький мой!

Учиться в школе нужно хорошо, сынуля. Не балуйся, не шали, слушай, что будет говорить учитель. Запоминай все, чему учат. Будешь умным, хорошим человеком, золото мое. Какой ты послушный и старательный у меня!

Повязывай галстук, сыночек мой, вот этот, папин. Он не очень новый, но так тебе идет! Выпускной вечер - по-



**СЕРГЕЙ
СКРИПАЛЬ**

ПРОЗА





следний день в школе. Какой ты взрослый! Красивый! Какая у тебя замечательная девочка, счастье мое!

Служи с честью, сыночка. Выполняй свой долг. Делай то, чему офицеры учат. Помни, что мы ждем тебя и твои письма. Любим тебя и тревожимся о тебе. Помни, что мы беспокоимся о тебе и днем и ночью, единственный мой!

Вот и ты, сыночек мой! Как же это, кровиночка моя? Почему ты?! Почему тебя?!

Как возмужал! Как похудел, милый мой! А это что? Морщинки?! Какое солнце тебя сожгло, мальчик мой? Прядь седая в волосах твоих. Молчишь, не смотришь на меня? Это я, твоя мама! Сы-но-че-е-к!

Какие красивые цветы принесли твои друзья! Твои любимые - тюльпаны... Только не красные, черные. Как горько мне, любимый мой! Около тебя твои друзья стоят, знакомые и незнакомые люди, скорбно головы опустили, понурились, вспоминают голос твой. Как они любил тебя за веселый, добрый характер. Любовь моя! Что с тобой сделали, сыночек мой! Думала надеть белое свадебное платье девушка твоя, а стоит в черном, траурном. Окаменела от горя и даже плакать не может о тебе, родной мой, только стонет тихонько.

Сколько наград у тебя, сыночек мой! На красных бархатных подушечках несут их твои товарищи. Хорошим солдатом, хорошим товарищем ты был, солнышко мое, если плачут мужчины от того, что нет тебя с ними, если, целуя руки, говорят мне: «Мама!».

Как же ты мог оставить меня одну, сыночек мой! Что же буду здесь одна делать, зачем жить мне теперь?

Какой добрый, ласковый ты был. Как старался помочь всем!

Сыночек мой! Закатилось солнце мое! Погас свет в глазах моих! Нет тебя больше со мной. В душе моей тьма черная. Соколик мой. Сломаны крылья твои. Не летать тебе высоко. Не видать тебе синего неба, радость моя. Навсегда оборвали твой веселый смех.

Нет! Нет, не уносите, не засыпайте! Дайте мне еще побыть с моим сыночком.

Оставьте меня! Оставьте, пустите к нему!

Сынок, сынок, сыночек мой!

Не хочу, не могу без тебя. Солнце мое. Радость моя. Счастье мое.

Отдав последние почести, расправив ленты на венках, солдаты разрядили автоматы, молча погрузились в автобус.



Ушли друзья с кладбища. Поодаль стояли родные и знакомые. И тогда МАТЬ спросила тихо:

- Что же я теперь? Одна!

И услышала в ответ злорадное:

- Нет, не одна. Мы теперь всегда и везде будем вместе. Мы уже познакомились, а теперь и породнились. Я навсегда останусь с тобой вместе.

- Кто ты? - спросила МАТЬ испуганно.

- Не узнаешь?!

И Черное Горе, криво усмехнувшись, защелкнуло тесный, колючий, вечный обруч на сердце МАТЕРИ.

Глава 1. ЦЫГАНКА

Теперь я знаю, почему молоденькая цыганка на осенней привокзальной площади Армавира как-то неловко отодвинула, почти отбросила мою ладонь от себя, несмотря на мятый рубль, обещанный ей за гадание. Вокруг гоготали, громко переговаривались, толпились такие же призывники, как и я, взъерошенные, хоть и стриженные накороть, возбужденные и неестественно весёлые. Цыганка долгое время крутилась в толпе будущих солдат, переходила от одного к другому, профессионально выуживала деньги и весело предсказывала парням их близкую и далёкую судьбу. Когда я протянул ей руку, в её чёрных глазах мгновенно пробежала серая рябь. Девчонка отшатнулась и, перешагивая через рюкзаки и чемоданы, торопливо ушла в вокзал. Я так и стоял с зажатым в ладони рублём, не зная, как реагировать. Парни хлопали меня по плечам, шутили, а потом затащили в кафе.

.....

Интересно, почему именно сейчас глаза той цыганки всплыли в памяти. Прошёл целый год после проводов в армию, долгой и нудной езды в воинском эшелоне, где пили все беспробудно и отчаянно, с песнями и бешеными танцами, напоминавшими лезгинку и гопак, на станциях. Начальник эшелона запретил выходить из вагонов, но проводники, щедро оплаченные за поставку водки, не сильно сопротивлялись угорам парней и открывали двери. После более жёсткого распоряжения начальника у выходов стоял караул из таких же пьяных, как и мы, сержантов и офицеров. С ними было сложнее договориться. В соседнем от нас вагоне везли горячий народ из республик Северного Кавказа. Недолго думая, они высадили несколько стёкол и всё равно плясали странный танец на перронах, вводя в ужас вокзальных начальников и пассажиров....

...Меня зовут Илья Глазунов. Нет, нет, никакого отношения к великому художнику я не имею. Так сложилось. Хотя, по-



видимому, если бы Бог дал мне хоть малейший дар рисования, я бы писал величественные полотна с горами, пустынями, рассветами и закатами, озёрами и бурными реками, днями и ночами, лицами и глазами, подобными тем самым цыганским, что западали в душу с первого взгляда, и любоваться этим можно было бы часами, но не всегда удавалось....

Как я уже сказал, никакого родства с известным художником у меня нет, хотя, по утверждению некоторых философов, все люди – братья. Так вот, один из этих братьев и всадил в мою грудь с невероятно близкого расстояния с десяток горячих акэ-эмовских пуль. Я сразу понял, странно, почти без сожаления, что если бы я и не снял осточертевший бронезилет, то всё равно не спасся бы от ревушей очереди.

Я знаю, что будет дальше. Пока не закончится бой, буду лежать возле дувала. Мимо пробегут ребята из моего взвода. Остановиться у них не будет времени, поскольку духи всерьёз решили выбить нас из этого кишлака. Вряд ли им это удастся. Парни наши разъярены потерями и предательством старейшин, которые неделю назад с поклонами и заверениями в вечной дружбе взяли несколько бочек керосина и консервы в ящиках в обмен на условие, что их кишлак теперь «договорный» и стрелять из него не будут. Что-то не спеклось, видеть....

Вчера мы вошли сюда, как только спустились с гор после поиска, потные, грязные, взвинченные бесполезностью недельного рейда и глупыми потерями двух ребят. Одного снял снайпер, как только он выглянул из-за гребня скалы, а другой сорвался в пропасть и долго кричал в полёте. Мы с наслаждением мылись холодной водой из колодца, пили студёную воду до ломоты в зубах, я даже успел простирнуть свою хэбэшку и, когда она высохла, с удовольствием влез в уже ветхую, но приятно пахнущую чистой материей. Недолго пришлось радоваться.... Перед рассветом духи атаковали. Мы отбились. Они атаковали ещё раз, уже посерьёзней, но мы успели вызвать «вертушки»....

Потом настала тишина.

Я курил в тени дувала. Ветерок приятно обдувал. Вот и подумалось, что неплохо было бы обсушить гимнастёрку на ветру. Снял бронезилет, уселся на него и расстегнул куртку. Даже задрёмывать стал, так меня разморило. Шорох за поворотом дувала только чуть встревожил меня. Сквозь ленивую одурь я предположил, что кто-то из наших идёт, но всё же отогнал дрему и встал.... Тут-то в меня и всадил очередь мой философский брат....



Теперь я лежу в пыли под стеной дувала. Когда меня подберут и кто, не знаю. Если духи, то непременно отрубят голову, гениталии, вспорют живот, а потом, может, быть подбросят в расположение наших частей, а может, просто выбросят на потеху шакалам и прочей нечисти.

Если наши, то долго будут ждать вертолёт, загрузят в него, отвезут в часть, а там закупорят в цинк и - домой.... Дай бог, чтоб хоть так!

Что будет дома, я тоже знаю. Плач и слёзы, проклятия и стенания, потом молчание и неизбывное горе на всю жизнь маме и папе.

Я вас люблю, дорогие мои!

И всё же странно, почему в последний миг я увидел те самые чёрные цыганские глаза?!

Глава 2. КАРАВАН

Замполит полка майор Дубов неторопливо обходил территорию части. Торопиться было некуда. Служебные дела закончены, а в комнатке, отведенной ему для жилья командованием гарнизона, Дубова никто не ждал.

Жена сбежала два года назад с молодым старлеем подальше от опасной близости Афганистана. От ворот части до границы с пылающей в войне страной было всего-то двенадцать километров. Так что надо было убежать подальше, в «блестящую» городскую жизнь, где есть кино, театр, танцы, рестораны. Как только наши войска вошли в Афганистан, влиятельные родственники нового мужа Нины поспешно перевели его в один из многочисленных военных гарнизонов Подмосковья, кажется, куда-то в сторону Подольска. А там и продвижение по службе ускорят, да и с жильем проблемы снимутся. Конечно, это более интересная партия, чем Афганистан и Дубов. Да жена и не скрывала своего пренебрежения, смеясь, говорила:

- Тусклый ты, Дубов. Брошу тебя. Все равно ты все время с солдатами проводишь. Вот и живи с ними!

- Не понимаешь ты меня, Нина, - вздыхал тогда еще капитан Дубов. - Это же дети! Кто о них позаботится? Тяжело ведь им.

- Дурак ты! Что, других офицеров нет? Тебе больше всех надо? Что это - твои дети?

- Так своих-то нет. Хоть этих пожалеть...

Детей не хотела иметь Нина:

- Брось службу. Уедем из этой дыры, я тебе хоть десяток нарожаю. А так... таскаться всю жизнь по гарнизонам... Нет ни



жилья своего, ни нормальной жизни. Да и я все-таки молодая, интересная женщина, хочу для себя пожить!

«Что ж, по-своему она права», - вздыхал Дубов, глядя на кокетливо смеющуюся жену.

Он был старше Нины на пятнадцать лет. У нее - ветер в голове: танцы, шик, блеск. А у него - любовь к ней да служба.

Вечерние тени протянулись от высоких пирамидальных тополей, растущих у высокого глинобитного забора части, через небольшой пыльный плац и ткнулись в стену старой одноэтажной казармы, в которой была комнатка замполита. Взгляд Дубова упал на щит, укрепленный в металлической раме, приваренной к вкопанным в землю толстеным трубам у широкого входа на плац. Рукой самодеятельного художника было намалевано жуткое чудовище в форме солдата Советской армии, его отрешенный взор был устремлен в недосыгаемые патриотические дали, короткие, уродливые пальцы судорожно сжимали автомат. Подпись под этим кошмаром гласила: «Изучай военное дело, будешь врагов бить смело!».

Автором поговорки был сам Дубов, а рисовали по его распоряжению после отбоя солдаты-первогодки. Майор довольно хмыкнул и пошел дальше, сквозь широкие яркие полосы солнечного света и такие же широкие, но прохладные полоски тополиных теней. Одобрительно поглядел на следующего мунтанта с надписью: «Родину-мать учись защищать!», оглянулся на открытую почти целиком часть.

Она была построена в двадцатые годы большевиками, заброшенными сюда железной рукой советской власти для борьбы с басмачеством. Со временем часть перестраивалась, совершенствовалась, и теперь в ней проходили курс молодого бойца перед отправкой в Афганистан вчерашние призывники. Впрочем, этих пацанов здесь практически никто не называл бойцами или солдатами, а просто «молодой», «сынок», «щегол» и так далее, тем самым подчеркивая ничтожность не только срока службы, но и самого мальчишки.

Два месяца проходили подготовку новобранцы, принимали присягу, три пули выпускали из автомата по деревянным мишеням и уходили «за речку» такими же сопливыми, необстрелянными детьми, как и до прохождения курса.

Солдатами они становились позже. Уже там, в снегах высокогорья, на сожженных солнцем безграничных пыльных просторах пустынь, на адских сковородах бетонных блокпостов. Познав, как пахнет кровь, как выглядит друг изнутри, засовывая в его разодранный живот его же скользкие кишки. Позже...



А пока молодые бойцы старательно, как и положено первогодкам, бегали по близкой, через дорогу от части, пустыне, выдыхая из легких гражданский никотин, багровели, задыхались, тяжело громыхая необношенными, грубыми ботинками и тихо матерясь, шли в очередной наряд на кухню, чистить картошку.

Дубов вздрогнул от того, что хрипло каркнувший на столбе репродуктор зашипел заезженной пластинкой: «Давным - давно сыпучие барханы двадцатый век изрезал лентами дорог. Но песню грустную верблюжьих караванов в пустынях до сих пор хранит песок...».

Звуки вступления к песне разнеслись по гарнизону, многократно усиленные мощными динамиками. Музыка хорошо была слышна и в кишлаке, рядом с которым находилась часть, что не только не беспокоило, но даже нравилось местным жителям-узбекам, выжатым каторжным трудом на хлопчатниках. В радиоузле хранились пластинки с записями песен, популярных в пятидесятые - семидесятые годы, их «крутили» по вечерам и целыми днями в праздники и воскресные дни, чтобы хоть как-то отделить себя от серых армейских будней.

Дубов проводил взглядом роту солдат, строем прошагавших в столовую на ужин. Воскресенье. У офицеров вечеринка с танцами, у солдат киношка в клубе, а потом отбой с короткими посиделками в курилке.

Ах, Нина, Нина... Когда она уехала, два года назад, Дубов от тоски и отчаяния подал рапорт об отправке в Афган. Смерти искал. Или награды. Или повышения. Может, вернулась бы?!

Просьбу удовлетворили почти мгновенно. Смерть обошла, повышение получил, награду тоже, но вот Нина не вернулась. Да и не вернется теперь уже никогда.

Дубов поправил пустой левый рукав гимнастерки и отправился в солдатскую курилку. Любил по вечерам перед отбоем поговорить с мальчишками. По-своему подготавливая их к тому, с чем придется скоро столкнуться каждому из них. Да и... какие ему теперь танцы?!

Завтра мальчишки, начав новый день службы, под руководством инструкторов, жестоких и беспощадных, неоднократно побывавших в Афганистане, будут отрабатывать приемы рукопашного боя, визгливо-смешно выкрикивая на выдохе: «Кий - я - а - а ...», нелепо суя руки и ноги Бог весть куда.

А сегодня вечером можно посидеть и тихонько, по-семейному поговорить.

Дубов рассказывал о том, что пережил сам, что видел, чему научился. Пацаны замолкали, слушали с широко открытыми глазами, полными тревоги о будущем.

Говорил майор ровным голосом, негромко, так, как привык говорить в высокогорных засадах, где звук разносится



очень далеко, где ложкой орудуешь осторожно, стараясь, не дай Господь, не скребануть о дно котелка или стенку консервной жестянки. Шумнешь - и сам погибнешь, и товарищей погубишь. Или спугнешь главную цель засады - караван.

Пустую банку из-под тушенки не отшвыриваешь, а аккуратноенько ставишь подальше от себя, стараясь зажать в расщелинке, чтобы случайно не зацепить.

А для того, чтобы не заморозиться, ворочаешься в снегу и при этом абсолютно бесшумно, нежно, как любимую женщину, перекладываешь с руки на руку автомат, норовящий лягнуть стылým металлом. И мерзнешь.., колеешь от холода.., задыхаешься от мороза.

Дубов внимательно оглядывает солдат. Слушают, боятся слово пропустить. В глазах некоторых недоверие. Как это, мол? В Афгане пустыня, вон как за воротами части, замерзнешь там, как же! Жара. Пекло. И вдруг - холод, снег. Недоверие у тех, кто в горах ни разу не были. Другие понимают: внизу - плюс тридцать, вверху - минус десять.

Дубов закуривает новую сигарету, ловко орудуя одной рукой, отказываясь взмахом головы от предлагаемой помощи. Оглядывает поверх голов солдат вчера только изготовленные планшеты, прислоненные к стене казармы, с надписями: «Дал присягу - назад ни шагу!», «Помни присягу свою - будь стойким в бою!».

Про себя думает, что прямо с утра надо из хоззвода плотника прислать, чтобы приладил у входа в здание перлы солдатской мудрости, и продолжает разговор.

Кроме того, есть приказ - пропустить караван ни в коем случае нельзя. Он несет груз, который грозит новым горем, смертями, потерями для контингента Советской армии и мирного афганского народа.

Разведка докладывает, и группа выходит на реализацию разведанных, то есть устраивает засаду. В древние времена караван - богатая добыча, желанный приз для разбойников. А теперь - цель нападения и уничтожения любой ценой и людей, и грузов.

Издrevле тянутся караваны по тайным горным тропам ночью. Скрываются днем в тени «туберкулезной» чахлой зелени, в пещерках, ложбинах между сопками. Караван хорошо вооружен - имеет свои зубы и достаточно больно кусается. Ведет караван старый афганец - караван-баши. Не идет, шествует той удивительно легкой походкой, которой, кажется, совсем не свойственно утомление. Сам караван-баши с высоким крючковатым посохом в руках и цепь ишаков, или верблюдов, или лошадей, навьюченных тяжелой кладью, внешне выглядят так же, как выглядели подобные караваны много веков назад. Караванчики одеты в просторные, длинные и очень



теплые дубленые шубы. В условиях высокогорья особенно хороши рукава этих шуб. Они спускаются до колен и состоят из сложенных мехом внутрь ромбовидных несшитых между собой полос овчины, похожих на лапы. Такие рукава чудесно защищают от стужи и своим устройством не мешают мгновенно выхватить оружие.

Майор рассказывал о том, что было на самом деле, не пугая, а настраивая, предупреждая, подготавливая к тому, что ему было хорошо известно и знакомо.

Потом уже, когда объявляли отбой и солдаты засыпали в казармах, Дубов возвращался в курилку, закуривал и, стиснув зубы, застывал допоздна, вспоминая свое участие в этой войне.

В седловине, между двумя заснеженными вершинами, где с вечера находилась в засаде рота майора Дубова, было ужасно холодно. Ветер, дувший с яростной силой, казалось, пытался вышвырнуть вон шурави, отморозить все части тела, которые выглядывали из-под одежды. Солдаты зарывались в снег, пытаясь согреться. К счастью, ближе к полуночи ветер переменялся, и теперь его ледяные струи проносились над головами солдат.

Обозначив задачи, выставив дозорные посты, Дубов уже под утро задремал в маленькой, похожей на берлогу пещерке. Перед самым рассветом его разбудил рваный лай всех стволов, имеющих в распоряжении роты. В голове мелькнуло:

- Началось!

Крутнувшись в «берлоге», из-за стылого валуна Дубов выставил автомат в сторону тропы, выстрелил из подствольника в самую гущу людей и животных. Отметил для себя выброс разрыва и, стреляя в хвост каравана, моментально оценил складывающуюся обстановку.

За тридцать секунд боя все смешалось: мечущиеся на тропе бородатые люди с чалмами на головах, плач, рев и стоны раненых, бьющихся людей и лошадей.

Животные падали на тропу и, заваливаясь на бок, тащили в пропасть за собой караванщиков, отчаянно пытавшихся удержать от падения вниз лошадей и тюки с грузом, но тщетно. Афганцы, стесненные узостью тропы, не могли отступить, скрыться за скалой, из-за которой минуту назад вышли на этот проклятый участок. Не могли пройти вперед, отсеченные плотной стеной огня. Понимая свою обреченность, они выхватывали оружие и бились горячее, ни на что не надеясь, лишь взывая к Аллаху, чтобы тот увидел, как дерутся его верные сыны. Залегая за трупами животных и своих товарищей, пытались вести прицельный огонь, и не без успеха.



Дубов увидел, как, дернувшись, ткнулся головой в снег рядовой Еременко, а рядом с ним побагровела, подтаивая, морозная белизна под телом сержанта Кочурина.

Майор выкрикивал слова команды, пытаясь уберечь, предостеречь своих солдат, но грохот и рев боя перекрывали его голос, и ему самому казалось, что он не кричит, а едва шепчет.

Бой велся жестокий, беспощадный, на полное уничтожение, и люди из каравана, понимая это, пытались подороже продать свои жизни.

Дубов оторвался от прицельной планки автомата, чтобы увидеть солдат, оценить ситуацию, и заорал:

- Газарян, назад! Назад! Не высовывайся!

В горячке боя рядовой Газарян вскочил и, жутко хохоча, вел огонь с колена. Дубов приподнялся над камнем:

- Га.., - не успел докричать.

Ослепило близким разрывом гранаты, как огнем обожгло левую руку. Сознание Дубов потерял не сразу, успел отметить, как внезапно наступило затишье, подумал: «Умираю?!» - и впал в забытие.

Очнулся от резкой боли. Перетягивающий левое предплечье бинтом рядовой Басыров поглядел на командира ласковыми карими глазами и, успокаивая, сказал:

- Ничэво, ничэво, камандир, каравана - йок, нэту...

Дубов услышал, что время от времени тишину прерывают одиночные выстрелы, и понял, что каравана действительно «йок», раз солдаты достреливают, добивают умирающих и раненых духов, ставят контрольным выстрелом в голову восклицательный знак на мертвых.

- Лэжы, лэжы, - успокаивал Дубова Басыров, - тропа сэчас расчыстым, груз забэром. Служьба знаим. Искэндэр уже «вэртушки» вызвал.

Искэндэр - Александр Ковалев, радист роты. Дубов облегченно, насколько позволила рана, вздохнул и только теперь с изумлением отметил, что на Басырове поверх бушлата наброшена дубленка. Тот, увидев изумление командира, поспешил объяснить:

- С убытых снялы. Стрэлялы - разгорачылысь. Холодно тышер. А шуба топлый. Мортвый - в пропасть, а шуба живой - на. И тэбе тожь на, - Басыров заботливо набросил на Дубова широченную овчину.

Дубову стало тепло не только от меха дубленки, но и от заботы солдата. Только где-то в подсознании замелькала мысль непонятая, неосознанная, вызывающая чувство опасности и тревоги. Думать и размышлять мешала слабость. Тепло окунуло Дубова в дрему, а промедол оттянул сверлящую боль. Он только и прошептал Басырову:

- Тропу расчыстите, груз поднимите на площадку, - и уснул.



Вместе с болью промедол погасил и тревожную мысль.

Солдаты сбросили трупы вниз и стали подниматься вверх на площадку, волоча за собой тюки и трофейное оружие.

За то время, пока солдаты укладывали своих погибших, опускались на тропу, освобождали, расчищали ее, сбрасывали вниз неподъемные трупы лошадей, туда же, раскачав за руки - за ноги, отправляли начавшие замерзать трупы караванщиков. Пока подняли наверх тюки и оружие, два вертолета, вызванные радистом Ковалевым, преодолели подлетное время, вынырнули из-за дальней вершины и взяли направление на седловину.

Командир пятьдесят третьего борта передал в полк:

- Я - борт полсотни три. Сигнала нет. Вижу тела наших наверху, похоже, перебили всех. Караванщики таскают вьюки с тропы наверх, - и не удержался: - Вот, твари, отсидеться хотят...

И «вертушки», коршунами ринувшись с неба, весь свой огонь обрушили на усталых «караванщиков», вереницей ползущих вверх к спасительному гребню.

Рокот «вертушек» и шквал огня молнией высветили в голове Дубова смысл его тревоги:

- Сигнал опознавательный не дали! Шубы.....

Поздно. Боевые вертолеты сделали следующий заход. Пилоты убедились, что «афганские караванщики» полностью уничтожены, связались с базой и, сделав разворот, ушли за спецгруппой. Пусть уж они разбираются, что произошло на тропе, а заодно и трупы погрузят, и уцелевшие вьюки.

«Вертушки» растворились в круге огромного солнца. Из укрытия выбрался шатающийся от слабости, потерявший шапку, с всклоченными потными волосами и безумным взглядом майор Дубов.

Забыв о боли в раненой руке, он побрел от тела к телу, оскальзываясь на утоптанном снегу, испачканном красными пятнами крови и черными разводами гари, не веря, не желая осознать нелепость случившейся трагедии, надеясь на чудо, на то, что ребята ранены, уцелели... Становился на колени около каждого погибшего. Ласковым шепотом разговаривал с ними. Жалел. Приговаривал какие-то нелепые слова оправдания. Просил простить его за то, что остался жив... Закрывал ребятам глаза. Гладил коротко стриженные головы. Накрывал лица подобранными шапками, кусками бушлатов и дубленок... И, только когда добрел до тела Басырова, заглянул в его спокойное лицо и застывшие карие глаза, Дубов отчаянно, горестно, страшно завыл.

Так воеет, низко опустив голову, старый волк у мертвой, разоренной охотниками родной норы, оплакивая гибель маленьких, теплых, бестолковых, беспомощных волчат...



...Веселые голоса возвращающихся с вечеринки офицеров с женами отвлекли майора Дубова от воспоминаний. Он поднялся со скамейки, поглядел на темное окно своей комнатухи и зашагал в казарму.

Сделав знак «потихше» подскочившему дежурному, укоризненно качнул седой головой и, стараясь не скрипеть старыми половицами, прошел в свою комнату.

Постоял, не включая свет, припомнил, как умолял чуть ли не на коленях комдива не отправлять его на гражданку, не списывать по инвалидности после ампутации руки. Щелкнул выключателем.

Тусклый свет сорокасвечевой лампочки осветил спартанское жилье. Дубов поправил покосившийся плакатик, висевший над выключателем: «СССР - всему миру пример!», хмыкнул, быстро разделся, погасил свет и улегся в узкую, жесткую кровать. Полежал на спине, подложив руку под голову, припоминая вечерний разговор с солдатами. И стал засыпать, твердо зная, что не сможет пересилить себя и не придет прощаться с этими мальчишками перед отправкой их в огненную мясорубку Афганистана.

Глава 3. ОБЕРЕГ-ЛАДАНКА

Теплый осенний день. Листва опадает с кленов и ясеней, пытается устлать мягким ковром весь парк, печально и убаюкивающе шуршит под ногами. Пряный и острый ее запах дурманит голову, пьянит чем-то приятно-грустным. Изредка взрывается тонкий сучок и осыпает ноги прелой пылью. Слабый ветерок пытается проскочить сквознячком меж стволов деревьев, но запутывается в них и утихает, слабо вздохнув. Солнечные лучи смелее пронзают безлиственные кружева ветвей и греют, греют, греют землю.

Под вечер воздух становится прозрачным, в его дыхании уже чувствуется хрустальность будущих морозов, но она еще нежна, едва уловима.

Ветер набирает силу и грудью бросается на деревья. Те поскрипывают старыми телами, с неохотой сгибаются и вновь выпрямляются. Уцелевшие листья собираются в маленькие кучки- смерчки вперемешку с измельченной трухой и неприкаянно носятся по парку, разыскивая свой дом - свое дерево. Вороны шумно опускаются на старый клен, картаво переругиваются и замолкают, как только солнце совсем уже спрячется за раскрасневшимся горизонтом...

...Бросить бы все да провести денек в парке, пусть даже одному. Впрочем, даже одному. Отдохнуть от всего и всех, надышаться чистым воздухом, насмотреться на бледное, иссиня-зеленоватое небо, а потом... А что потом?! Все! Хватит!



Вовка тряхнул головой, и чудесное полудремотное видение исчезло, в глаза хлынуло солнце. Много солнца. Слишком много жестокого, яркого солнца. Веки привычно дернулись, смахивая слезы, прищуренные глаза осторожно прощупывали опасную чертову пыль и камни.

Пока он дремал - был в отдыхающей смене - ничего не изменилось, только разбухший, безобразно яркий шар солнца чуть сместился к горизонту. До ночи еще далеко, до начала смены минут тридцать. Но не хочется больше спать - опять какая-нибудь мура приснится, выбьет из привычно-непривычной колеи войны. А все же какой парк красивый! Эх! Сейчас бы!.. Все. Все, забыто!

Вовка потянулся до стона, покрутил головой, разогнал застылость мышц. Закурить, что ли? Нет, не буду. Бросил две недели назад. Была причина бросить.

Бежали тогда долго по сопкам. Уходили от духов к своим, под прикрытием бетонки, по которой шмыгают днями машины.

Бег начали всемером, а к финишу пришли втроем. Чуть было пятым не остался в сопках Вовка.

Бежали без оглядки, нечем было огрызнуться. Весь боезапас оставили там, в сопках, вместе со своим взводом, крошенным из засады пулеметными очередями. Когда залегли после первого шквала, были недоумение и злость, потом ярость и боль, чуть позже бессилие и страх, а когда патроны закончились, январским морозом хлестнул ужас. Вскочил первый и понесся назад, к базе, за ним второй, и уже, не помня себя, летел за всеми Вовка, беспокоясь лишь о том, чтобы не бросить, не потерять автомат.

Чем ближе к бетонке, тем слабее ноги, руки, все тело. Добежал до дороги и упал почти под самые колеса остановившейся колонны «КамАЗов». Когда очнулся, отдышался, вынул из кармана сигарету, задымил, но тут же отшвырнул ее и закашлялся, с трудом удерживая тошноту. Так и бросил курить.

Но не только об автомате думалось Вовке во время безумной пробежки, думал еще о том, чтобы не потерять раскачивающуюся на груди в тяжелом, тягучем, напряженном беге оберег - ладанку, повешенную на шею матерью, глубоко и искренне верующей женщиной. Верующей в то, что странно пахнущий кусочек дерева спасет и сохранит от гибели кровиночку, единственного любимого сына, веру и надежду в этой жизни. Сумела она передать эту веру в оберег и Вовке.

Что же, как не эта ладанка спасла его великим чудом тогда, когда в ущелье на зажатой скалами дороге караван грузовиков, везущий пацанов первого полгода службы, и Вовку в их числе, был обстрелян душманами? Стреляли в упор, перегорев див дорогу подбитой техникой.



Выскочив из горящей машины, обезумев от животного страха, метался тогда необстрелянный пацан Вовка по ущелью. Открытая, доступная, как на ладони, мишень. Моталась на шее образок-ладанка в такт его бестолковому бегу.

Спас козырек скалы, нависший над дорогой. Пули прощелкали, злобно отгрызая острые осколки камня, зло ворча, ушли в сторону длинной очередию.

Нырнул под горячий камень Вовка, зашептал, сбиваясь, молитву о спасении живота своего и притих. В его затишок запрыгнул прапорщик, который на марше командовал танком сопровождения. Пули духов сопровождали его отчаянный прыжок и успели зацепить под коленом правой ноги. Прапорщик втянул ногу под навес, взревел от боли, хрипло матерясь, выплевывая вместе со словами сгустки крови, упал на спину, обдирая о камни дымящийся бушлат, пытаясь сбить струйки дыма и тлеющие глазки огня.

Невидящим после яркого света взглядом окинул укрытие, не заметив Вовку, сунулся к краю щели. Он подтянул автомат к себе и начал резать, косить фигуры духов, радостно соскальзывающие вниз по стенам ущелья к добыче.

Вовка полностью пришел в себя. Сквозь затуманенное ужасом сознание ему дошло, что бьется один прапорщик, со стороны духов плотность огня становится все гуще и гуще.

Не столько носом, сколько каким-то звериным чутьем уловил он запах ладанки, встряхнулся, поверил в свою счастливую звезду и пополз к прапорщику. Тот скосил налитые кровью глаза, приказывая мотанул головой и вновь приник к автомату. Теперь уже он стрелял прицельно, торопливо выбирая мишень и мягко нажимая на спуск. Автомат коротко вздрагивал и тянулся мушкой к следующей фигуре.

Из укрытия хорошо было видно, что танк, ствол которого уныло ткнулся в стену ущелья, кособоко свисал порванными гусеницами с подорванной плиты монолита. Из открытого люка тянулся черный дым, окутывая труп убитого солдата, тряпкой висевшего руками вниз из отверстия. Три машины «Урал» беспомощно догорали, изредка всплескивая искрами пламени, осклабясь металлическими обугленными конструкциями. Повсюду валялись трупы солдат, обгоревшие, изломанные предсмертной судорогой.

Духи все смелее и смелее отрывались от земли и перебежали, подбираясь к горящему танку. Спокойствие раненого прапорщика передалось и Вовке. Он выбрал цель, щелкнул ограничителем, устанавливая режим одиночной стрельбы, навел ствол на голову надвигающейся фигуры. Выхватил взглядом красные камни, серую пыль, черный дым, бледно-болезненные былинки из расщелин, темное, какое-то закопченное



лицо бородатого врага, внезапно надвинувшееся в прицел, и нажал на курок.

Расстояние до нападающего было мало, прозвучал выстрел, и душман забулькал горлом, сделал два шага, ударился грудью оземь, застыл, как бы пытаясь дотянуться мертвыми руками до слетевшей с бритой головы чалмы.

Тугая волна тошноты подкатила к горлу, выплеснулась горячей струей едва усвоенного завтрака. Слабость разжала руки, автомат с цоканьем упал на камни. Вовка скорчился, захлебываясь рвотой, закашлялся, поперхнувшись густой слюной.

Прапорщик методично простреливал обзор, оглянулся на Вовку, прокричал ему что-то грозное, по-лошадиному взмахивая головой в сторону наступающего противника, и вновь принялся целиться и стрелять.

Вовка пытался подавить приступы тошноты, но вид грязной лысой головы убитого им духа и чалма, подкатившаяся близко с ползающими по ней, хорошо видимыми вшами, усиливали спазмы желудка. Капли пота стекали по подбородку, тягуче сочно плюхались на колени, на приклад автомата, застилали глаза.

Не просто убить в первый раз человека, пусть даже нападающего врага.

...Вовка устало поднял голову. Прапорщик лежал лицом вниз, раскинув руки. Впитывая кровь, набухал воротник его гимнастерки. Духи открыто бродили меж горящих машин, пинками переворачивали трупы солдат, ворошили их вещмешки, собирали трофейное оружие. Один из них подошел к шевельнувшемуся шурави, схватил его за волосы и резко поднял голову лицом вверх. Вовка узнал неестественно бледное лицо: Сашка Ситников. Это с ним они сидели во дворе городского военкомата, когда ждали отправки. Всю жизнь росли в одном городе, а вот встретились перед отъездом, но тесно не сдружились, просто вместе держались по закону землячества.

Сашка был ранен в ноги. Резкая боль искривила его лицо, вырвала тяжелый стон. Близко стоявшие духи засмеялись, одобрительно кивая своему товарищу. Тот же рад стараться, наступил для большего эффекта на Сашкины окровавленные ноги и еще сильнее потянул назад голову. Из рта раненого потекла кровь, он душно заперхал и закрыл глаза. Афганец хлестанул наотмашь ладонью по Сашкиному лицу, выдернул откуда-то из широких одежд кривой нож и быстро полоснул им по лбу русского. Кровь широкой завесой потекла по лицу Сашки, и было страшно и странно видеть бело-красную маску вместо лица. Дух отпустил волосы Сашки, и он с размаху ткнулся лицом в пыль.



Стало понятно, что сейчас духи вдребезги расстреляют Сашку. И ему, Вовке, надо быстро что-то сделать, чтобы успеть изменить его страшную судьбу. Он притянул к себе автомат, быстро прицелился и клацнул пустым звуком - патроны закончились. Потянулся к подстволку - пуст, и в отчаянии закрутил головой. Увидел автомат прапорщика; отложил в сторону свой и пополз к убитому.

В это время дух перевернул стонущего пленника на спину, схватив за воротник, перетащил к машине, швырнув его спиной к закопченному колесу. Сашка, широко раскрыв глаза со слипшимися от крови ресницами, смотрел на окруживших его врагов. Лихорадочно осматривая их, пытался понять, что же с ним будет, догадывался и не надеялся избежать смерти.

Вовка уже тянул автомат из-под прапорщика, его подстволком со сменой рожков и видел, как духи обступили полукругом сидящего солдата. Афганец - видимо, командир - что-то кричал, тыкая пальцем в пленного, пинал его то в бок, то по раненым ногам. Сашка занемел, застыл и даже не стонал от ударов душмана. В его обреченном взгляде внезапно загорелась надежда. Он увидел под близким козырьком скалы Вовку, увидел, как тот вытягивает откуда-то из-под себя автомат. Вот сейчас он полоснет огнем и освободит его, Сашку, уничтожит его мучителей. Нет, не успел. Афганец запрокинул цепкими пальцами голову Сашки назад и размашистым движением перерубил ножом шею солдата. Обезглавленное тело конвульсивно дернулось и съехало на землю под громкий одобрительный хохот душманов. Убийца гордо прокричал что-то в небо, поднял за волосы отрезанную голову и, размахнувшись, забрызгав себя стекающей из горла кровью, швырнул в сторону, как мяч.

Холод пробежал по спине Вовки. Он прицелился и стал кромсать, хлестать свинцом удивленные рожи духов... В одну очередь выпалил все патроны, расшвырял, разметал гадов. Нашарил второй рожок, вонзил его в ненасытное чрево автомата. Вскочил на ноги в полный рост, с ревом гнева продолжил стрельбу, но залег опять, замолчал. Не в кого стрелять : спрятались духи. Тихо стало кругом, только огонь потрескивает на догорающих машинах. Вовка стал внимательно осматриваться, ловил, высматривал цель. О, за гусеницей танка мелькнула голова. Ба-бах! Есть! Вывалился убитый дух. Ага, вон там за камнем что-то шевелится. Ба-бах! Черт, мимо! Вовка увидел-таки, как высунулся из-за того же танка ствол гранатомета, но не успел среагировать, как из гранатомета вырвалось пламя, и снаряд врезался в навес. Обрушился козырек, засыпал собой прапорщика и Вовку, завалил камнями...

...Очнулся он от холода. Опять казалось ему, что он в осеннем парке, но спит почему-то на скамеечке, неудобно лежать,



острые края режут бока. Захотел встать, но не смог. Дернулся что было сил - что-то держит. Дернулся еще раз - результат тот же, и проснулся, открыл глаза. Сквозь узкие щели между камней виднелся серенький холодный рассвет. Вспомнилось, как его завалило. Почти сутки Вовка выбирался из каменной могилы, расшатывал, раскачивал камни руками, раздавленным автоматом. Вытолкнет один камень, на его место другой сползает. Замирал - засыпал, приходил в сознание от холода и знакомого запаха ладанки, шептал сухими губами молитву и опять работал. На следующий день услышал совсем рядом родной русский мат, засипел, заскрипел что-то, пытаюсь быть услышанным. Случилось невероятное: услышали, вытащили...

Так как же не верить теперь в оберег-ладанку?! Что же, если не она спасла его в тот раз?! В который уже раз...

А сегодня дежурство на точке прошло нормально. Погрелись на солнышке недельку и пошли назад. Сменившая их рота ничего нового не принесла из полка. Все то же. Ходят, правда, слухи, что скоро начнется вывод войск с территории Афганистана, но, будет ли это точно и когда, никто не знал.

Подходили к кандагарскому гарнизону уже затемно, когда солнце опустилось за высокие гребни гор и лишь едва освещало знакомые очертания аэродрома. Шли узкой тропой, спускаясь по одному с интервалом пять-семь шагов. Размеренное движение успокаивало, клонило в дрему. Внезапно впереди грохнул взрыв, и эхо металось разрывом по стенкам ущелья, ведущего тропой к аэродрому. Мгновенно залегли, выставили стволы автоматов солдаты. И только тогда командир прокричал, что тропа заминирована, есть потери.

Вызванных саперов ждали долго, только перед рассветом пришли. Быстро убрали наспех поставленные духами мины, и рота, забрав погибших, двинулась вперед.

От долгого сидения на холодных камнях, от неподвижности захотелось Вовке оправиться, помочиться. Шагнул он чуть в сторону с тропы, на неуютную узкую полосу перед каменной стеной, потянулся в предвкушении скорого отдыха. И понял по тонкому звуку натянутой струны под ногой, что под ним мина. Замер и громко, спокойно сказал проходящему по тропе за его спиной:

- Я на mine.

От этих страшных трех слов стало тихо на тропе, передние прошли вперед, за поворот, а задние попятились назад.

Стоял Вовка одиноко под темным еще небом, стоял лицом к мрачной скале, с нелепо расстегнутой ширинкой штанов и не смел пошевелиться. В голове металось лихорадочно, что есть какой-то выход, не может вот так, запросто, оборвать жизнь. И - вот оно, нашелся ответ, нашелся выход. Потянулся осторожно руками Вовка к вороту бушлата, просунул руки



к оберегу-ладанке, зашептал что-то онемевшими губами, облегчение почувствовал, вот она - помощь!

Чуть ослабил ногу, выкатился из-под сбитого каблука камешек, чуть глубже нога зарылась в грунт, еще сильнее натянулась струна, еще быстрее, еще горячее зашептал молитвы Вовка, но не смог, не убедил Господа солдат. Видать, нагрешил тяжко здесь, в Афгане. Всхлипнул под ногами громким чихом взрыв, разрывая, разметая мамину кровинушку, раба Божьего Вовку Скатова.

Взметнулся вверх высоко на кожаном шнурке оберег-ладанка, зацепился за выступ скалы, сокрушенно закачался своим маленьким, темным, теплым телом, как бы оплакивая свое бессилие: Ай-ай-ай-ай...

Яркая звезда чиркнула по утреннему небу Афганистана, ослепляющим хвостом вознеслась высоко в поднебесье и рассыпалась мелким прахом в голубой вышине жемчужными, медленно гаснущими искрами.

Эту звезду увидел рядовой, несущий караульную службу у склада ГСМ, Витька Смирнов.

- Шалют духи, - подумал он.

Глава 4. КОМСОРГ

Дым. Дым. Дым. Густой дым аспидно-черными клубами разливается по земле, окутывает сопки. Жирные хлопья оседают, маслянисто блестят на склонах горюшек, забиваются в щели меж камнями, легко проскальзывают под воротник гимнастерки, в ботинки, окрашивают кожу в африканский цвет, лезут в нос, в горло... И никуда не деться от мягкой назойливости сгоревшего мазута.

«Наливник» горел с самого утра, угрюмо ткнувшись ураловской мордой в пыль дороги. Колеса, оторванные взрывом противотанковой мины, валялись, сгоревшие дотла, неподалеку от машины, разбросанные по обе ее стороны.

После взрыва из кабины вылетел водитель, оглушенный грохотом и ослепленный пламенем. Дико вращая головой, он тянул, вырвал из кабины автомат, заклинивший в боковых замках. Кровь из мелких порезов от брызнувшего стекла мгновенно окрасила полосами лицо солдата. Наконец автомат выскочил из замков, больно ткнув мушкой в плечо, и водитель побежал назад, к следующей в караване машине. «Урал», резко дернувшийся от внезапной остановки, еще урчал двигателем, но вскоре заглох от следующего взрыва - огонь добрался до топливных баков, а затем вспыхнул мазут.

Гасить пламя было некогда, в любую секунду духи могли открыть огонь из засады, что было логично на этой дороге, тянущейся между сопками. Но повезло. Стрельбы не было.



Опустили стволы автоматов, вздернутые было в поисках врага. Танк сопровождения развернул башню стволом назад и задом прогрохотал к подорванному «Уралу». Уперся крепкой грудью в бок машины и протолкал ее от дороги, освобождая путь колонне.

Тронулись. Поехали дальше. До обеда прошли только шестьдесят километров. Осторожничали. Не знали еще этой дороги. Впереди танк, в танке саперы. Семнадцать мин сняли на своем пути. Что впереди? Неизвестно. Что позади? А позади печально-траурной лентой поднимается черный густой дым, хорошо видный даже на большом расстоянии. Остановились.

Радист колонны торопливой скороговоркой докладывал ситуацию командованию и, сплюнув черной слюной, на полуслове кинул в передатчик микрофонную трубку и заматерился:

- ...Они там водку жрут, а мы здесь... - но по всей форме доложил подошедшему начальнику колонны - молоденькому лейтенанту, год как окончившему училище, о том, что командование недовольно задержкой в продвижении колонны, недовольно молодым лейтенантом, им, радистом, и вообще всей ситуацией на этом участке.

Лейтенант выслушал, как в училище: вытянулся в полный рост, набрал полную грудь воздуха - послать подальше все начальство - и уже рот открыл, как щелкнул сухой выстрел снайпера, горячая пуля залетела ему прямо в рот и, разбрызгивая мозг, окращенный красной горячей кровью, с белыми осколками черепа, вылетела из черного в полголовы выходного отверстия. Тело лейтенанта дернулось и повалилось на радиста. Караван на секунду замер, горохом рассыпались из машин ожидающие команды солдаты-водители, оцерились дулами автоматов солдаты сопровождения - и в направлении выстрела затрещали автоматные очереди. Защелкали, завизжали, затенькали пули о черные камни, и, шевельнувшись, вылетело неуклюжей птицей, как крыльями хлопая полами засаленного халата, тело снайпера-душмана. Кувыркнувшись в воздухе, прокатившись по склону горы, набрав скорость, подкатилось по дороге к телу лейтенанта и навалилось на руку убитого офицера. Тела душмана и лейтенанта распластались на дороге. И солдаты увидели, что снайпер тоже молодой, в возрасте только что убитого им. Похоже было, что два товарища-одногодка - шурави и афганец, вволю повеселившись, разлеглись на дороге, заснув в пьяном угаре, не рассчитав свои силы. Впечатление было бы полным, если бы не чернела от вытекающей крови серая мягкая пыль под телами.

Витька Смирнов - солдат первогодок - чувствовал себя очень плохо. Во-первых, это его машина была подорвана, это ее он оставил догорать одну на проклятой дороге. Его



до сих пор трясло и знобило после взрыва. Опытные «водители» говорили, похлопывая Витьку по плечу, что, мол, повезло тебе, брат, только машину потерял, обычно и шофер с машиной гибнет, если на противотанковую мину нарывается. Во-вторых, обдало лицо брызгами мозга лейтенанта, теплыми и скользкими. В-третьих, дух-снайпер катился прямо под ноги Витьке, еле успел он отскочить, но зацепил все же мертвец твёрдой, неживой рукой по ноге. Зацепил, словно за ногу хотел схватить, забрать еще одного врага с собой в черноту смерти. Вот и плохо стало Витьке, хоть и третий это рейс для него, и повидал уже немало. Но за один раз столько получить и увидеть - это уж слишком.

Прапорщик Воронин, среди солдат Кнут, тонкий, стройный, пробежал в голову колонны к радисту, доложил о гибели командира, выслушал монолог начальника и дал команду вперед.

И опять Витьке не повезло. По воле Кнута посадили его в кунг «ГАЗ-66» вместе с санитарями - в помощь им, раз уж он лишился колес, и теперь пришлось трястись в гулкой будке, а в такт тряске подскакивала, стучаясь о рукоятки узких подвесных носилок, пробитая голова погибшего лейтенанта. Санитары накинули на тело мертвеца старое промасленное одеяло, но от подпрыгивания машины оно сползло, обнажив изуродованное лицо. Не мог, не хотел Витька накрыть его и отвернуться не мог в тесноте кунга. Закурить бы, да и так дышать нечем, медбратья накурили до осязаемой, плотной густоты, куда же еще!

- Хоть бы что, - позавидовал Витька, - привычные ко всему.

Чтобы отвлечься от страшной маски изуродованного мертвого лица, Витька порылся в карманах, нащупал пачку старых писем от родителей, но постеснялся достать их, просто коснулся, как погладил рукой. В другом кармане наткнулся на маленький и твердый прямоугольник, потянул на свет. Вспомнил. Нашел как-то в рейде. Стоял в охранении в горах и, пока работали саперы, на выступе скалы заметил кусочек деревяшки. Загадочный, темный, на кожаном шнурке болтался. Запах от этой деревяшки интересный исходил. Долго размышлял Витька, что за запах такой, потом уж припомнил, что в церкви так пахло, в которую заходил однажды тайком, чтобы не увидели одноклассники или учителя. Церковь была старая, стояла неподалеку от школы. Каждый день мимо нее проходили школьники. Слышали тихие голоса из открытых дверей, видели огоньки свечей и лампадок, размытые пятна икон. Зайти было интересно, но страх быть увиденным и пристыженным не пускал. Тем более, что с девятого класса стал секретарем комсомола школы, и не по рангу стало заходить в старинные двери божьего храма. Однако вспомнил Витька,



что это за деревяшка такая. Ладанка. Оберег-ладанка называется. Обычно с изображением Бога или святого, носится на шее. Прикрыл глаза Витька, как бы согрелся от кусочка дерева, задремал, но тут же подскочил испуганно, ткнувшись головой в стенку кунга от очень уж сильного крена машины. «ГАЗ-66» резко стал. Одновременно застучали частые выстрелы из многих автоматных стволов. Засуетились, заклевали по кунгу пули, вырывая стальными клювами куски жести и досок из уже пораненного тела машины. Санитары, а за ними и Витька вылетели на дорогу.

Вечерело. Солнце лишь слегка пробивалось из-за острых зубьев гор, по-вечернему раскраснелось небо, натягивая на себя мрачное одеяло ночи. Ближний склон горы, подсвеченный выстрелами, рвал, мял колонну автомобилей, злобно рычал, плюясь свинцом. Люди залегли за машинами, под колесами, отстреливались, били по угадываемому за вспышками врагу. Танк грузно развернул башню и изрыгнул в сторону засады осколочный снаряд, который разнес в щебень несколько скальных обломков, затем другой, третий, пятый... Витька сбился со счета от грохота, от вони сгоревшего пороха. От напряженного поиска мишеней болели глаза, и он стрелял наугад, едва успевая сменять магазины.

Танк, лязгая металлом гусениц, отполз назад, развернулся и пошел в конец колонны, чтобы оттуда достать врага. Набрал скорость, отдавая залегших солдат копытю сгоревшего топлива, заспешил к выбранному месту, но вдруг споткнулся, клюнув стволом, на гулко бумкнувшей мине. Наступила мгновенная тишина, такая, которая наступает неизвестно из-за чего среди большого скопления людей, когда каждый говорил о своем и вдруг враз замолкают все. Танк стоял большой, темный. Ни один люк не лязгнул в тишине. Поползли струйки дыма. Звериный рык радости донесся сверху, а вместе с ним бой вспыхнул с новой силой. Духи, воспрянувшие с гибелью танка, вновь поверили в свои силы и усилили натиск. Почти все машины уже дымились. Отпор со стороны солдат ослаб. Прапорщик пробежал, прополз вдоль колонны, собирая солдат, оставшихся в живых, расставляя на новые места, показывая каждому свой сектор обстрела, ободряя. Витька слышал, как радист, захлебываясь, орал, передавал просьбу поддерживать «вертушками»:

- Ведь задолбят же, задолбят!..

Волна от ужасного взрыва подбросила Витьку, перевернула набок «Урал». Санитарный «ГАЗ-66» подпрыгнул, как мячик, но все же встал на колеса. Взорванный своими же боеприпасами танк пылал ярким костром. Сквозь рваное «окно» в броне выхлестнулись языки жаркого пламени. Не помня себя от страха, Витька вскочил с земли, бросив автомат, и побежал



к санитарной машине. Горячий металл двери обжег руки, но Витька, не обращая на это внимания, рванул ее на себя, вскочил на место водителя и бросил машину вперед на спасительную дорогу. Он жал и жал на педаль газа, пригибаясь к рулю от рвавших кабину пуль, угадывая не глазами, а чутьем, куда крутануть руль, потом свернул за крутой поворот, ощутив телом, руками, что сбил кого-то и, переехав колесами, поехал по пустынной серой дороге. Ехал долго, до самого рассвета, до последней капли бензина в баке. Когда машина стала, выскочил из кабины и пошел навстречу поднимающемуся из-за вышек складов ГСМ солнцу. Эти вышки хорошо были знакомы Витьке, почти полгода стоял на них в охранении, пока не пришло его время сесть за руль.

Шел Витька прямо, глубоко в карманы бушлата засунув руки, зажав в кулаке кусочек отполированного временем дерева. Шел к своим. В голове стояли звон, грохот, шум боя, а сердце радостно сжималось: жив я, ЖИВ!

У командира он докладывал особистам, что колонна погибла, в живых один он остался, да в кунге брошенной на дороге машины лежит тело погибшего лейтенанта - начальника колонны.

Отпустили Витьку помыться, поесть, отдохнуть. Вышел он на воздух, закурил, поверил ведь сам в то, что наговорил сейчас. Да и как же можно было выжить в том аду? Нет, все он верно сказал, что уж теперь! Совсем собрался идти солдат, да услышал через тонкие стенки командирской палатки хрип и свист рации и пробивающийся надорванный голос:

- ...Ждем «вертушки», колонны больше нет... Нас здесь семеро... Нападение отбили... Уйти не на чем, гад один ушел на последней машине!

- Ну и сука, - промелькнуло в голове у Витьки. - Товарищей бросил! - и тут же он чуть не упал оглушенный, ошпаренный, раздавленной одной только мыслью - это его колонна хрипит и просит помощи. Это его товарищи отбились от духов, а гад, который ушел, это и есть он сам, а докладывает по рации прапорщик Воронин.

Незрячий от страха, оступевший от неожиданности, на мягких подгибающихся ногах пошел Витька в ротную палатку, уже понимая, что натворил и что будет дальше, ожидая, как выстрела, окрика в спину. Не было окрика. Деловито, равнодушно его арестовал дежурный по полку офицер, и два недавних товарища из соседнего взвода отвели его на гауптвахту. Ничем не выразили ни презрения, ни ненависти. Военный суд рассудит. Даже обыскали небрежно.

«Трус - предатель, трус - предатель», - пульсировало в мозгу и во всем теле арестованного Витьки Смирнова. От этого



да еще от жгучего ощущения, что жизнь его такой ценой была спасена, стонал, плакал, метался Витька.

- Прощения просить! - подсказало сознание детсадовскую и школьную выучалочку.

- У кого? - рассудил взрослый опыт. - У погибших? У погибающих ребят? У тех, с которыми так горячо спорил о предательстве, по-комсомольски, по-комсоровски, не оставляя ни единого шанса на прощение?

Заскрипел зубами, сжал кулаки до побелевших пальцев и ощутил боль в правой ладони. Разжал кулак и увидел ладанку-оберег, которую при обыске не заметили.

- У Бога! Помощи и прощения! - развернул кожаный ремешок, взгляделся в изображение: - Нет, почти ничего не видно. Хотя - вот лицо. Нет, это не лицо. Это глаза - суровые, осуждающие. Чьи? Господа? Совести? Прапорщика Воронина, отбившего Витьку у накурившихся анаши «стариков»? Может быть, это его глаза?.. А может, Витькиного соседа через койку, соседа по казарме Илюхи Дюжева, бывшего в той проклятой колонне и, может быть, еще живого?

- А ведь если бы я не сбежал, точно бы живы были хотя бы семеро, - огненным стержнем пронзило Витьку. - Нет мне пощады! И огонь этот, пройдя через макушку, мозг, сердце, ноги, уйдя в песчаный пол «губы», как-то сразу все сжег, успокоил, оставил только черный пепел внутри...

- Вашу мать! - бесновался подполковник Макушев. - Кто обыск производил?

- Виноват! Виноват! - растерянно повторял дежурный по полку майор Ковров, время от времени скашивая глаза на стол, на котором лежал образец-ладанка. Сыромятный кожаный шнур в одном месте был разрезан, потому что его никак не могли снять с распухшей шеи удавившегося Витьки Смирнова.

Глава 5. СТАНИЧНИКИ

- ...дружескому афганскому народу, исполняя свой интернациональный долг. И хотя силы, оппозиционные законному правительству Демократической Республики Афганистан, во главе с...

Санька крутнул ручку настройки приемника с московской волны и выключил рацию. Четвертый день долбали их то ли «оппозиционные законному правительству силы», то ли «дружественный афганский народ».

Это только поначалу ему казалось, что отправили исполнять интернациональный долг. Думалось ему, что встречать



его будут хлебом-солью, бананами-апельсинами и чем-то еще экзотическим, что там у них еще есть на непонятной афганской земле, аксакалами-саксаулами, что ли? И мнилось ему, что нести он, Санька, будет не боевую, с атаками, стрельбой и смертью службу, а мирную, охранную у какого-нибудь объекта. А так как станичник Санька вообще представления не имел ни о земле Афганистана, ни о пустыне, ни о барханах, ни о кишлаках-дувалах, то чудился ему обычный полевой стан в степи, и в сладких грезах мальчишки-девственника подходила к нему - герою на пост вечером афганская девчонка, приносила парного молока с краюхой свежего белого хлеба. Только вот черт его знает, есть ли коровы-то хоть у них?! При этом афганочка обязательно смотрела на Саньку громадными темными глазами с восхищением и любовью. А лицом она почему-то была похожа как две капли воды на Ирину - дочь председателя колхоза, смуглую, стройную красавицу. И дальше в грезах Саньки шла такая сладкая чушь, что он сам себя обрывал и оглядывался, краснея, не слышал ли кто, как губами чмокнул Санька вслух.

Афган обрушился на него в первый же день пребывания на этой адской земле, круша, коверкая, калеча, выворачивая наизнанку все Санькины пять чувств и все его идиотские выдумки. Как рай отличается от ада, черное от белого, «Икарус» от «барбухайки», так же отличалась действительность от его выдумок.

Сашка вздохнул, щелкнул тумблером рации и прислушался к тому, как снаружи радиокунга поднимается ветер-афганец, песчинками бьющий в фанерный бок. Больше похожий на песчаную бурю, чем на ветер. Ах, как ненавидел его Санька! Этот ветер будил в нем тоску по дому - самую острую и болезненную для солдата.

В такие дни Санька пел казачьи песни, которых много на его родной донской земле поют целыми станицами, которые с детства знает любой пацан станичный. Эти песни, то лихие с присвистом, удалью и притопом, то тихие и грустные, пели по вечерам и в Санькиной станице, они же доносились от соседней, с противоположного берега Дона. И, казалось, сама душа этой земли выводит красивым многоголосьем нежно-нежно и величаво:

- Ох уж ты, батюшка наш -

Дон Иванович.

Ой, да православный ты, наш Дон,

Да, Дон,

Дон Иванович...

Тихо, не в полный голос, чтобы не растерять нежности, Санька поет эту песню, когда совсем невмочь от шелеста песчинок и свирепого воя бури. Кажется ему, Саньке, что неторо-



пливая, величальная песня плавно, как воды Дона, проплывает над пыльно-каменистым Афганистаном, над чахлой, выжженной землей...

Сам Санька не радист, а механик, один из тех, кто во время следования колонны автомобилей по «дружественной территории» помогает поставить машину на колеса, если она попадет на мину или же будет обстреляна. Правда, редко удавалось восстановить машину - она не птица Феникс, из пепла не восстанет.

Дружок - ростовчанин Юрка позволял иногда повертеть ручку настройки приемника, может, повезет поймать ростовскую волну. Удача, конечно, редкостная, но возможная, потому что приемник в полку мощный. Но не всегда это можно было. Война! Рация должна постоянно быть занята военной работой. Поэтому Санька забегал еще и попеть хотя бы немного, потихоньку, хоть так - душой коснуться земли родной.

Санька поет, а Юрка тихонько подтягивает так, как пели их предки - донские казаки, мыслями, сердцем переносясь в родные станицы, родившие их, воспитавшие бесстрашными, ловкими, привившие им любовь к хлебным привольным степям, разнотравью, лошадям, к вольному гордому краю.

Тосковал Санька редко. Обычно в ротной палатке, на отдыхе брал в руки гитару и пел «на потребу публики» разные песни: веселые, шуточные, даже и похабные прибалтненные, прославляющие удаль и ухарство ростовских жиганов - откровенно тюремный фольклор. Но когда не было долго писем из дома, когда погибал дружок из автобата или когда поднимался сволочной «афганец», тогда Санька «а капелло», то есть без гитары, пел эту свою песню родной земли.

*- Ой да растерял наш Дон
Сыновей своих,
Ой да растерял, да ты,
Наш Дон,
Да, Дон,
Ясных соколов своих...*

Выводил, закрыв глаза, чисто и ясно Санька, и все притихали, понимая, что у него тоска, и, уважая это чувство, слушали. Слушали краснодарец Вовка Дацко, ставрополец Димка Соколов, даже хитрый верткий узбек Марат Касымжанов, никогда не унывающий, веселый, и тот притихал, слушал, думал о чем-то своем.

Только один циничный, туповатый, здоровенный Ефим Качин, успешный, по его словам, оттянуть небольшой срок за «хулиганку», не имеющий за душой ничего святого, шипел недовольно:

- Во, блин, развылся! - и, считаясь с волей большинства, выходил из палатки, ворча: - Цыплек! Слюни распустил. Казак



сранный. К мамке на колени захотел. Здесь тебе не тама. Здесь тебе Афган, мать твою...

Но когда Санька брал гитару, он был тут как тут. Гоготал и краснел широкой рожой от удовольствия, начинал кому-нибудь рассказывать о своих доармейских похождениях в Донецке, откуда был родом. Поэтому Санька, чувствуя тоску, перестал петь казачьи песни в палатке, а уходил к Юрке, братке, земле ростовскому. Война быстро знакомит, а тут еще и дух землячества...

- Сань, спой еще, - просил Юрка. - Вот эту, знаешь?

- Не, у нас такую не поют...

- Вот вернемся домой, сначала ко мне поедем. С родителями познакомлю, стол накроем, попоем, заодно и эту выучишь.

- А потом, через Дон, ко мне, - подхватил Санька. - У меня бати нет, только мамка. Но стол тоже накроем, песню споем, на конях поскачем. Эх... А дай-ка, братка, закурить, ох и заломило меня по дому!

Оба затягивались и мечтали:

- В Дону купнемся, а, Юрок, наперегонки, да?!

- Да...

Давно обменялись адресами и домой написали:

- Вот, братка у меня появился, приеду, познакомлю...

Ходили упорные слухи о готовящемся выводе войск из Афганистана, и «духи», почувствовав какую-то слабину в позиции советского правительства и поддержку мирового сообщества, стали более дерзкими, совершали глубокие рейды в расположения гарнизонов контингента, выживая, выбивая, вытесняя, вырезая шурави, гоня их со своей земли. Бей неверных!

Санька вздохнул:

- Ну что, Юрок, давай еще по одной закурим, а то я свои в роте оставил.

Юрка потянулся, достал из кармана пачку, поковырялся в ней и сокрушенно покачал головой:

- Сань, нету, кончились. Может, в роту сгоняешь?

Пригибаясь, придерживая на голове панаму, чтобы не унесло, Санька сбегал быстро. Возвращаясь с сигаретами, шел на ветер, закрывал от песчинок лицо локтем и не увидел, что дверь радиоузла висит на одной петле...

Первым их обнаружил дежурный офицер, зашедший в кунг радиосвязи примерно через полчаса. Юрка лежал головой на панели радиостанции. Впечатление было, что он задремал, слушая музыку из наушников, если бы не глубокая рана под левой лопаткой, да не кровь из перерезанного горла, залившая все вокруг. На полу лежал Санька лицом вниз, своей кровью смешавшись с Юркиной, став его кровным братом по-



сле смерти, так и не донеся братке своему выпавшую из руки, раздавленную душманской ногой пачку «Памира».

Взяли у матери на службу веселого казачонка, песенника, конника, ловкого смелого парнишку. Вернули матери ледяной, бездушный цинковый «Груз-200». Когда на свежей могиле расправили ленты венков, уложили цветы, с другого берега Дона до убитой горем матери донес ветер, а может, Санькина душа тихим шелестом тронула наступившую тишину:

- *Ой да, растерял, да, ты, наш Дон...*

Ясных соколов своих...

На место погибших Юрки и Саньки пополнением прибыли молодые и, вскоре освоившись, один из них, занявший Санькино место, с вывертом, ловко подхватил его гитару и, дернув струны, немзыкально заорал:

- *Ой, за-гу-за-гу-загулял, загулял*

Мальчонка, да парень молодой, молодой...

Тинькнув, закачалась золотой спиралью струна, оборваная тяжелой рукой Ефима Качина, который не прошептал даже, а выдохнул:

- Чтобы я, падло, не видел тебя и не слышал больше, а гитару лапнешь еще раз - удавлю. Понял?!

- Понял, - пролепетал молодой солдат, испуганно глядя на катящиеся по широкому красному лицу Ефима слезы.

В наступившей пронзительной тишине стало слышно, как снаружи бил песчинками в брезент неутомимый ветер-афганец, больше похожий на песчаную бурю, чем на ветер, наводящий тоску по дому, самую острую и болезненную для солдата.

Глава 6. ЧЕРЕПАШКА

- Ха-ха-ха! - заливались, хлопая друг друга по спинам, как запорожцы, пишущие письмо султану, старослужащие солдаты. Утирали слезы, набегавшие на глаза от неудержимого хохота, и подбадривали Пашку:

- Ну-ну! Висишь ты!..

- Так заметьте, на руках вишу! Ногами уперся, задницу отставил. За балконом. Гольий, как Адам... Сейчас, думаю, сорвусь! В это время ее муж к окну подошел, и в это же время этажом ниже женщина на балкон вышла на звезды посмотреть. Глянула вверх, а там... не звезды над ней висят, а...

- Обожди! - синели от смеха пацаны, валясь друг на друга. - Обожди, дай отсмеяться!

Пашка был незаменимым хохмачом во всем полку. Послушать его истории о «рейдах» по женщинам собирались многие уставшие от грязи, боли и войны люди. Пашка был в глазах благодарных слушателей героем, не знающим отказа, име-



ющим оглушительный успех у женщин, гусаром, искателем приключений, попадающим в смешные ситуации и с честью и ловкостью из них выходящим.

В его неотразимости и первенстве не сомневались, как и в этой истории, когда, убегая от мужа одной женщины, он попал в объятия другой.

Смеялись там, где смешно, притихали, когда рассказ шел об интимном, и, конечно, эти байки были великолепной разрядкой для человеческой психики. Смеялись от души, истерически всхлипывая, басили и взвизгивали сорванными голосовыми связками, катались в пыли, не в силах удержаться вертикально, утыкались короткостриженными головами друг в друга и хохотали, хохотали, хохотали, превращаясь в эти редкие минуты в простых мальчишек, каких полно в каждом дворе в городах и селах. И забывали мальчишки в эти моменты о пройденных тропах войны и о тех дорогах, которые далеко не каждому дано будет пройти до конца в Афганистане. Смеялись до колик в боку. Но, наверное, полопались бы совершенно, а скорее всего, не поверили бы, если бы Пашка признался, что на самом-то деле у него была одна-единственная девчонка. Да и то едва-едва целованная.

В городишке, где до армии жил Пашка, каток заливали каждую зиму. Девчонки и мальчишки, парни и девушки, степенные взрослые, сменяя друг друга, весело звенели металлом с утра до вечера. Таким удовольствием, радостью веяло от катающихся, что Пашка, уже будучи студентом техникума, пересилил стыдливость и во что бы то ни стало решил как можно быстрее научиться кататься на коньках. Прежде, пока был жив отец, он вместе с ним сколько-то раз поковылял по льду, но толком кататься не научился. А теперь зависть взяла. Музыка, разноцветные огоньки, красивые люди. Зимняя сказка! Дух захватывает!

- Да что я, хуже других, что ли! - стиснул зубы Пашка. - Начусь!

На разъезжающих ногах выбрался на лед и, конечно, со всего маху плашмя упал. Раз, другой, третий. Устав от падений и ушибов, добрался до ближайшей лавочки и, только когда с облегчением шлепнулся на нее, увидел, что рядом с ним, уткнув лицо в белые пушистые варежки, о чем-то плачет девушка.

Нет, страшного ничего, просто больно ударились, но вот и повод ее, прихрамывающую, проводить до дома. Настя жила у тетки во время учебы. Училась (вот чудо!) в том же техникуме, только не на механическом отделении, как Пашка, а на технологическом, и курсом младше, поэтому они и не встретились в техникуме - у каждого отделения были свои учебные помеще-



ния. Пашка проводил девушку и ушел домой взволнованный, смущенный, влюбленный.

Встречались до весны. Катались на коньках, ходили в кино, бродили по улицам, вложив ладонь в ладонь, целовались. Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы однажды вечером Пашка не обнаружил в почтовом ящике квадратик суровой серо-белой бумаги. ПОВЕСТКА кратко, по-военному, гласила, что необходимо явиться такого-то числа, в такой-то кабинет в городской военной комиссариат по вопросу призыва на срочную службу в ряды Советской армии. Видимо, праздничные дни помешали доставить повестку раньше, и осталось Пашке на все про все 3 дня.

Изумленно-растерянные глаза Насти: «Тебе... завтра... как же так?».

- Да вот так...

Слезы матери: «Сынок, да как же я без тебя?!».

- Да уж, как и все....

Совершенно неожиданно служить понравилось. Курс молодого бойца проходили в непосредственной близости от границы с Афганистаном в летном полку в поселке Кокайты, расположенном в пустыне. Покорили экзотика, звучность непривычных названий населенных пунктов: Термез, Кушка, Самарканд, расположенных, по расчету Пашки, неподалеку от кишлака и гарнизона. Поразили обилие и дешевизна базаров. Огромные мясистые помидоры, сладчайшие арбузы, дыни, виноград, гранаты - все это было в сказочном, неправдашном изобилии на местном базарчике и служило прекрасным дополнительным пайком. За свои, правда, деньги, но после солдатской столовой, грязной и неухоженной, с невыносимо гадкой жратвой, этот доппаек был отличным утешением. Были проблемы и посложнее. Старослужащие, «деды», откровенно по-хамски относились к молодым солдатам, грабили, избивали, издевались. Пашка после потасовок с ними размышлял, отчего они такие злые. И внезапно понял, что это «деды» от чувства собственной неполноценности лютуют. После курса молодого бойца всех отправляют туда, за речку, в чужую воюющую страну и, значит, оказывают особое доверие как избранным, а они остаются, вроде как брак! Найдя такое объяснение, легче стало у Пашки на душе. Даже почувствовал превосходство над «дембелями», скоро уходящими домой, над черпаками, которым еще год трубить здесь, в этом загаженном предвоенном гарнизоне, над стариками, впереди у которых полгода службы на пересылке.

Напротив солдатских казарм белели двухэтажные дома офицерских семей, ДОСы, из которых по вечерам и ночам доносились музыка, пьяные голоса, шум драк, а то и стрельба,



когда какой-нибудь запыленный офицер внезапно прилетал с той стороны границы по каким-то военным делам и заставлял свою благоверную не совсем одну и не совсем в приличной позе.

То, что гарнизон приграничный, подтверждали патрули, которые выходили на дежурство, вооруженные автоматами и гранатами. На аэродроме, где приходилось работать «салагам», таким как Пашка, то и дело взмывали вверх или тяжело плюхались на взлетку самолеты. Приходилось грузить «Илы» и «Аны» тяжеленными ящиками с автоматами, патронами, снарядами, бомбами. Разгружали так же и серые самолеты с подпалинами по бокам, какие-то безрадостные, поблекшие, не имеющие привычного авиационного блеска и лоска. Носили солдаты из глубины летающих громадин длинные неподъемные ящики, перетаскивая их вшестером, а то и по восемь человек. Долго не могли понять, что значат таинственные слова летчиков, спускающихся устало на бетон аэродрома:

- «Груз-200». «Черный тюльпан»!

Ребята поняли, что это такое, когда уронили один ящик. Доски с одного края разошлись, обнажив цинковый угол. Гробы. Цинковые гробы! Последняя посылка домой!

В груди похолодело. Пашка навсегда запомнил тревожное, долго не покидающее чувство бессилия перед судьбой. И чтобы победить, не поддаться, может быть, даже перехитрить ее, Пашка отыскал в себе дар хохмача и балагура. Позже, уже в Афгане, этот дар развился, даря облегчение не только Пашке, но и всем желающим его послушать.

Первую историю, придуманную от начала до конца, Пашка рассказал солдатам из учебной роты подавленным от сознания скорого, дня через два, отправления в Афганистан. Рассказ получился удачный, повеселевшие бойцы хохотали, смаковали подробности, успокаивались, мечтая совершить подобные подвиги на далекой еще пока гражданке.

Пашка ловил себя на мысли, что подчас увлекается и сам начинает верить в свои рассказы.

Поддерживать репутацию легкого и веселого человека уже в Афганистане помогала... черепашка. Обычная песчаная черепашка, которых много в пустыне. Появилась она со своей, особой историей.

Приказ был - сбить духов со скал, стоявших у входа в ущелье. Скалы торчали, как гнилые, обломанные зубы, прикрывающие смрадный рот. Моджахеды установили с обеих сторон по миномету и пулемету и безнаказанно гробили взвод за взводом. «Вертушки» беспомощно кружились над местом засады. Толстые стены горного монолита только взвизгивали



насмешливым хохотом отбитой взрывом щебенки, не пускали в глубь пещер, оберегали от смерти бородатых сынов Аллаха.

Взводом то бежали, то ползли вверх, скатываясь неуклюже по каменистой осыпи сапогами, впиваясь пальцами в серые складки гранита. Медленно, но все же приближались с обратной стороны к засевающим в укрытии душманам. При этом все время помнили, что их маневр прикрывают своими жизнями парни их роты, и неизвестно, сколько их уже полегло и сколько еще живы.

Духи почуяли что-то неладное, и на вершине скалы мелькнули одинокие головы в национальных афганских шапках, похожих то ли на грибы, то ли на плоские камни. Увидели. Открыли огонь. Солдаты старались укрыться. Вжимались в морщины склона, все же продвигаясь к засаде.

Пашка юркнул за камень в тот момент, когда посланная в него пуля жутко хрипнула над головой и со свистом унеслась в пустыню. Тут же выглянул и поймал в прорезь прицельной планки голову духа, который уже выискивал другую цель. Пашка, удерживая рвущееся от усталости сердце, плавно нажал на курок автомата. Так стреляют одиночными выстрелами, но никак не очередями. Вспорхнули дрогнувшей струйкой кусочки свинца, ударили в выметнувшееся тело душмана, шмякнули его о стену и плавно сбросили вниз.

Пашка пробежал вперед, за остальными ребятами, прячась от усилившегося обстрела. Когда удалось сделать удачную перебежку, укрылся за пригорком. Выронил, меняя, рожок в раскаленном автомате и, потянувшись за ним, вдруг увидел черепашку. Она, скользя и съезжая по склону рядом с Пашкой, царапая беспомощно лапками осыпь, настолько комично была похожа на него самого, что он бессознательно схватил ее и сунул за пазуху, под бронезилет, тут же начисто о ней забыв. В аду боя до черепахи ли?

Одним из первых Пашка добрался до черного провала пещеры, откуда с грохотом и визгом вылетала смерть на головы шурави. Опережая ненамного лейтенанта Гвоздилина, командира взвода, Пашка сдернул кольцо «эргэдэшки» и швырнул ее под свод пещеры. Гукнул взрыв, вырывая из укрытия рев и вонючую пыль. Пашка с лейтенантом змеями скользнули вниз, поливая ядом автоматов все пространство пещерки... С их стороны ущелья наступила тишина...

Вскоре затихло и с другой стороны. Колонна натужно ревущих автоматами, выдыхая соляркой, облегченно втягивалась в ущелье.

Позже, на привале, Пашка сам обалдел, увидев, как из-под снятого пропотевшего бронезилета на расстеленную для сна шинель вывалилась невзрачная его боевая подруга. Со сме-



хом он подхватил ее на руки и, обыгрывая свою забывчивость, рассказал ребятам, как они встретились.

Позже он понял, чем еще понравилось ему животное. Черепашка разъезжалась лапками так же уморительно, как он сам на давнишнем катке. И накатила тоска, стискивая сердце, наполняя его любовью к маме и Настеньке.

Проведенную боевую операцию командование оценило высоко. Пашка и взводный Гвоздилин получили по ордену Красной Звезды, остальные ребята, кто - медаль «За боевые заслуги», кто - «За отвагу». Нашли возможность «обмыть» награды. А когда уже крепко подпили, Пашку осенило:

- Мужики, а мы ведь с подружкой на двоих орден-то получили!

Под общий хохот Пашка достал черепашку из патронного цинка, устеленного по дну горной травой и песком. Нашелся кусок синей изоляенты. На спинку черепахи под громкие аплодисменты солдат Пашка прикрепил свой тускло-красный новенький орден. Старший сержант Солодовников Димка, дурачась, подскочил с кружкой спирта в руке, вытянулся по стойке смирно и, чеканя слова, торжественно начал:

- От имени правительства СССР за боевые заслуги... - потом сбился. - Стоп! А как героя-то зовут?!

Пашка, не задумываясь, выпалил самое дорогое для него имя:

- Настенька! - и густо покраснел.

- Э-э-э, брат, - притихли все. - Это еще кто?

В первый раз Пашка сбился и что-то забормотал. Путаясь, рассказал какую-то историю, но не складно и не смешно, как обычно. Оборвал себя, прикинувшись чрезмерно выпившим, и вышел из ротной палатки. Ребята деликатно промолчали, «доставать» расспросами не стали, забренчали на разохшейся гитаре, и до отбоя черепашка, получившая награду и имя, забавляла всех, ползая по жести стола, мокрой от пролитого спирта, потешно оскальзываясь на гладком железе и гордо вскидывая голову.

Полюбил Пашка черепашку Настеньку, как можно полюбить только на войне. Да и остальные баловали ее, как могли. В армии рады любому, даже самому незатейливому развлечению. Когда тоска присасывалась черным мохнатым пауком к самому сердцу, Пашка доставал черепашку, ставил ее на «лед» стола «покататься на катке». Черепаха скользила мягкими коготками, вызывая новые сравнения, шутки, одобрения со стороны товарищей. Ласковели сердца, мягче становились души, светлели лица. Пашкино имя так соблазнительно рифмовалось со словом «черепашка», что иначе как Пашка-черепашка теперь его никто не называл. Ему это нравилось, потому что черепаха носила имя его Настеньки, и это сближало его с дале-



кой девушкой. Да и такое обращение к нему уж гораздо лучше, чем «ишак», как к нелюдимому могучему башкиру Хусаинову, или «чурбан», как до сих пор плохо понимающему и говорящему по-русски татарину Кабиру Райимжанову.

- Ну почему «чурбан»?! - возмущался непонятной злобностью солдат Пашка. - Ведь хороший же парень Кабир! Вы бы по-татарски как говорили?

Даже раз подрался из-за этого с поваром из офицерской столовой. Кабир так высоко оценил внимание популярного Пашки, что, стараясь отплатить ему взаимностью, усердно ухаживал за черепашкой, за что и было ему одному разрешено выпускать животное на стол в отсутствие хозяина.

Кабир любовался черепашкой и, цокая языком, приговаривал:

- Якши, очень карашо! - и еще что-то говорил он на своем языке ласковое и непонятное.

Оставаясь дежурным, Кабир, выполнив обязательную работу, дожидался возвращения роты, выискивал среди всех Пашку, брал его за руку и, коверкая русские слова, рассказывал о том, что с Настенькой все в порядке, показывал на нее, чистенькую, сидящую на столе. Ох как хорошо и легко становилось на душе у Пашки, когда он, положив ладонь одной руки на теплый панцирь черепахи, другой рукой придерживал листы писем мамы и Насти. А потом писал длинные ответные письма. Туда, в мир и покой.

...Моджахед был немолодым, но крепким. Под кожей его оголенного до пояса, волосатого тела перекатывались тугие волны мышц. Пашка стоял против него, чуть расставив ноги, и напряженно следил за малейшим движением. Так вратарь перед штрафным ударом чутко ловит движение бьющего по мячу. Но там - игра. А здесь... Оба в руках держали по ножу. У душмана чуть искривленное лезвие кинжала было опущено вниз.

«Это чтобы вспороть меня, как овцу», промелькнуло в Пашкиной голове, «этак вот - снизу доверху».

В руке Пашка сжимал автоматный штык-нож, гораздо короче, чем у духа, и мало пригодный для рукопашного боя.

Случилось так, что он столкнулся с этим душманом, когда и у того, и у другого патронов уже не оставалось, и после секундного замешательства оба схватились за ножи.

У душмана было преимущество: он успел полоснуть Пашку по левому боку настолько сильно, что тот почувствовал, как лезвие скользнуло по ребрам. В ответ Пашка машинально выбросил руку вперед, но всего лишь зацепил тупым лезвием штык-ножа запястье душмана и всего лишь оцарапал



его. Пашка чувствовал, что дела его плохи, что, если не будет помощи, дух исполосует его на ремни. Левый бок наполнился кровью и болью, хотя горячка не давала особо чувствовать его. С разбухшей, разрезанной гимнастерки часто капала кровь, густо напитывая пыль у дувала захваченного кишлака. Рота продолжала бой где-то у окраины, было понятно, что рассчитывать на скорую помощь нельзя. Внезапно Пашку качнуло к теплой глиняной стене дувала, и он невольно прикрыл глаза от накатившей тошноты. Это решило исход боя. Дух гюрзой прыгнул вперед, собираясь одним взмахом перерезать горло шурави, по-видимому, теряющего сознание. Но, когда молния кинжала почти ударила русского солдата, Пашка резко присел, выдохнув от жалящей в мозг боли, и всадил по самую пластмассовую рукоятку штык в напряженное солнечное сплетение духа. Моджахед согнулся в дугу, захрипел, выгнулся в обратную сторону, гортанно прокричал невнятное: «А-алля...». Тело духа резко согнулось вперед, и, не выпуская из руки кинжала, душман рухнул к ногам обессиленного шурави, перевернувшись на бок, широко открывая рот, пытаясь вдохнуть глубже. Пашка осторожно присел на корточки, ощупывая свою рану. Душман лежал в пыли, повернув голову в сторону своего врага, и Пашке казалось, что он продолжает следить за ним приоткрытым пыльно-черным глазом. Солдат наклонился над побежденным, чтобы убедиться в его смерти, но тут же отпрянул назад, хрипя и булькая перерезанными острым кинжалом артериями и гортанью. Дух уронил теперь уже омертвевшую руку с ножом, что-то облегченно прошептал.

Пашка лежал на земле, пытался слабо оттолкнуться от нее спиной, чуть подергиваясь в такт пульсирующим волнам жизни, выходящим из глубокого разреза на горле. При этом он почему-то старался не выгибаться всем телом и не выворачивать ноги. Глупо, но в последние мгновения жизни яркой картинкой представило сознание, как они с Настенькой ездили однажды в деревню к ее родителям и попали как раз в тот день, когда ее отец резал кабана. Пашку неприятно поразило тогда, как кабан, булькая кровью, сучил ногами, пытался вскочить, но быстро слабеющие мышцы отказывались служить ему...

Картинка потускнела и, теряя яркость со скоростью вытекающей крови, угасла. Широко раскрытые глаза невидяще уперлись в выгоревшее небо, легкие послали последнюю каплю кислорода останавливающемуся сердцу...

Кабир дежурил на кухне, когда изрядно поредевшая рота вернулась с операции, и встретить Пашку не мог. Вернувшись из наряда, входя в палатку, Кабир почувствовал неладное. Он взглядывался каждому в лицо и тревожно спрашивал:



- Чырыпашка? Чырыпашка? - догадываясь, что нет уже больше Пашки, но при этом отказываясь верить в это, продолжая все тише спрашивать у солдат: - Чырыпашка?!.

Хмуро отводили глаза ребята, не хотелось отвечать растерянному маленькому татарчонку. Убили Пашку.

Поняв невозвратность случившегося, забился к себе в палатку и громко закричал Кабир, вспоминая Аллаха, шайтана, Пашку. Проходивший мимо повар, привлеченный вскрикиваниями Кабира, просунул голову в палатку.

- Чо разорался, чурка? Вон твоя черепаха! - и ткнул сытым пальцем в сторону обитого жестью стола, на котором, как на льду Пашкиного катка, трогательно скользила лапками одна-единственная из многих живущих в пустынях Афганистана черепашка Настенька.

Глава 7. ВОСТОЧНЫЙ БАЗАР

Этот афганский кишлак стоит на пересечении многовековых караванных путей, от него разбегаются и на нем заканчиваются, дороги, ведущие из Ирана, Пакистана, Туркмении, Таджикистана. С незапамятных времен здесь былолюдно, шумно, весело, богато так, как бывает только на Востоке. Прозрачные ткани, тонкие ароматы, приятный звон рупий, динаров, юаней придавали неповторимый восточный колорит кишлаку.

Караванщикам он щедро дарил долгожданный отдых, предоставляя прохладу зеленых садов, чистую холодную воду, вкуснейшие душистые лепешки и горячий рассыпчатый плов. На местном базаре шла оживленная торговля товарами со всех концов света. Веселые, красивые, смуглые лица, белозубые улыбки, пестрота одежд, характеров, обычаев.

На Востоке любят заниматься торговлей. Это нелегкое, но почетное и прибыльное занятие, уважаемое всеми. Торг доставляет наслаждение и продавцу, и покупателю. Это целое событие, состязание в остроумии, выдержке, ловкости, умения поладить к обоюдному удовольствию сторон и к взаимной выгоде. Здесь отлично знают силу денег, поэтому, умело торгуясь, можно купить и продать абсолютно все: начиная с булавок, продолжая человеком и заканчивая... звездой с неба. Отчего же не продать звезду, если на нее нашелся покупатель? Как он будет ею пользоваться? А это, извините, его проблемы! Он просил продать звезду - ему продали. О лестнице на небо пусть побеспокоится сам или просит Аллаха, чтобы тот сбросил эту звезду вниз.

Поэтому покупалось и продавалось на Востоке все, начиная с глотка чистой воды, стекающей с горных ледников, за-



канчивая кишлаком, по которому эта вода протекает уже мутным грязным арыком.

Такой простор для торговли и привлекал во все века продавцов и покупателей в места пересечения караванных путей. Много таких мест на Востоке. В одном из них и стоит этот кишлак.

Он же стоял костью в горле у командования контингента советских войск в Афганистане.

И вот почему.

Пришедшая на эту землю война, как страшная громадная птица Рух, черными крыльями разметала богатые мирные караваны, разбросала их по опасным узким горным тропам, превратив жизнь караванщиков в полунищенское существование. Но остались дороги, и остались кишлаки на пересечении тех дорог, и потянулись к ним еще более богатые караваны, но теперь уже военные, с грузом оружия или наркотиков.

Все можно продать и купить, если есть две заинтересованные стороны. Война? Покупай наркотики для солдат-шурави, покупай оружие - бей неверных! Только плати. А платили, принимая военный груз, очень щедро - долларами. К обоюдному удовольствию. Товар доставлен - деньги получены. Доволен и продавец, и покупатель. Утром каравану отправляться в обратный путь, а пока можно отдохнуть, поговорить. На Востоке высоко ценят умного тонкого собеседника. Может, кальян? Музыкантов? Женщину? Может, еще что-нибудь угодно купить? Продать? Этот кишлак? Солнце? Небо? Звезду с неба?.. Ха-ха!

А что? Шурави высоко оценивают этот кишлак! Восьмой год пытаются взять боем - и не могут. Нет-нет, можно не беспокоиться. Сюда пройдут только караваны, а шурави сюда хода нет. Аллах акбар! А, кроме того, вокруг кишлака хитроумное минное поле на два-три километра в радиусе. Много тысяч итальянских, американских и советских мин. Отсюда, из кишлака, замысловатыми тропами, проложенными между минами, разойдется по отрядам моджахедов оружие и другой товар, даст возможность уничтожить ненавистных шурави. Вот они и бесятся, пытаются, как только могут, взять кишлак, но мины... да и воины Аллаха не дают. Так что здесь находится безопасно. Бомбить авиацией не выгодно, они хотят взять центр пересечения дорог, чтобы владеть ситуацией в передвижении караванов. Десантников, которых сюда сбрасывали, всех рано или поздно отправляли на небеса, откуда они спускались, только бестелесными, а их тела в страшных голубых тельняшках позорно корчились под кинжалами правоверных, на колах на рыночной площади, под струями кипящего масла.



Аллах велик и милостив. У русских по этим минам специалистов много, но карты нет! Даже если правоверные «барсы» из Пешавара сами будут разминировать это поле, которое сами же и начинали, и то месяц-другой провозятся. У кого карта минных полей? Так ли это важно? Главное, что идут и идут караваны. Везут оружие, которым бьют шурави...

Да, сильнее и сильнее бьют советских солдат. Костью поперек горла стоит кишлак - а вот не взять!

Впрочем, скоро выяснилось, что войти в кишлак совсем не сложно.

К очередной годовщине Великого Октября верховное командование решило сделать подарок советскому народу и высшему руководству СССР. В штаб ТуркВО и ОКСВА из генштаба пришел приказ о взятии кишлака. Причем информация давала понять, что в случае удачи можно рассчитывать на Звезду Героя, дополнительные звезды на погоны и перевод в Союз на заманчивые теплые штабные места-должности.

В лоб не взять, уже пытались не раз. Надо было сменить тактику. И начались переговоры со старейшинами племен и командирами партизанских отрядов, которые сообщили, что за конкретную, разумеется, немалую, сумму они готовы увести в горы своих людей и не мешать проходу шурави. А потом видно будет. Других обязательств на себя не брали. Отчего же не продать, если нашелся покупатель? Что он будет делать со своей покупкой? Как войдет туда, если все проходы заминированы, а карты нет?

- А это проблемы покупателя, - сказали продавцы и, забрав деньги, честно ушли в горы.

Очень уж хотелось отличиться, перебраться в Союз покупателю подальше от смерти, поближе к покою.

Нет карты? Разминирование займет три месяца? Да вы что? Уже октябрь! Весь советский народ ждет подарка! Вы, что, все там, охрели? Обещайте солдатам отпуск, дембель, что хотите... И вообще, это приказ! А приказы, как известно, обсуждать можно, но опасно!

И погнались командиры солдат и себя на минные поля: кто, несколько не колеблясь, со словом «есть!», кто с матом сквозь скупые мужские слезы, кто с сомнением в голосе: «Надо, ребятки!», кто с угрозой трибунала. Да кто же ответит за все это? Кто же кровью умоется? Молчать! Что такое жизнь солдата по сравнению со звездой?! Ведь жизнь человеческая - это миг, это автограф падающей звезды в бездонном, прохладном небе. А звезда? Она будет светить всю мою жизнь мне и моим близким.

В мощные полевые бинокли командиры видели сквозь жаркое марево, как солдаты, пригибаясь, не шли, а крались, по ровным, нетронутым взрывами местам, осторожно ставя



ноги на землю, пытаясь попасть в след, который остался от прошедших вперед, смело наступая на рваные ямы минных разрывов, раскоряченные, изломанные трупы товарищей. Вздвигались огонь и камень прокаленной красной земли. Хорошо было видно в эти бинокли, как невидимыми пальцами гигантского скульптора, капризного и недовольного своей работой, словно глиняные фигурки, тела разрывало на части, раздавливало и швыряло с размаху оземь.

Следом двинулись сами, и видели теперь уже вблизи командира роты, который, надрывая сорванные голосовые связки, катался по пыльной земле, молотя кулаками по своей голове и по дороге, подтягивая к животу остатки оторванной ноги. Другой ротный с развороченными внутренностями хрипел подходящим к нему санитарам: «Нельзя... Нельзя сюда... Назад...» Но не услышали, не поняли командира санитары, не услышали страшного хрипа командира - взрыв расшвырял солдат.

Повсюду лежали обезноженные, с рваными ранами на руках, лицах, бились в пыли солдаты, в беспамятстве царапая землю, срывая до корней, до мяса ногти, наползая на другие, злобно и глухо бумкавшие под ними мины...

Такой способ разминирования оказался быстрым и эффективным - и вскоре победным маршем, как было доложено наверх, полк вошел в кишлак.

Отзвучали звонкие победные рапорты в Москве, порадовался подарку советский народ, нисколько не сомневающийся, что солдаты наши хлеб и лекарство раздают дружественному афганскому народу, каждый получил, что хотел. Прошел праздник Великого Октября. Спустились с трибуны Мавзолея высших рангов военные руководители. Как и было предусмотрено, через две недели остатки изорванного в клочья полка были вынуждены оставить кишлак «под ответным натиском превосходящих сил противника».

Некому было оказывать сопротивление, да и некем. Договор есть договор. Сделка есть сделка. Продал - купил. Гости вышли - хозяева вернулись.

Торг есть торг. Все можно продать и купить, купить и продать на Востоке, начиная с булавки, продолжая человеком, заканчивая звездой на небе.... Только нужно прийти к обоюдному согласию двум уважаемым сторонам. Продавцу и покупателю.

Не желаете ли чего-нибудь купить? Солнце? Небо? Звезду?

Глава 8. «БУРУНДУЧОК»

Военный гарнизон советских войск в Газни располагался в удивительном месте. Правда, то, что вокруг него находи-



лись старинные, как из арабских сказок, глинобитные крепости, в которых дислоцировались воинские части «зеленых», уже не удивляло советских солдат, а вызывало раздражение. До города, построенного в древнейшие времена на высокогорье, вела современная, отличная бетонная дорога. С вертолетных площадок хорошо просматривались домишки пригорода. Сам гарнизон окружен колючей проволочной спиралью под названием «егоза», что должно было служить защитой от проникновения врага. Человек, попадающий в кольца этой штуки, оказывался в колючем капкане, и выбраться из него мог только при помощи других, разрезающих кусачками слой за слоем опутывающую страдальца проволоку. Если пойманный пытался выпутаться сам, то любое его движение вызывало еще больший натиск ловушки и острые заржавленные шипы бездушно впивались и рвали тело. Но, увы, это не служило непреодолимой преградой. Бывало «духи» таскали с территории гарнизона солдат и подбрасывали в мешках отсеченные головы казненных. Поэтому приходилось быть предельно осторожными даже у себя «дома» в темное время суток, и особенно при переходе в туалеты, построенные, по понятным причинам, в дальнем углу территории. По правую сторону от гарнизона на небольшой площадке прилепилась афганская бензозаправка. Целый день к ней подъезжали «барбухайки», чудовищные подобия мотороллеров с невероятно огромными будками, накачивались топливом и разъезжались: кто в город, кто в сторону далекого Кабула. Руслан частенько сидел в тени, прислонившись спиной к прохладной бетонной стене блока, наблюдая за экзотической жизнью заправки. Двое босоногих пацанят в простых тубетейках с трудом двигали коромысло насоса, собирали деньги за бензин и устало сидели на корточках, когда не было клиентов. Толстый хозяин заправочной станции всегда сидел на веранде под брезентовым тентом, пил чай, утирал с лица пот, изредка привставал, прикладывая руку к сердцу, раскланивался со знатными клиентами и покрикивал на мальчишек.

Практически ежедневно духи из пригорода начинали обстреливать гарнизон минометным огнем, но не очень удачно и прицельно, а так, для острастки, пять-шесть раз пальнут - и сматываются. Продолжалось это до тех пор, пока начальник гарнизона, разъярившись, не повернул башни танков, охранявших советскую часть, стволами на пригород и не объявил через Царандой, что в случае повторения обстрела разнесет на хрен весь Газни. После чего стало относительно спокойно.

Вместо привычных армейских палаток или фанерных модулей солдаты жили в когда-то шикарной гостинице-блоке, построенной давным-давно англичанами. По оставшимся, не разворванным медным ручкам, украшенным узорами, по-



темневшим от времени, почему-то не отодранным от толстенных дверей, по медным светильникам-плафонам, висящим в полной темноте коридоров, по загаженным настенным фрескам можно было судить о былом богатстве здания. Гостиница имела контуры буквы «Ш». Продольная линия этой самой буквы тянулась параллельно дороге, а три поперечные были вытянуты в сторону близких гор и кишлака - пригорода Газни. В комнатах блока не было ни одного окна, только в коридорах днем четкими прямоугольниками сквозь длинные и узкие бойницы пробивались лучи солнца, укладываясь на выщербленный бетонный пол светлыми пятнами. Все три крыла занимали солдаты вперемешку с офицерами. По вечерам свет подавали с помощью движка, да и то ненадолго, если только не объявлялась тревога. Тянущийся вдоль всех коридоров по низким потолкам электропровод со временем обвис, оброс паутиной и кусками изоляенты цеплялся за лица проходивших. Прослужившие больше года имели и койки, и матрасы, а вновь прибывших размещали в пустых, замусоренных, прохладных комнатах, в которых спали вповалку на своих же шинелях или бушлатах. В одном из промежутков поперечин буквы «Ш» стояла полевая кухня, тут же под небом раскорячились старые, рассохшиеся длинные армейские столы, за которыми никто не сидел. Получали в алюминиевый котелок жратву и шли в облюбованные уголки, где спокойно можно было поесть, покурить и вздремнуть на сытый желудок.

Руслан попал в Газнийский гарнизон с пересылки в Шинданде. Там комплектовались новые расчеты для зенитных батарей. Находясь в Шинданде, Руслан постоянно ощущал чувство голода. За весь месяц, который провел на пересылке, ему раза четыре досталось по жалкому двадцатиграммовому кусочку сливочного масла, которое он безумно любил. А тут... На одном из раздолбанных столов стояла разорванная по сгибам картонная коробка, в которой подтаивал 20-килограммовый брус масла. На положенный по рации кусок белого хлеба каждый «отмахивал» штык-ножом столько масла, сколько душа пожелает. Руслан остановился в недоумении около скатерти-самобранки, не смея поверить в чудо, а не то что коснуться его. Повар, поняв его состояние, зло сплюнул сквозь щербатые зубы и подбодрил «чижика»:

- Бери-бери, жри, сколько хочешь. Еще шесть коробок есть. Руслан удивленно уставился на худющего повара.

- Дак холодилильников-то не держим, чай, - вновь зло сплюнул повар, - ща слопаем это маслице - и следующего жди до белых мух...

В другом промежутке между крыльями здания стояли армейские скамьи и у самого края крыльев блока торчали два врытых металлических столба. Руслан подумал: «Стран-



ное место для волейбольной площадки», но скоро понял, что ошибался в своей догадке. По вечерам на столбы натягивались сшитые между собой простыни, на которые кинемеханик жутко трещащим киноаппаратом проецировал фильмы. Собирались, рассаживались на скамейках, да и просто на земле, задолго до начала «киносанса» почти все, кроме, конечно, тех, кто в это время «тащил службу». Смотрели все подряд, что имелось под рукой у кинемеханика, по несколько раз, до следующего почтового вертолета, с которым привозили и почту, и фильмы. Двухсерийный «12 стульев» все уже знали вдоль и поперек, кинемеханик каким-то образом «замылил» коробки с лентой и, когда свежих фильмов не было, крутил «Остапа Бендера».

Скоро Руслан привык к жизни в гарнизоне, перезнакомился со всеми и стал присматриваться. Насмотревшись, начал приловчиться, как бы пожить, как бы заработать, чтобы не дешевыми иностранными побрякушками набить свой вещмешок, а, когда придет нескорый «дембель», приобрести что-нибудь посolidнее. Размышлял. И вскоре провернул свою первую операцию. Да так неудачно, что поздним вечером, после очередного просмотра «12 стульев», солдаты с батареей Руслана сидели кружком, курили и хохоча успокаивали его.

- Как продали? - непонимающе хлопал ресницами Руслан.
- Танк продали? Да ну, брешете!

- Тьфу! И не в первый раз!

- И за сколько же?

- Та! За пару кувшинов кишмишевки на экипаж. На большее танк не потянет, - совершенно спокойно рассказывал танкист - гость батареи.

- Да ну-у-у, - недоверчиво протянул Руслан. - Вас за это расстреляли бы!

- Балда! За что же стрелять-то? Танк - вон он, - танкист ткнул пальцем в темноту, где, и правда, стояла его машина. - Продавать уметь надо. А тебя Перчик просто надурил. Тут такое продают! А ты, считай, свои деньги просто ему подарил. Сколько? Сто, двести афошек? Ну ладно, не огорчайся, слушай.

И кое-как успокоившемуся Руслану рассказали, как продельвается несложная и веселая операция с продажей танка.

Танк, подогнанный задом к дувалу, предлагают хозяину как вещь абсолютно необходимую в хозяйстве, с самыми радужными перспективами на развитие этого самого хозяйства. Вспахать там, или, опять же, бельешко на стволе просушить, а то и от дождя или снега укрыться, там же и печка есть. Солдаты получают требуемый натуральный продукт в виде кишмишевки - отвратительного самогона, либо барана, либо то, чем может поступиться хозяин за диковинную покупку. Затем испрашивается разрешение нового хозяина на последнюю ночь



в танке, не на улице же ночевать. Афганец любовно примыкает попку, чтобы не украли, крепкой цепью к глиняной стене дувала и сладко спит, видя во сне те самые радужные перспективы. В это время барана съедают, самогон выпивают, анашу выкуривают. Под утро боевая машина, взревев и взметнув тучи пыли, увозит еще хмельных и сытых танкистов вместе с куском дувала и брэнчащей новенькой цепью, давно хранимой хозяином для особого случая. Ищи-свищи...

- Так то - танк! А ты, дурья голова, чего испугался?! Ладно, впредь умнее будешь! Таких, как ты, Перчик уже человек двести надурил, - танкист хлопнул задумавшегося Руслана по плечу.

Перчик - начальник интендантской службы части - прапорщик. Вообще-то его звали Василий Игнатьевич. Фамилия у него смешная - Перец. И похож он был на перец. Только не на стручковый, а на болгарский, сладкий. Толстенный украинец, на коротких ножках, с румянцем во всю щеку, очень жизнерадостный, он представлялся: «Прапорщик ПЭРЭЦ». Это он сегодня «нависал» над здоровенным Русланом и говорил страшное, совершенно не вяжущееся с его смешной внешностью:

- Стоять! В глаза смотреть! Отвечать!

Руслану было впору не стоять и отвечать, а провалиться сквозь землю.

- Сколько взял?

- Да вот... - мямлил растерянно Руслан и теребил в руках две засаленные бумажки по сто афгани.

- Да за это... Да тебя... - распаялся праведным гневом воина-интернационалиста Перчик, - на месяц на губу закатать надо. Негодяй!

- Товарищ прапорщик! Фотоаппарат мой. Я...

- Разговорчики! Советский солдат занимается наживой! Сейчас пойдем - я тебя начальнику гарнизона сдам под арест!

- Не надо, товарищ прапорщик! - совершенно сомлел Руслан и просительно-нелепо пробормотал: - Я... я больше не буду, - и чуть не разрыдался совсем по-детски от стыда и страха перед скорой карой за свой поступок, позорящий высокое звание воина-интернационалиста и так далее.

- Не надо! - вроде бы уже остывал Перчик, - а валюту-то куда девать?! - вновь добавил грозности прапорщик, с отвращением глядя на деньги, зажатые в потном кулаке солдата.

- Может, себе возьмете, а, товарищ прапорщик? - с робкой надеждой на помилование протянул Руслан.

- Я? Себе?! - Перчик чуть было вновь не взорвался в благородном негодовании. - Да ты... - и вновь смягчился. - Впрочем, ладно. Давай сюда. Пожалее тебя, молодого. Но впредь... Сдам сейчас деньги в кассу полка под отчет. Смотри мне, попадешь-ся еще раз, я тебе... Иди.



- Ну, Перчик! - смеялись солдаты. - Ты ему руки целовать не кинулся? Лопух! Послал бы его подальше, он бы и пошел. Под отчет! Сдохнуть можно! Ничего, мы тебя просветим.

Через месяц просвещенный товарищами Руслан уже спокойно и уверенно продал афганцам свое парадное обмундирование, зимнюю шапку и противогаз. Парадку покупали охотно - полушерстяная одежда, шапку - ясно. А вот на какой ляд афганцам противогаз, так никто и не смог понять до конца войны. Отчитываться за казенные вещи было просто. Парадка в Афгане только и нужна, когда демобилизуешься. Уходишь на дембель - с молодым поделись. Ты ему -свой жизненный опыт, он тебе с глубоким уважением -свою парадную форму. Остальное спишут, как утерянное в бою, или еще придумай что-нибудь. Тем более что с Перчиком можно было решить любые интендантские вопросы без занудства, допросов, за небольшую сумму в чеках или афшоках. Солдаты им были довольны, он имел от этого свой небольшой доход, и за то прощали его любимый фокус, который он проделывал с неопытными, подлавливая на торговле с афганцами и до смерти пугая.

Закрывали глаза. Ничего, терпимо. На дембель «упаковаться» Перчик поможет. Если доживешь до дембеля. А повезло, дожил - домой повезешь купленные на вырученные от продажи хорошие импортные вещи. Классные швейцарские часы, широкий магнитофон, модные джинсы, можно и куртку или плащ из тонкой лайковой кожи. Да мало ли может себе позволить человек с капиталом? Главная задача - потом суметь протащить все это через границу, где пограничники, таможенники, патрули всяческие обобрать норовят. Так вот, чтобы «раскрутиться» да поиметь все это, отчаянные головы продавали все: керосин, бензин, водку, если имелся канал получения, патроны, автоматы, гранаты - все, что в большинстве случаев приводило к печальным последствиям. Арест, суд военного трибунала, дисбат или тюрьма. Весельчаки надували афганцев, скорее, для развлечения, чем из корысти, «продавая» танки или батареи парового отопления. Операция не сложная. При строительстве или ремонте гарнизонных капитальных зданий (что вообще то было достаточно редко) снимали батареи, заменяя старые радиаторы на новые.

Радиатор, закрепленный в помещении, нагревает обычная горячая вода, поступающая в него по трубам. Откуда это может знать афганец, живущий практически в пустыне? В тех частях, где это можно было, железную «гармошку» наполняли кипятком, закупоривали и, пока горячая, продавали какому-нибудь бедолаге.



- Смотри! Пробуй! Что, хороша? Забирай, увози. Зимой тепло будет, дрова не нужны. Только смотри, осторожно обращайся!

Если кто-то приходил с жалобой - остыла, ругали:

- Тебя же предупреждали! Вот, взял и сломал!

Меняли, и уезжал несчастный, увозя в арбе «шайтан печку».

Шла и другая торговля. Продавали доски от упаковочных снаряжных ящиков, брусья от авиационной бомботары и целые ящики.

Афганцы с удовольствием брали идеальные первосортные звонкие доски от ящиков из-под нурсов, ящики из многослойной фанеры, из-под другой армейской всячины, куски жести от вертолетных контейнеров.

Вскоре Руслан сам смеялся над своими нелепыми страхами, над новыми неопытными продавцами, которые под грозный окрик Перчика отдавали ему вырученные «афошки». Более того, через некоторое время Руслан подружился с прапорщиком и стал помогать ему в некоторых торговых операциях. Однажды Руслан рассказал Перчику, что его так сильно испугало в день знакомства.

Фотоаппарат, который Руслан всучил афганцу, старенький «Вилия-авто», имел одно-единственное достоинство. Встроенный экспонометр. Афганцу так понравилась дергающаяся, как живая, от солнечного света стрелка, что он не увидел невосполнимый недостаток. Объектив фотоаппарата давно уже надломился, и Руслан укрепил его аккуратно пластилином. Во время торга старался не выпускать аппарат из рук. Наконец, когда афганец протянул деньги, Руслан закрыл футляр и отдал камеру. Тут бы скорее исчезнуть, но черт поднес хитрого прапора, который исподтишка следил за торгом.

- Вор у вора дубинку украл, - утирал слезы смеха Перчик. - Ты бы видел себя со стороны! В штаны не наложил? Это тебя Бог наказал!

Эх, знали бы они, как их обоих вскоре Бог накажет с помощью фотоаппарата!

Те, у кого была возможность, подторговывали, и довольно успешно, водкой. В первое время за бутылку можно было получить тысячу афгани. Понемногу Руслан «упаковывался», покупая в кантинах Газни вещи. Выбирал качественные шмотки, торговался с афганцами за каждый афгани, набрал «каламов» - чернильных ручек с золотым пером, парфюмерии мужской и женской, часов и теперь подбирался к трехкассетному монстру «Шарп», сияющему никелем и черным пластиком и стоящему столько, насколько выглядел. Так хотелось домой его привезти! Но дорогой, собака!



Когда Руслан поделился своей мечтой с Перцем, тот пред-
ложил:

- Слухай сюда, военный. Я наладил дорожку в соседнюю крепость к «зеленым». Там есть один старший офицер - капитан по-ихнему, так вот он забивал уже вопрос о покупке водки. Предложил покупать постоянно. Платить будет сразу по восемьсот афошек. Это за оптовые поставки. В розницу невыгодно: пока одну продашь - позеленеешь, страху натерпишься, а остальные выжрешь от расстройств, что такая продажа.

Договорились сегодня же вечером пойти в крепость и взять с собой пробный ящик. Да и что в самом деле сложного? Минут пятнадцать туда, как стемнеет, это с грузом. Полчаса - там, пять минут назад - налегке. Делов то! Риска - ноль, бабки - пополам! И Руслан «затарился» через своих землячков водкой. Из самой столицы - Кабула - привезли.

Пошли, когда уже совсем стемнело. Сумочка - мечта оккупанта. Руслану подумалось, что в нее можно при желании и Перчика упаковать. С красно-синими полосами по бокам, изображением самолетика, надписью «Аэрофлот» и тридцатью бутылками водки внутри.

Прошли через вертолетные площадки, обошли темную громаду танка и через неширокий язык пустыни добрались до ворот крепости. Часовой в воротах обалдело отдал честь входящим в крепость шурави, тем более что они козырнули первыми, в кои-то веки, почти строевым шагом, с тяжелой-то сумкой, промаршировав в ворота. Затем юркнули в прохладу коридора и быстро прошагали к той двери, которую указал, Перец.

Руслану сразу не понравилось, что кроме покупателя, в комнате находился еще один человек. Это еще кто?

Прапорщик показал водку, и офицер, одобрительно поцокав языком, начал отсчитывать деньги. Оба увлеченно следили глазами за тем, как купюры переходили из руки в руки, а Руслан начал выставлять бутылки на стол. Выставил уже двадцать бутылок, когда его внимание привлек негромкий щелчок. Он поднял глаза и обомлел. Прямо на него глядел объектив фотоаппарата. Да что там фотоаппарат! На лацкане гражданского пиджака у незаметного человека была прикреплена пластиковая небольшая карточка - бейдж. Руслан машинально поставил на стол еще две бутылки, пытаясь прочитать надпись на бейдже. Арабская вязь, какие-то иероглифы и ниже по-английски что-то похожее на «Асахи».

Корреспондент!

С идиотской ухмылкой на лице Руслан попятился в угол, где ничего не заметившие покупатель и продавец считали деньги, и, придвинувшись к Перчику, тихо прошептал:

- Дергаем! Быстро!



- Чего ты? - недовольно вскинул голову прапорщик и, проследив в направлении взгляда Руслана, повернулся прямехонько к объективу вторично щелкнувшего аппарата.

Подхватив зачем-то сумку с оставшейся водкой, Руслан уже громко завопил:

- Дергаем!

После секундной заминки, вихрем сметя покупателя, Руслан и Перец вылетели из комнаты, печально звякнув сумкой о косяк двери. Выбежали и растерялись. А отснятые кадры?! Руслан, стол с водкой, довольное лицо Перца с деньгами в руках. Докажи потом особистам, за что тебе передали деньги.

Все решилось за доли секунды.

Корреспондент хорошо спланировал свой репортаж. Первый кадр - русские выгружают водку. Второй - считают деньги. Не хватало третьего, завершающего - в панике убегают.

Репортер вылетел с камерой наготове вслед за русскими и как раз в них и уткнулся.

Прапорщик одной рукой цапнул фотоаппарат, другой толкнул корреспондента назад в комнату, прямо на выбегающего за остатками своей водки офицера. И пока эти двое барахтались на полу, толкаясь и мешая друг другу, Руслан и прапорщик рванули так, что успели пробежать через двор крепости и пулей пронестись мимо часового. Выбежав из крепости, Руслан отбросил в сторону чертову сумку, бьющую по ногам и, дрожа, сунулся к Перчику, который трясушимися руками пытался отстегнуть футляр, открыть камеру и выдернуть пленку. Получилось бы быстро, может, этим и закончилось. При свете луны не снимаешь. Но послышались крики преследователей из крепости. Испуганные этими криками Руслан и Перчик переглянулись и кинулись бежать вокруг крепости. Отчего-то подсознание Руслана заклинило мысль, что камеру нужно вернуть. Или водку? Или забрать остаток денег? Размышлять было некогда, и, вместо того чтобы отбежать в сторону, оба, как хорошие рысаки, помчались «нарезать» круги. Крепость не имела острых углов, которые нужно было огибать, поэтому бежали почти как по цирковой арене.

Цирк!

Заморский футляр никак не хотел расстегиваться. Где-то у него должна быть пимпочка, которая то ли отстегивается, то ли откручивается. Прапорщик пальцами скользил по коже футляра, сдирая ногти, и никак не мог эту пимпочку нащупать. Длиннорукий, длинноногий Руслан бестолково вертел головой на бегу, матерился и торопил Перчика.

Что-то завопил за их спинами выбравшийся из крепости и кинувшийся в погоню иностранный корреспондент. Он жалел уже не о сорвавшемся дорогом репортаже, а о дорогомстоящем фотоаппарате. Его крики только добавили прыти бе-



гущим фигурам - длинной и коротенькой. Из полосы, освещенной луной, забежали в тень, и Руслан, споткнувшись обо что-то, толкнул под локоть прапорщика. Камера, кувыркаясь, вылетела из рук Перца и приземлилась впереди бегущих, смачно звукнув объективом. Не останавливая бега, Руслан наподдал фотоаппарат носком ботинка. Камера пролетела вперед, и прапорщик подхватил ее не прерывая бега.

Поняв, что его драгоценность пострадала, взвыл сзади бегущий корреспондент. Фотоаппарат отозвался ему, весело брэнча разбитыми потрошками.

Хрен бы с ней, с камерой, но у нее внутри находилась пленка, кадры из которой могли привести под трибунал. Отлично это понимая, и с отчаянием услышав, что в крепости поднялась тревога, под окрики часовых на вышках: «Дриш! Дриш!», Руслан и Перец надали еще. Этакие залитые лунным светом Пат и Паташон, Тарапунька и Штепсель.

Было бы смешно...

Они совершенно одурели от бега, страха, шума. Тем более что не отставал потерявший голову от гибели камеры корреспондент.

Наконец-то!

Футляр летучей мышью полетел в репортера, который не поймал его и начал искать в темноте.

Оторвавшись от погони, Руслан и Перец наконец-то сообразили и юркнули в сторону от крепости, затаив рвущееся дыхание, шмыгнули в сторону танка и своего блока. В это время ворота крепости распахнулись, и из них выбежали солдаты - «зеленые», - подгоняемые своим офицером, преследующим восемь бутылок водки, за которые, впрочем, он еще не рассчитался. Выбежали со света в темноту и завертели головами, куда бежать-то?!

Правильно решив, что шурави побежали в сторону своей части, офицер лихо выкрикнул какую-то команду, на бегу обернувшись к своим солдатам, и со всего маху перелетел через отброшенную Русланом сумку. «Пропахав» в пыли на брюхе метра полтора, он попытался вскочить на ноги, но на него посыпались, как кули с мукой, бестолково кричащие, добывающие водку в сумке солдаты, верные своему командиру. В отчаянии заверещал офицер, успевший рассмотреть под ногами сорбозов при свете фонарика красно-синий с самолетиком бок сумки. Последний штрих в кучу-малу добавил врезавшийся в общий переполох иностранный репортер, продолжавший погоню за фотоаппаратом... Общие вопли и стоны переполошили еще и всех собак крепости. Оплеухи огорченного офицера смогли навести хоть какой-то порядок среди преследователей. При этом досталось и репортеру. Наверное, случайно. В общем, шумок стоял еще тот!



Утихли, добросовестно отслужившие свое собаки. Пропустив раскрасневшихся, растрепанных солдат вовнутрь, со скрипом закрылись ворота крепости.

Руслан с прапорщиком все никак не могли отдышаться, усмирить дрожь в руках и ногах, так что только через полчаса смогли заняться вещичкой, которая могла стать для них поопасней итальянской мины.

- Как думаете, товарищ прапорщик, от лунного света засветится? - растянув в руках гремучую змею пленки, спросил Руслан.

- Хрен ее знает! Ты у нас специалист по фотоделу. Импортная. Может, особая какая! Давай утра дождемся. На солнце уж точно почернеет.

Оба настолько ошалели, что не сообразили просто сжечь пленку. Спичками.

Добравшись до своей крепости, решили ждать утра. Разлеглись на сдвинутых лавках во дворе, отдышались, закурили.

- Товарищ прапорщик! Если бы пленка осталась, что бы было?

- О! Во-первых, жуткий скандал. Может, даже международный. Нас - под трибунал. Тебе - не знаю. Скорее, дисбат. А мне...

Помолчали, покурили.

- Спишь, солдат? Вот послушай! Мой отец долго жил в Сибири и мне рассказывал, - помолчал Перец, - бурундучка знаешь?

- Ну, зверек такой пушной. Полоски на спинке, - задремывая, отозвался Руслан.

- Во. Он чем-то чуть-чуть на белку похож. На зиму орешки запасает. Запасами и доживает до весны. Самое для него страшное - медведь-шатун. То ли люди шатуна из берлоги поднимут, то ли еще что, только он держится зимой тем, что из-под снега откопает. Сколько-то корешков, ягод. Жрать ему охота, и он, если находит бурундучковы припасы, пирует. Зверек убегает, а медведь грабит все подчистую.

Прапорщик замолчал, потом закурил еще одну сигарету, выпустил клуб дыма и вновь заговорил:

- Когда бурундучок возвращается, конечно, медведя уже и след простыл. Так эта тварюшка, вроде бы безмозглая, а делает вот что. Видит, что ничего не осталось, что до весны не дожить. Умирать медленной смертью не хочет, отыскивает подходящую развилку на дереве и вешается на ней...

- И что? - выдохнул Руслан, не ожидавший такой трагической развязки жизни зверька.

- Да то, что после статьи мне только бы осталось, что подыскать подходящую развилку.

Прапорщик дотянул окурок до конца и, отщелкнув его от себя, закончил:



- У меня дома, в Союзе, мать уже пять лет как парализованная лежит, двое детей, жену года полтора назад как похоронил - рак у нее был... А ты думал, я так хапаю, по натуре гнилой своей?..

- Н-н-не-е-ет, - растерянно-удивленно протянул Руслан.

- Ну, ладно, светает. Пленку прикончим - и айда.

Уже под солнечными лучами поняли, что пленку не спасет и святое провидение. Поделили с таким трудом полученные деньги, пожалы руки и побрели каждый в свою комнату.

Глава 10. ФАТЯ И ТАНДЕМ

Как только Жорка не вредил Федору!

Если за целый день не устроит никакой каверзы, хотя бы просто не обругает, считает, что день прошел зря.

Эта неприязнь началась с первого дня знакомства. Черт его знает с чего! Скорее всего, в память о детской стычке с деревенскими мальчишками.

Жорик - Георгий - истинно городской житель. Для него понятен шум широких проспектов, тишина и вдумчивость библиотек, грохот динамиков и безумство разноцветных прожекторов дискотек, парадность и праздничность концертных залов. Он легко разбирался в смысле и сущности классических произведений, любил таинственную узнаваемость любимых с детства музеев, с восьмого класса посвятил себя экзотическому спорту - каратэ и древневосточной философии. Выросший в интеллигентной семье, с детства получивший хорошее воспитание и знакомство с манерами высшего света, он с некоторой долей презрения относился к явлению, которое в России с незапамятных времен пренебрежительно называют «деревенщина». Георгий хорошо помнил те времена, когда он, городской мальчик, в черных шортиках, белой рубашечке, с обязательной бабочкой на тонкой шее, на чем непременно настаивал отец, появился в деревне у бабушки - маминной мамы. Помнил недоумение деревенских пацанов при появлении этакого бобочки на пыльной площадке перед селпо, куда он бездумно-радостно побежал за страстно любимыми им ирисками «Золотой ключик». Мальчишки с величайшей радостью искали его по земле, разбили нос, изорвали белую рубашечку, но особенно их раздражила та самая бабочка, которую они с большим трудом сорвали-таки с него и прицепили на шею старого лохматого кобеля, напуганного не меньше самого Жорика и сбежавшего с места побоища с визгом и позорным лаем. К удивлению самого Жорика, он не убежал. Стоял в кругу разлохмаченных деревенских мальчишек, хлюпя окровавленным носом и сжимая кулаки так, что ноготки впились в ладонки. На шум драки и собачий визг из магазина выскочила толстая продавщица - тетя Зина, но не успела и рта



раскрыть, чтобы разразиться басовитой руганью, как через дорогу быстро просеменила бабушка, раздвинула рукой уже испуганных ребятишек, схватила Жорика за локоть и потащила его домой, по дороге успев дать подзатыльник одному-другому обидчику внука. Жорик хотел было подло, под защитой бабушки, сунуть зуботычину кому-нибудь из них, но потом гордо вывернулся из крепкой бабушкиной руки, повернулся к пацанам и срывающимся от подступивших слез голосом тоненько выкрикнул:

- Мы еще встретимся, - и заплакал от переполнявшей его обиды.

Федор прожил всю свою 18-летнюю жизнь среди простых нравов сельского быта. С детства занятый тяжелым трудом, он воспитывался в рачительной, прижимистой крестьянской семье тракториста и доярки больше по дедовским, чем по книжным законам. Дедовы законы гласили, что своя рубашка ближе к телу. Не такая уж древняя память о барах и помещениях хоть царского, хоть советского времени учила не делиться с чужими, - пусть сами зарабатывают, - крепко удерживать свое.

Крепкий сельский «бычок» сразу не понравился Жорику.

В минуты прощания перед посадкой в воинский эшелон мама благословила Жорика и тайком от всех надела ему на шею древнего серебра фамильный дворянский прабабкин крестик. Отец же скупосдержанно, высоко держа породистую седую голову, крепко пожал руку, и оба ушли, не опускаясь до того, чтобы показывать людям горечь расставания.

Георгий, с тоненьким оранжевым польским рюкзачком на спине, направился к вагону и стал невольным свидетелем того, как Федора провожал отец.

Не стесняясь никого, мужик в новом «спинжаку», полосатых брюках, заправленных в сапоги, хватая сопровождавшего офицера за рукав кителя, искательно заглядывал ему в глаза и упрашивал оставить сына служить где-нибудь поближе, с простой хитрецей повышая майора до звания полковника:

- Товарищ полковник, он у нас один. А хозяин, и-и-и! И за скотиной горазд посмотреть, и на комбайну тамошним летом вымпел и грамоту получил. Да вот, товарищ полковник, посмотрите! - и мужик торопливо зашарил в кармане пиджака огромной заскорузлой ладонью, но, увидев, что офицер уходит дальше, заторопился следом, махнув рукой на неубедительную грамоту. Следом шагал здоровенный детина и противно тянул, смущаясь и стесняясь:

- Ну, фатить, батя! Ну, фатя!

Жорик презрительно усмехнулся и забрался в вагон. В окно видел, как отец с сыном, когда офицер все же ушел, ед-



ва-едва затолкали в вагон чудовищных размеров фанерный, еще времен Гражданской войны, чемоданище.

В дороге выяснилось, что в чемодане продукты, запасливо уложенные материнской рукой своему «чадушке» в дорогу.

И «чадушко» весь путь до Ташкента чавкало, сопело, отдувалось, благоухая салом с луком и чесноком. Говорить ему было некогда. Только и ответил на вопрос, как его зовут:

- Федюнька!

А в ответ на предложение присоединиться к трапезе да поделиться деревенскими харчами промолчал и через некоторое время опять засопел и зачавкал. Так, ни с кем и не поделившись, один и умял постепенно все содержимое.

Пацаны отнеслись к этому снисходительно-презрительно, только и отгоняя жующего Федора, подсаживающегося послушать песни под гитару:

- Вали отсюда, жлоб! Гляди, обожрешься и до места не доедешь!

В общем-то его не трогали: армия исправит..

Жорик, не понимающий такой жадности, полыхал благородным гневом:

- Боров! Сколько же он жрет! Да это же животное, а не человек!

Федор благодушно отрыгивал домашней колбасой, почесывал голову и в ответ только и говорил:

- Ну, фатит, ребя! Ну, фатя!

От этого искаженного «хватит» и получил он свое прозвище. Никто не звал его по имени, только Фатя.

Впрочем, самого Федора такая отстраненность и пренебрежение не смущали. Он даже не обижался, отчего создалось впечатление, что он еще и туповатый.

Когда попали в учебный полк, прошли курс молодого бойца, распределились по ротам, Жорик и Фатя попали в один взвод. Тут и Жорик получил свое прозвище. Перед отбоем болтали в курилке о гражданской жизни, об увлечениях. Жорик рассказывал о каратэ, чем давно интересовались в роте. Видели в первую неделю службы, как к Жорику пристали двое «черпаков», которых он уложил очень быстро и толково. На подмогу побежденным кинулись еще трое, но Жорик, умело уходя с линии атаки, ударами ног уложил и этих, праведным гневом дышащих борцов за армейскую иерархию.

Рассказывая о каратэ, Жорик увлекался и переходил еще к одному виду спорта, которым стал заниматься последний год перед призывом - велосипед.

- Вот я и Фатя, как тандем. Только там на одном велике два гонщика ногами усердно крутят в одну сторону, а у нас Фатя в другую педали вертит!

Грохнувши, посмеялись и Жору прозвали Тандем.



Зная об отношении Георгия к Федору, их армейские товарищи получили повод к бесконечным армейским розыгрышам, подначиваниям, грубым, порой очень злым шуткам, как бы действительно усадив их вдвоем на один велосипед, только спинами друг к другу, и заставляли на потеху вертеть педали: кто кого.

Хотя подыгрывать Георгию не собирався, получалось что-то вроде соревнования. Выведет Фатю из себя Тандем или нет.

Советчикам не было числа, и каждый изгалялся, как мог.

Самыми мягкими солдатскими шуточками были налитые водой или мочой сапоги, гуталин в тюбике вместо зубной пасты, вынос крепко спящего Фати из казармы к туалету прямо вместе с койкой, портянка на лице храпящего Федора. Так что расплзающаяся из вещмешка после прибытия в Афганистан пустынная нечисть в виде скорпионов, каракуртов и прочих тварей была просто милой усмешкой.

Ненормальность таких развлечений была вызвана грубым армейским бытом, войной, не терпящей сентиментальностей, непривычными условиями пустыни. Для многих эти развлечения были средством для отвлечения от тягот, у других - на большее не хватало интеллекта. Но все же, после первого рейда, донимания жестокого характера прекратились, все-таки автоматы всегда под боком.

Жора не принимал участия в этих развлечениях, но всегда интересовался душевным состоянием Фати, который с равнодушным спокойствием вне палатки вытряхивал вещмешок, отмывал сапоги и, начищая их гуталином из тюбика из-под зубной пасты, гудел добродушно:

- Да фатить вам, робя!

- Ну, Фатя! - взвизвался Георгий. - Ничего его не берет!

Жорик уже понимал, что Федор - натура цельная, с крепкими нервами, но никак не мог успокоиться и все думал, чем бы пронять этого «бычка».

Большим знатоком и любителем издевательских выдумок был Гусь. Именно он придумывал новые пакости, сам их подготавливал и сам же их исполнял. В общем-то, Ванька Гусев был труслив, но, чуя поддержку со стороны авторитетного Тандема, старался услужить ему, понимая, чего добивается Георгий. Фатя же ни на йоту не менял своего добродушного настроения. Как все крупные люди, он обладал редким спокойствием. Жорик знал такую породу людей и ждал, когда же переполнится чаша терпения Федора, и во что, в какой ураган выльется его гнев. Он с замиранием сердечным понимал, что это будет что-то грандиозное, и желал только одного, чтобы это свершилось при нем. Страшно хотелось вступить в единоборство с Федором, ощутить его натиск и огромную физическую силу, чтобы, как надеялся Георгий, в полной мере ощу-



тить вкус победы. А то, что Федор был необычайно силен, знали все. Он мог совершенно спокойно взвалить на свои крутые плечи «Утес» и тащить его в гору, да что там, с колена мог лупить из него очередями, только чуть краснея от натуги. Георгий, благодаря неприязни к Федору, тоже приналег на физо, подкачал и без того неслабые мышцы, но все же до «Утеса» было далеко. Кроме того, Георгий знал, что Федор хороший боец. Он одним из первых в роте получил медаль «За отвагу», чем подхлестнул Георгия, зацепив его гордость, и меньше, чем через месяц Георгия представили к награде «За боевые заслуги», которая досталась ценой огромного напряжения и риска.

В одном из рейдов случилось так, что Фатя и Тандем оказались в паре на прочесывании ущельица, ведущего к кишлаку, через который недавно проскочил отряд духов.

Когда вошли в устье ущельица, Федор вопросительно глянул на Георгия, признавая в нем лидера. Георгий хотел было послать Федора вперед, но передумал и только махнул рукой: «Прикрывай!». Сам пошел впереди, пристально поглядывая на обступавшие с обеих сторон камни. Федор крался следом, то и дело резко оборачиваясь назад, сторожко водя стволом автомата по пройденному пути. Дошли уже до середины, уже слышали журчание неширокой горной речушки, как Георгий не то услышал, не то почувствовал движение сверху. Он мгновенно отпрыгнул назад от шуршащего звука, толкнул в грудь Фатю и, уже падая, засадил длинную очередь в источник тревоги. Федор лежал рядом с Георгием, сосредоточенно разглядывая сквозь прицельную планку то место, куда стрелял Жорик, и удивление читалось на его лице. От какой опасности его оттолкнули? Георгий понял, что это была просто-напросто осыпь. Может, ящерица пробежала да своей лапкой камешек струнула, тот - другой, чуть поближе, тот - следующий. Вот тебе и источник шума!

- Ладно, пошли! - проворчал Георгий, толкая Федора в плечо, и не совсем справедливо добавил: - Что разлегся?

Фатя засопел, хотел сказать что-то, но промолчал. Пошли дальше.

Дошли до кишлака. Остальных пар не было, вот-вот должны были появиться. Георгий и Федор присели за большим валуном в тенечке. Сели так, что Георгий мог видеть кишлачок, а спиной к нему сидел Федор, разглядывая ущелье, из которого они только что вышли. Георгий, давясь, жевал безвкусную галетину, размышляя, хлебнуть воды или еще потерпеть. Фляга почти пуста, и так не хотелось брать воду из мутной речушки. Решил, что можно потерпеть. Сонный кишлачок, стру-



ящийся жарким маревом, нагонял сон. До еды ли здесь, по такому пеклу?

А вот Федор снял с плеч вещмешок, аккуратно развернул его, вынул банку тушенки, вскрыл ее двумя короткими рывками штык-ножа, отломив кусок черного хлеба и, продолжая наблюдение, принялся аппетитно жевать. Георгий представил, что там, в банке, на две трети жира и немного волоконца мяса, и его аж передернуло от отвращения. Хотел было поддеть, обозвать пообидней напарника, но сдержался, скрипнув зубами от нахлынувшей неприязни. Только покосился на блестящий от жира подбородок да подумал: «свинья...».

Сидели молча.

У Фати, как всегда, рот был набит едой, поэтому он крикнуть не смог, а, увидев стволы автоматов, невесть откуда выскользнувших трех духов, направленных на них, подскочил и, удивительно проворно метнувшись, даже не думая схватить автомат, принял в грудь очередь, собой прикрыв спину Георгия...

Духам не повезло. Казалось, вот она, добыча. Осталось вон того одного шлепнуть или взять в плен, на потеху. Но с горы ударили две «двойки» и уложили сынов Аллаха.

Нести Федора было тяжело, но Георгий никому не позволял помочь и тащил его сам через бурную речонку, по кривым улочкам кишлака, донес до площадки, с которой их роту должны были забрать «вертушки». Осторожно положил Федора на землю, устроив его голову себе на колени. Задыхаясь от жара и тяжести, разговаривал с булькающим кровью Федором:

- Федор, Федюня, как ты? Не молчи, прошу тебя, не молчи! Ты прости меня, Фатя! Прости!

Только на несколько минут Жорик отдал от себя Федора, пока санитар раздирал на том гимнастерку и обматывал его грудь бинтами, моментально набухающими кровью, густой и черной.

И в вертолете не отпускал его от себя Георгий, сам погрузил Федора на носилки и, когда закрыл его лицо краем серой простыни, неожиданно для себя, как в деревне у бабушки, заплакал от переполнявшего его страдания.

После построения побрел Жорик к своей палатке. Навстречу ему Гусь понесся и торопливо зачастил, торопясь порадовать Георгия:

- Цел? Слышали мы, досталось вам. Фатю бинтуют? Выживет.

Сельские крепкие. Жалко. Прикол отложить придется. Я такое отмочил... Теперь-то он не выдержит, сломается. Ему письмо пришло. Я конверт вскрыл, письмо в клочки разодрал



и назад склеил. Представляешь, он - тупой - куски будет складывать! Во поржем!

Смысл слов плохо доходил до Георгия. Он машинально взял конверт, аккуратно надорвал его сбоку и высыпал клочки письма в ладонь. Ветер лениво выдул, понес кусочки бумаги, лишь самый большой клочок Георгий успел ухватить.

Зазубренным лезвием по сердцу полоснули строчки, написанные неуклюжей, загрубевшей рукой: «Сыночек дорогой... и Машутка плачет... Ждем тебя, Федюнька, деньки считаем... вроде уже фатить...».

Жора медленно поднял голову и молча, как волк, тяжелой серой тенью кинулся на глупо ухмыляющегося Гуся.

Глава 11. РАХМАТУЛЛА

Солнце каплей жидкого золота давно уже переливалось в лохани серо-голубого неба и блеском безжалостных лучей колело, резало и терзало глаза людей, залегших в углубления складок каменистой стены, поднимающейся вверх от края дороги.

Слезящимися глазами Федор, в который уже раз, проследил размытые, пыльные очертания дороги, плавно вытекающей из-за поворота скальных нагромождений и также плавно вытягивающейся за следующий поворот.

Удручающе-унылый, серо-желтый окружающий ландшафт не увлекал яркими цветовыми пятнами, но и не отвлекал от главной цели засады - дороги.

Федор передвинул пулемет так, чтобы с металла исчезли слепящие солнечные блики, поглядел влево от себя.

В напряженном молчании там, у гранатомета, залегли двое, ожидая цель. Несколько поодаль еще двое с автоматами в руках как бы невзначай следили за дорогой и Федором. Встретившись взглядами, один из них указал Федору в сторону дороги, призывая к максимальному вниманию.

На следующей площадке, на несколько метров выше, группа из пяти человек с «блоупайпами» - английскими ракетами - контролировала действия нижних и была готова прикрыть их в случае неудачного проведения операции.

Подставкой для сошек пулемета служил плоский, раскаленный, как сковорода у матери на печи, камень, своим видом напоминающий снятый с такой сковороды блин. На секунду промелькнула перед мысленным взором Федора горка промасленных горячих блинов, мать, толкущаяся у черного провала русской печи, и почему-то белый узор на голубых наличниках дома напротив. Выскочившая на камень юркая ящерка прогнала видение, вернула к действительности. Она крутанулась на месте, прицелившись заостренной головой в Федора, и замерла, немигающим глазом уставясь на человека. Так был



похож ее взгляд на взгляд сурового командира, что даже в животе у Федора что-то подобралось и напряглось.

Обострившийся слух уловил гул приближающейся колонны. В засаде Федор был новичком. Роднее и ближе был крик:

- Держи колею! Колею держи, мать твою...

Не имея опыта, Федор не мог на слух определить, большая ли колонна. Первым из-за поворота вынырнул БТР, проехал до середины сектора обстрела и остановился. Следом подтянулись «ГАЗ-66» с красным крестом на боку, «Урал» с огромной цистерной. Именно в кабине такой машины Федор не раз слышал крик командира про колею. За этими машинами втягивались еще, но рассматривать было некогда, какие они.

На плечо Федора легла крепкая ладонь непонятно когда подобравшегося командира, призывая к вниманию, и указательный палец с серебряным перстнем, отдавая безмолвный приказ, ткнул по направлению к санитарной машине.

Федор, не выпуская из рук пулемет, о плечо отер лицо и, смахнув накопившиеся слезы, направил, тщательно прицеливаясь, ствол в бензобак машины с красными крестами.

БТР фыркнул облаком дыма, пошел было вперед, но от удара «блюупайпа», отшвырнутый взрывом, подпрыгнул и ткнулся в скалистую стену, перекрывая дорогу вперед. В ту же секунду Федор нажал на курок, послав первые пули точно в бак машины. Ствол пулемета, дернувшись вверх, рванул очередью брезент кузова, оставляя в нем большие дыры.

Гранатометчики слева отрезали путь к отступлению остальным машинам, подорвав удачными выстрелами замыкающую «техничку» на базе работяги «ГАЗ-66». На зажатую в тесном коридоре, беззащитную колонну сыпался дождь пуль и осколков. Растерянная, робкая стрельба застигнутых врасплох бойцов колонны не остановила радостной ярости нападающих, увлеченных беспомощностью врага.

Захваченный общим подъемом атаки Федор всаживал одну за другой короткие очереди в дымящиеся машины, мелькающие фигуры отстреливающихся, бил в головы, руки, ноги - лишь бы достать, попасть, уложить.

В охоте на людей пулемет слишком неуклюжий, неманевренный. Отбросив его, Федор подхватил автомат и, опустившись ниже по склону, теперь уже из него бил по попавшим в засаду, хорошо видимым, пытающимся спрятаться за искореженными машинами.

С остервенелой радостью Федор всадил очередь в человека с забинтованной головой, на корточках выползающего из-под брезента горящей «санитарки». Каким-то сатанинским озарением Федор почувствовал, что если и есть в санитарной машине живые, то лежат они на дне кузова. Больше спрятаться негде. Боковым зрением увидел, как его группа обрушива-



ется на дорогу, заторопился, откинул сдвоенный пустой магазин и на бегу зашарил привычно в поисках подсумка. Сплюнул бешено, не нащупав ничего, кроме тонкой материи рубахи и штанов, подбежал к уничтоженной колонне. Отметил, что у распластанного тела белобрысого младшего сержанта в поджатой под грудь руке стиснут автомат, пинком перевернул тело и хищно-радостно оскалился, увидев «лифчик», полный гранат и магазинов, правда, к автомату другого калибра, АКС-74. Ничего! Забросив свой автомат за спину, вывернул из руки убитого оружие, щелкнул затвором и побежал к кабине бензовоза, уцелевшего только потому, что одной из целей засады был захват горючего.

Федор распахнул дверцу со стороны водителя, одновременно уловив движение и нажимая на курок, направляя очередь в испуганные белые глаза, погасив удивленный вскрик.

Пули откинули голову солдата, и солнце через опущенное стекло осветило изуродованное, залитое кровью лицо солдата.

Кто это? Кто же это?! Знал... Знакомое лицо. Отбросив назойливый вопрос, Федор огляделся. Колонна погибла. Его группа подтягивалась к бензовозу, и Федор повернулся туда. Навстречу, раздвинув остальных, выступил командир. Белозубо улыбаясь, одобрительно цокая языком, пожал руку, обнял за плечи и отошел, давая возможность остальным поздравить нового бойца отряда. Моджахеды подходили, пожимали руку, похлопывали по плечам, по спине, на чужом языке нахваливая воинскую доблесть Федора.

Он стоял, смущенно улыбаясь, стянутой с головы черной тубетейкой утирал пот с лица, довольный собой.

Внезапный вскрик боли, смешанной с удивлением, заставил группу резко обернуться:

- Фе-е-е-дь-ка-а-а!..

- Фе-е-е-дь-ка... - уже не вскрикнул, а удивленно прохрипел раненый, единственный уцелевший солдат из растерзанной колонны, протягивая руку к группе.

- Это он меня?! - промелькнуло в голове. - Да нет, - отстранился от зова. - Я же не Федька, я - Рахматулла.

- Я - Рахматулла! - громко, на все ущелье, на весь мир по-русски крикнул бывший советский солдат Федор Булыгин.

Направившийся к раненому моджахед обернулся и, улыбаясь, закивал головой:

- Рахматулло, Рахматулло...

- Рахматулло, - одобрительно закивали товарищи, готовясь совершить намаз, восхвалявший имя Аллаха и верных его сынов.



Федор вынул из-за пояса штанов платок, расстелил его на земле, отер лицо сухими ладонями, становясь коленями на платок, и вместе со всеми забормотал молитву.

...Федор попал в плен к одному из воинских подразделений Хекматияра год назад.

Машину, за рулем которой сидел Федор, командир отправил в договорный кишлак в сопровождении семи солдат и нового замполита. Нужно было отвезти керосин, хлеб, медикаменты - откуп за спокойствие на этом направлении.

Замполит - восторженный молодой лейтенант Щукин-суетился и радовался по- щенячьи. В кишлаке перед собравшимися стариками и воровато шмыгающими вокруг машины детьми он произнес торжественную речь о дружбе между двумя великими народами, об укреплении социалистического лагеря на Востоке.

Переводил флегматичный туркмен Шарипов, и замполиту казалось, что не то он переводит, потому что, слушая пламенные слова Щукина, длиннобородые афганцы восторга не проявили и не шевельнулись до тех пор, пока лейтенант не приказал разгружать «Урал».

Федор сидел в кабине и с отвращением слушал речь замполита, кривя губы от слов «социализм», «партия», «дружба народов». Уже повидавший многое на этой войне, он про себя размышлял: «Подожди, необстрелянный, скоро увидишь «дружбу народов». Скоро поймешь, как духи стремятся к победе социализма». И припомнил Федор достижения социализма у себя дома: вору и хама председателя колхоза, всевластность партийных работников района, угодливое заискивание матери перед руководством и ее слезы после отказа в материале для ремонта дырявой крыши.

«Они умнее нас, - думал об афганцах Федор. - А может, просто не такие забитые. Это у христиан - «подставь другую щеку», они же ни левую, ни правую подставлять не будут и не подставляют!».

Тем временем откуда-то из-за дувалов налетела толпа женщин и проворно смела с машины все, что привезли шурави. Самый старый из афганцев что-то говорил в ответ замполиту, оба прикладывали ладонь к сердцу, раз по пятнадцать сказали друг другу «ташакур».

Солдаты давно уже сидели в машине, и Федор с раздражением посигналил замполиту, чуть не целующему от умиления руки старейшине.

Ехали по начавшим сгущаться сумеркам. Замполит тархател без умолку, то выговаривая Федору, то размышляя вслух:

- Что ты дергаешься? Тут, понимаешь, политический момент! Это политика, идеология, а ты сигналишь, торопишь. Социализм в Афганистане это...



«Знаю я твой социализм, - думал Федор, - посмотрелся в колхозе...».

- Социальная справедливость.., - разливался соловьем замполит.

«И справедливость эту знаем», - помнил Федор, как вышибли из комсомола, а потом и из техникума за «чуждое» увлечение каратэ.

Гордость за исполненную работу переполняла замполита и выражалась в трескучих высокопарных словах. Только прикусив язык, оттого что Федор направил колесо в выбоину, Шуккин ненадолго замолк. Но так понравилось лейтенанту крепить дружбу народов, что, увидев бахчу, он приказал Федору остановить машину. На бахче два пацаненка помогали старику перетаскивать в старую рассохшуюся арбу черные арбузы.

Замполит выскочил из кабины, захватив буханку белого хлеба, позвал Шарипова и, переступая через рассыпанные по всей бахче арбузы, направился к старику. Афганцы застыли на месте, всем своим видом показывая смиренность.

Солнце уже только краем освещало зазубренность гор, ключее поле бахчи и острые башенки вышек ГСМ вдали, почти у самого въезда на Кандагарский аэродром.

Шарипов вернулся к машине:

- Лейтенант приказал к нему идти, хочет бачам помогать.

Солдаты, ругаясь, перелезали через борт, нащупывая выступы носками ботинок, лениво сползали, шлепя подошвами в пыль придорожной полосы.

Федор сказал Шарипову:

- Лейтёха спросит, скажешь, двигатель проверяю.

Открыл капот, для вида поковырялся и, постелив куртку под передние колеса, улегся на легком сквознячке, закурил, поглядывая на работу солдат и беседующего с дедом замполита.

«Во-во. Точно как у нас в колхозе. Кто у руководства, тот никогда работать не будет, тот все больше языком... Вот и принесем им свой социализм. Деды пахать будут, а толстожопые - указывать. Не. Только без меня».

Отбросил щелчком окуроч, потянулся, вылез из-под машины, чертя задницей дорожку в пыли. Встряхнул куртку и открыл дверцу, чтобы ее в кабину кинуть. Поднял глаза и обомлел. Ему в грудь направил его же автомат серии ТО № 2551 душман. Федор за доли секунды понял, что не в состоянии что-то предпринять еще и потому, что неслышно сзади подошел еще один дух и лезвием поперек горла Федора положил кинжал.

Сколько прошло времени? Секунда? Час? Сто лет?



Дух выскользнул из машины, заломил руки Федора за спину, скрутил веревкой, толкнул его на землю, туда же на легкий сквознячок.

Федор неуклюже упал у колеса, деранувшись щекой о бетон.

«Закричать?!» - мелькнула мысль, и Федор даже напрягся, но шею опять кольнуло лезвие. Дух уселся ему на спину, пятой надавливая на затылок, заставляя Федора ткнуться всем лицом в дорогу. Успев только чуть повернуть голову в сторону бахчи, Федор хорошо видел работающих солдат, составленные в пирамиду автоматы.

- Пикну только, и голову отрежут, - метались мысли, - а пацины так и дернуться не успеют!

С надеждой увидел, как лейтенант, наговорившись, сделал первые шаги к оружию. Федор услышал первый выстрел и отчетливо увидел, как крутобокий, тяжелый, словно чугунная гиля, арбуз, взлетевший из рук Шарипова вверх, чтобы упасть в объятия Женьки Савельева, вдруг с шумом лопнул, осыпая на миг оцепеневших солдат сахаристой темно-красной мякотью и мелкими черными косточками. Второй винтовочный выстрел с борта машины точно, как арбуз, разнес голову замполита, и тот ткнулся в тряпицу, окровавив булку хлеба, лежавшую на ней. Бойцы даже не двинулись с места, только вздрогнули от выстрелов, и тут же короткие хищные очереди, откуда-то из-за пределов бахчи, покорежив, поломав, уложили их на месте.

Дух слез со спины Федора, жестами приказал сесть в машину и ехать туда, куда он укажет. Прокричал что-то странно ухмыльнувшемуся старику, подождал, пока пятеро духов, собрав оружие, тенями метнулись в кузов машины, и приказал двигаться. Повинуясь, Федор нажал на педаль акселератора, и машина, выдохнув печально двигателем, развернулась на широкой бетонке и пошла, сначала по дороге, потом, свернув в пыль пустыни, не зажигая фар, большим черным пятном растворилась на фоне гор...

...Первые дни Федора страшно били. В день давали воду в мятом медном кувшине и кусок сухой лепешки. Отупевший от голода, жажды и побоев Федор решил совсем не пить и не есть, чтобы быстрее умереть. Его вытащили из ямы, явно чтобы наказать за отказ от еды. Видимо, для мучений он нужен был живым.

Федор стиснул зубы, расставил ноги, набылчился. Он решил сопротивляться и хотя бы одного душка да завалить. Спровоцировать, чтобы наверняка накинудись все и забили насмерть. Так, как забили старослужащие молодого солдата из роты Федора, отбив внутренности за сопротивление, а остальных «чижигов» заставили смотреть, добиваясь покор-



ности, обещая всем такую же расправу, если посмеют донести или осмелятся сопротивляться им, «дедам».

Чем же духи лучше? Эти точно накинутся все. Ну и пусть! Все к черту! Уж сразу подохнуть, чем в мучениях.

Пока, раскачиваясь, он так размышлял, духи, увидев непорочность и оценив непримиримую позу шурави, загудели, и в их голосах Федор почувствовал вроде бы даже одобрение. Поныл вдруг, догадался, что толпой уже пинать не будут.

От окружавших его мужчин отделился крепкий, с обнаженным торсом афганец. Подошел к Федору, взглядом оценил его и, обернувшись к своим, что-то сказал.

Федор чувствовал, что отощал здорово, что после почти недельных побоев ослаб. Кости и мышцы ныли, но многолетние доармейские тренировки каратэ помогли собраться и сконцентрировать внимание. Он взглянул на душмана, ухмыляющегося в лицо, и азарт предстоящего боя захлестнул Федора, успел даже подумать:

- Глумишься, вражина!

И подхватила, понесла Федора веселящая злость, даря особую легкость в теле, силу мышц.

Афганец подскочил к Федору и резко, коротко ударил кулаком в подбородок. От сильного удара в ушах застучало тяжелым прессом, из рассеченного места тягуче закапала кровь. Но тренированный организм отреагировал почти мгновенно. Носком левой ноги Федор подцепил не успевшего отскочить духа под щиколотку, а стопой правой нанес удар в колено. Припав на колено, рубанул ребром ладони по горлу падающего противника и отошел мгновенно назад, оценивая совершенное. Афганец рухнул в пыль, захрипел и потерял сознание.

Федор напрягал подгибающиеся ноги, уткнувшись плывущим взглядом в землю, тяжело дышал.

Окружавшие место поединка афганцы неодобрительно заворчали. И не понимающий языка Федор опять почувствовал, догадался, что неодобрение относится не к нему, а - к побежденному.

От напряжения подташнивало и сосало под ложечкой. Федор глубоко вздохнул носом и тремя резкими выдохами через рот вытолкнул из себя воздух, утихомиривая сердце и восстанавливая дыхание. Приподнял голову, мутным глазом оглядел окружающих, ожидая продолжения.

Поверженный его противник пришел в себя, тяжело поднялся, встряхивая головой, оглянулся на Федора и пробормотал что-то, но без угрозы, почти беззлобно.

Моджахеды посоветались и вытолкнули на вытоптаный пяточок еще одного бойца. Этот дух был покрепче с виду и, видимо, опытнее. Он не кинулся на Федора, а медленными кругами стал обходить его, выбирая слабинку в позиции шу-



рави. Нужно было брать инициативу на себя. Федор выждал, когда солнце оказалось у него за спиной и ослепило духа, резким выпадом левой ноги отвлек противника, и тут же правой нанес сокрушительный удар в голову. Но усталость взяла свое, поэтому, когда дух, уже падая, даже не ударил, а по инерции просто пнул Федора, он тоже шмякнулся в пыль.

Короткий красивый поединок изможденного пленного, его мужество, воля к сопротивлению настолько понравились, что моджахеды заплотировали.

Федора больше не били. Вечером ему вместе с лепешкой и кувшином воды принесли в пиале вареный рис с какой-то овощной подливой и старую, но чистую и еще крепкую одежду: шаровары, рубаху и тапочки без задников. Держали его в той же глубокой яме, хотя и бросили одеяло.

Теперь можно было укрыться днем от сжигающего солнца, а вечером - от холода.

«За своего что ли признали, - размышлял Федор. - Да нет, скорее, готовят к чему-то. Может, как бойцовую собаку, будут заставляя для потехи драться? Черт с ними, там посмотрим...».

И странное дело, когда Федор поел, переоделся в чистую легкую одежду, сбросив солдатское изодранное обмундирование и, укрывшись одеялом, перебрал в памяти события дня, он с изумлением понял, что испытывает чувство уважения и даже благодарности к своим врагам. Могли изуродовать, истерзать, но не стали. Могли за своих побитых мучениям подвергнуть, отдать им на расправу - не отдали. Плохо, скудно, но покормили, переодели. Как? Почему? Враги ведь! Сам видел трупы замученных шурави. Постой, почему шурави? Советских солдат! Сам-то ты кто?!

В большом смятении в эту ночь заснул Федор. И, видимо, этими мыслями наваяло ему сон, в котором увидел он себя. Истерзанного, с обрезанными ушами, корчащегося в луже собственной крови от боли, разрывающей его внутренности. Он страшно кричал, а духи, хохоча, под его вой глубже и глубже втискивали в него остро заточенный кол. И во сне этом духи на понятном для Федора языке кричали ему:

- Терпи, шурави, за свой СССР, за партию и правительство терпи, героем умрешь! Дома узнают - может, матери крышу хаты починят!

И закричал во сне, мучительно завыв Федор:

- Нет! Нет, не хочу! Да подождите же вы!

Проснулся от ужаса, от крика своего, вскочил на ноги, сдвигая с головы одеяло, не до конца еще проснувшись, не понимая, сон это или явь. Не спал уже до утра. А действительно, за что геройствовать? За Родину? За народ? Так войну эту не народ начал, не Родина. Наоборот, горьким горем для Родины и



народа стала эта страшная война. За партию? За правительство? За победу социализма на афганской земле принять мучительную смерть?

Не нашел ответов на эти вопросы Федор.

А вот позже получил он ответы...

Посетил отряд Хекматияр с сотней своих бойцов. В конце посещения приказал командир привести к Хекматияру Федора.

Привезли Федора в полутемную пещеру. Огонь очага освещал людей, сидящих на ковре. На почетном возвышении сидел Хекматияр. Федор вглядывался в его жесткое, почти европейское, традиционно бородатое лицо. Он хмуро посмотрел на шурави, что-то сказал командиру и жестом приказал увести пленного.

Через несколько дней Федору разрешили днем ходить по лагерю, хотя ночью все равно возвращали в яму. Теперь с ним стал общаться ежедневно мулла, постоянно находящийся в отряде. Мулла читал Коран, заставляя Федора внимательно слушать. Федор, конечно, ни черта не понимал, но слушать приходилось. Однажды Федор задремал под равномерный нараспев голос священника и вскопился от оглушительной пощечины. Да как же понять, ведь нескольких слов, которых хватало для общения с афганцами, теперь было крайне мало. А что знал Федор? «Дриш!» - стой, «шурави контрол» - проверка, «чан афгани» - сколько стоит, «шароп» - водка, «риш машин» - электробрита, и тому подобные слова из личного убогого лексикона.

Проводили занятия с ним и оставшийся из свиты Хекматияра переводчик, и командир отряда. Объясняли шурави, что принимал он участие в войне несправедливой, что афганцы никогда, никому и ни за что не покорятся. Как в прошлом веке не покорились колонизаторам - англичанам. «Инглезе», - презрительно выговаривал командир отряда.

Страшно после этих бесед становилось Федору. Со школьной парты впитал он мысль о Великой Отечественной войне, что война эта была войной его народа, священной войной против вероломных захватчиков.

- Это священная война моего народа, - говорил командир отряда. - Шурави - захватчики, оккупанты.

Страшно было Федору от того, что соглашался мысленно с доводами, что сам так думал, от того, что понял, жутью обдало ощущение: готов к предательству, к войне на стороне этого народа, против своего. Пытался остаться советским солдатом, человеком. Возражал, что солдаты исполняют приказ, их заставляют гибнуть.

- За что, зачем? - прищурился прошедший специальную подготовку у американских психологов переводчик.



И, оставив сокрушенного, растерянного Федора, обратился к командиру:

- Дальше сами. Теперь все получится. Я приказ выполнил.

Теперь уже Федора заинтересовал этот народ, который мощь советского оружия уже который год не могла поставить на колени.

Месяца через два Федор стал отмечать, что понимает отрывки разговоров афганцев, сам пытался называть окружающие его вещи, сначала вызывая смех, а потом помощь в освоении языка. Оброс Федор густой черной курчавой бородой, загорел, изменился внешне. Изменилось и отношение к нему. Кормили теперь Федора тем же, что ели бойцы отряда. Рис, лепешки, чай. Реже помидоры, виноград. Когда из кишлака приводили барана, куски вареного мяса из большого котла доставались всем поровну. Изменился Федор и внутренне. Чаще и чаще в мыслях считал себя своим среди этих людей. О том, что эти люди сражаются против его товарищей, советских солдат, старался не думать. Близко сошелся с Рахматуллой, тем афганцем, с которым бился в первом поединке. Обучал Рахматуллу приемам каратэ, а взамен получал знание языка, обычаев этого народа. В долгих беседах узнал от Рахматуллы об операциях, в которых участвовал и участвует его отряд, о расстрелах пленных, в которых и сам принимал участие. «Это война», - пожимал плечами Рахматулла. Не мы ее начали и не на вашей земле...»

«А мы их скотами считаем, зверьем, дикарями, - мучался в раздумьях Федор. - А ведь, действительно, это мы вломились в их жизнь, вот они в ответ и отнимают наши жизни...».

Это еще не было предательством. Окончательно отказался Федор от своего народа, своей земли и поднял оружие против шурави из-за Рахматуллы.

Накануне дня, когда Рахматуллу убили, он долго разговаривал с Федором.

- Стань до конца нашим, будь с нами. Прими нашу веру. Направь оружие против неверных, неправедных людей, - предложил Рахматулла.

- Своих убивать? - восторженно, даже вскочил на ноги Федор.

- Ты пойми, что твоих убивают твои. Будут еще воевать, - будут еще убивать. Остановят войну, выведут войска - сколько жизней сохранят и вам, и нам. И ты, убивая своих, только поможешь войну остановить. Убьешь десять - Аллах простит. Это не ваш Христос. Будешь мне братом - можешь четыре жены иметь, почет, богатство. Ты американские доллары дома зарабатываешь?

Глубоко задумался Федор. Вот же мучение...



Знал по рассказам и сам видел, как гнали советские офицеры солдат на минные поля по приказу высших офицерских чинов. Шепотом пересказывали ему, как попавших в окружение солдат уничтожили вместе с группировкой моджахедов. Тысячами гибли из-за неграмотных военных приказов. Неужели в этой войне правы только афганцы? Неужели...

И не смог найти, чем возразить на свои же вопросы Федор. Понял, что убедили его, привели к выводу, что ни гроша не стоит жизнь солдата СССР в этой войне для советского правительства. В том числе и его единственная драгоценная жизнь.

Наутро, провожая отряд, сказал Рахматулле, что принял решение, а какое, вечером скажет. Догадался Рахматулла, улыбаясь, как брата обнял Федора и ушел с отрядом. Вернулся отряд поздним вечером, понеся большие потери. Не вернулся Рахматулла.

Резко изменилось отношение к Федору. Вместо приветливых улыбок - хмурые лица, тяжелые взгляды. Все-таки шурави - советский... И...

Совершилась в этот вечер еще одна потеря. Не стало на свете советского военнопленного, русского солдата Федора Булыгина.

После обряда обрезания и трижды произнесенной священной калемы - Ла илях иля ллаху ва Мухаммед расули Аллах - превозмогая боль после отсечения крайней плоти, пировал принявший магометанскую веру и вместе с ней новое имя - Рахматулла, наутро поднявший оружие против ненавистных шурави.

Глава 12. МАСУД

Плюс на минус будет ноль...

Это боевое задание состояло из плюсов, рядом с которыми немедленно, как бдительные часовые, выросли минусы.

Разрабатывали операцию штабисты из Генерального управления, тщательно анализируя донесения разведки, сведения, выжатые из пленных моджахедов и их командиров, знания опытных офицеров, изучавших Афганистан еще задолго до войны, находившихся там в качестве военных советников. Готовый вариант утверждали на самом высоком уровне, чуть ли не на Верховном Совете СССР, что страшно раздражало и бесило профессиональных военных, разведчиков и контрразведчиков. Но что поделать? Партия - наш рулевой... везде и всюду. Поэтому, для подстраховки, во избежание утечки информации, в итоговых документах указали чуть другое время проведения операции, да и страну приложения огромных трудов перенесли чуть восточнее. Но так или иначе, операция была готова. Ее важность состояла в том, что появилась



возможность ликвидировать Масуда - командира одного из крупных соединений душманов.

Врага можно ненавидеть, но недооценивать нельзя. Масуд - талантливый военачальник. Когда-то, еще в середине семидесятых годов, он был одним из лучших иностранных слушателей Фрунзенской академии, готовившей, как известно, не специалистов по засолке грибов и капусты. Вот и научили! Действия его боевиков отличались смелостью, слаженностью, дерзостью, жестокостью и, увы, редкой удачливостью. Увы, так как эта самая удачливость приводила к большим потерям советских войск, находящихся в радиусе его контроля, порой даже практически к полному их уничтожению. Кстати сказать, командиром этой части советского контингента тоже был выпускник той самой академии и даже того же самого года выпуска. Так что бывшие однокашники противостояли друг другу крепко и долго. Масуд, обладая аналитическим умом, вкупе с восточной дьявольской хитростью, сумел установить жесткую дисциплину среди своих людей, карая виновных по законам Шариата, не давал возможности шурави проводить никаких активных действий, вывел в зоне своего действия даже само понятие «договорный кишлак». Пленных русских брал редко, но если такое происходило, очень быстро заставлял их перейти на свою сторону, принять ислам и воевать против неверных. Так что уничтожить Масуда было очень желательно, но крайне сложно. Базовое местонахождение его сил было расположено в небольшом городке, неподалеку от границы с Пакистаном. Прямо из Пешавара он получал свежие силы, оружие, деньги, туда же переправлял раненых, пленных, перебежчиков. По донесениям советской разведки, в городке постоянно находились около трех тысяч духов, великолепно обустроившихся и готовых отдать свои жизни за Масуда, как отдали бы их с радостью за Пророка.

Разрушить городок авиацией советское командование не хотело, и крупное боевое соединение моджахедов чувствовало себя в нем как у Аллаха за пазухой. Масуд создал и отладил свою внутреннюю службу безопасности, разведку, контрразведку, не жалея долларов, рублей, марок, чеков, наркотиков. Популярность его была чрезвычайно высока. К нему тянулись люди со всего Афганистана, давали клятву на Коране и вступали в войско под зеленое знамя Ислама.

Вот этого сильного, умного и опасного врага и решено было ликвидировать.

Для выполнения разработанного плана отозвали из отпуска, из дома отдыха «Сосновый», что под Туапсе, спецгруппу, состоящую только из офицеров. Еще вчера ребята обмывали новые армейские звания, окунали в стаканы с водкой майорские звезды, а заодно с ними и ордена Красной Звезды,



полученные за успешное выполнение одной из предыдущих операций. Пошумели, конечно, немного, погутарили, отбив у офицеров из системы МВД, также отдыхающих на побережье, девчонок. Каждый из спецгруппы прошел подготовку еще ту: и саперную, и снайперскую, и рукопашную, и парашютную, и... В общем, спецы хоть куда. Да и опыт боевой немаленький за плечами. Так что еще ночью, довольно сильно хмельных, их привезли в Адлерский аэропорт, подбросили до Москвы, оттуда - напрямик в Ашхабад, и теперь офицеры досыпали в более-менее приличной гостинице, расположенной внутри большого военного городка, в самом центре столицы Туркмении.

- Кте мои маленькие прыки? Та черт пы вас попра! - как все прибалты, Ян Роозма ругался, не повышая голоса, старательно выговаривая русские слова.

- Что потерял, Ян? - поднял от подушки заспанное лицо Игорь Красников и тут же со стоном уронил голову на подушку. - Вот блин, мутит что-то. Наверное, после перелетов...

- Маленькие прыки. Кому они мокут пыть нушны? - «бушевал» Ян.

- О-о-о, чтоб вас! Заткнитесь! - со своей постели простонал Лешка Уфимцев, - чего это вы с утра разорались? Теперь, может, месяц спокойно поспать не придется, - и, накрыв голову подушкой, перевернулся на другой бок.

Ян сердито переворачивал вещи, развешанные на спинках стульев, и недоумеваяще сопел.

- Па-а-адъем! - вытирая полотенцем голову, мокрую после душа, прокричал старший в этой операции Женька Панин. - Сейчас на завтрак, потом последний инструктаж. В двенадцать ноль-ноль вылетаем в Кабул.

Панин еще рано утром был в штабе, где получил пакет с точным описанием операции, прочел бумаги и тут же их сжег, согласно инструкции, вложенной в конверт.

- Всем ясно? - громко спросил Панин, - Я же сказал, подъем! Вставайте, мужики, сегодня последний день в Союзе, - помолчал и добавил: - А может, завтра вообще последний.

- Тьфу-тьфу, еще накаркаешь, спичку тебе в язык, - слетел окончательно сон с Лешки Уфимцева. - Не, мужики, пошумим малость... у меня предчувствие такое...

Среди этой четверки черный юмор был делом обычным и воспринимался с одобрением. Темы смерти, гибели не были запретны в разговорах. Готовили их ко всему, к ситуациям, неучтенным и непредусмотренным. За риск, за готовность жертвовать собой, за то, что решались вопросы, от которых зависели порой тысячи жизней, группе предоставлялись особые привилегии. После удачных операций отдыхали в Союзе на морских побережьях, в горах. Начальство закрывало глаза на достаточно вольное поведение этих офицеров. Пусть. Может,



в последний раз. Тем более что, конечно, случались и неудачные операции. В таких случаях слез не было. Только окончив их, третьим тостом, молчаливым, с комком в горле, стоя выпивали водку.

Женька Панин сильно переживал провал предыдущей операции, считал ошибку своей, хотя и понимал, что неудачно сработала группа подготовки. Ориентиры не сработали. В итоге вместо намеченного договорного кишлака его спецгруппа вышла на кишлак, в котором их встретили плотным огнем. Немедленно уйти не получилось. Вертолетам нужно время для перелета, группе - для перехода в место посадки машин. Да потеряли время, выясняя ситуацию.

- В кишлаке безоткатки!

- Откуда?! Быть не может!

- Безоткатные орудия и сотня духов... Нас встречают огнем. Быстрее вертушки.

- Да какие духи? Вы что там, пьяные?

- Все, связь кончаю. Уходим.

- Отставить! Не уходить! А задание?!

И так дальше и дальше. Женька понимал, что время уходит и ситуация для них складывается крайне сложно. Но тот, на другом конце связи, все тянул и тянул, предлагая подождать, пока не свяжется с Москвой. Женька уже открытым текстом материл тупоголового офицера, в ответ тот огрызнулся и заявил, что группа сама промахнулась и находится в семнадцати километрах от границы Афгана на территории Пакистана.

Откровенно говоря, никакой границы там нет, пустыня да камни. Присутствует та самая граница только на географической карте. Результат ошибки - невыполненное задание. А кроме того...

Пришлось принимать бой и уходить, срочно уходить. Краем глаза Женька видел, как остальные четверо едва заметно приподнимались из-за камней, посылали короткие автоматные очереди и уходили дальше в пустыню. Женька молил Бога, чтобы успеть дойти до первого скального коридора. А там... Духи наступали быстро, уверенно. Еще бы, человек сорок бросились в погоню. Но ребята из спецгруппы не были напуганы этим. Все верно. Так и надо. Один к десяти. Не этому ли их и обучали? Бою с противником, превышающем в силе вдесятеро. Все нормалек! Уже у самого узкого входа в спасительное ущелье грянул разрыв гранаты, посланный духами из гранатомета. Женька оглянулся. Духи еще были далековато. Неподалеку от него в пыли лежал Николай. Нехорошо лежал. Ноги носками ботинок чертили круги на земле, руки обхватили живот с развороченными осколком внутренностями. Эх, Коля, Коля, какого ж ты., ну зачем же ты бронжилет-то



бросил! Женька бросился к нему, еще на бегу понимая, что все кончено.

Николай еще был в сознании, глубокими глазами он смотрел в голубое небо и что-то шептал пузырящимися кровью губами наклонившемуся над ним командиру. Тот прислушался.

- Женья, вперед. Уходите...

Женька вынул из «лифчика» гранату, выдернул чеку и сунул, зажал запал в ладони раненого. Николай благодарно улыбнулся и слабо кивнул, впадая в беспамятство. Командир забрал оружие и кинулся в ущелье.

Минут через десять за спинами группы раздался хлопок. По времени выходило, что Николай дождался духов и разжал ладонь, когда они были возле него.

Никто из ребят не оглянулся. Шли быстро, переходя на бег. До места встречи с вертолетом еще часа три хода. Каждый поставил в уме черную зарубку. Все. Нет больше Коляна. Вечная ему память!

Ян все еще возился в поисках пропавшей вещи, когда из ванной вышел Лешка Уфимцев:

- Эй, горячий эстонский парень! В ванной твои трусы, на веревке висят. Кому они нужны, твои маленькие прюки?! - подмигнул ребятам, поддразнивая Яна, - «Что это ты трусы теряешь? Перепил вчера? Ничего - завтра душки похмелят. «Старым Таллинном!»

Пошел потальше! - улыбнулся Ян. - Сам пьянчушка.

В двенадцать ноль-ноль, без всяких проволочек вертолет «Ми-8» поднялся в жаркое небо, сопровождаемый двумя «двадцатьчетверками». Звено взяло курс на Афганистан, а там в район Баглана, откуда и начнется операция.

Сидели внутри раскаленной вертушки, напялив на головы шлемы с переговорными устройствами. Игорь Красников нетерпеливо крутился на узкой алюминиевой скамье:

- Эй, Ян, - сквозь треск и помехи в наушниках позвал Игорь.

Ян степенно повернул голову.

- Лыжи подбери!

Роозма выступал в команде ЦСКА по биатлону, поэтому невзрачная шутка здесь, над прожаренной пустыней, смешит. Тем более что у Яна невероятный, сорок восьмой размер обуви.

Мужики рассмеялись. Даже пилоты, обернувшись через плечо, заулыбались.

Что ж, шутка - хорошее начало. Немалый плюс.

Ян откинулся к борту, прикрыл глаза. Биатлон, снег, лыжи. Зимний Таллинн. Кривые улочки, башни, ратуша, и сам Старый Тоомас в аккуратных снеговых шапках. Приятно вспомнить. Особенно здесь, сейчас. Даже потянулся Ян сладко от приятных воспоминаний.



- Не тянись, долговязый! - не успокаивается Игорек. - Вертолет разорвешь!

Не успели отсмеяться, как в машину ударил снаряд. Вот, мать их... Только-только границу пересекли. Вон, еще и речку видно. От взрыва вертушку сильно трянуло, но не это оказалось роковым. Следующим снарядом напрочь отсекло хвостовую балку, и зависшее тело вертолета начало неумолимо падать вниз, еле удерживаемое несущим винтом в горизонтальном положении. Сидящих внутри, ухватившихся руками, кто за что успел, начало вертеть на сатанинской карусели.

Вот тебе и минус! Минус на плюс.

Женька, крепко вцепившись в скобу, выступающую из стенки вертолета, крепко зажмурил глаза, чтобы не видеть сквозь иллюминатор мелькания приближающейся земли. Не от страха. От отвращения перед любым вращением, которое он приобрел в подростковом возрасте.

Перед его домом на детской площадке была установлена такая гадость, сваренная из металлических труб в виде буквы «Ф», крутящаяся на подшипниках. На всю жизнь проклял эту вертушку Женька. Секрет ее действия очень простой. Руками нужно взяться за верхние перекладины, а на нижние встать ногами, оттолкнуться от земли, как при катании на самокате. Тогда эта дрянь начинала вращаться. Как регулировать скорость вращения от плавного до безумного, становилось понятно почти сразу. Нужно было только-то оттопыривать зад или выпрямляться вертикально. А вот как остановить эту гениально простую штуку? Да если тебя от вращения тошнить начинает?! В общем, Женька спрыгнул с нее, получив сильный удар по ногам нижней перекладиной, и в ближайших кустах сирени с полчаса поливал траву маминым вкусным обедом, а карусельку - удивительно нехорошими словами. Если бы не соседская девчонка, которая так ему нравилась, ни за что не залез бы Женька на эту штуковину! А так хотелось покрасоваться в мощном вихре вращения. Покрасовался! Ох как смеялась Светка, когда он, бледный, взъерошенный, выбирался из кустов...

Так что Женька почувствовал себя отвратительно после первых же оборотов искалеченного вертолета. Глаза зажмурить можно, а вот желудок не зажмуришь.

Лешка Уфимцев, не смея отцепить руки от лебедки, для того чтобы хоть лицо прикрыть, с ужасом видел помутневшие глаза командира, его побледневшее лицо и судорожно глотательные движения кадыка. И боялся он не того, что вот сейчас они могут разбиться. Не о смерти думал Лешка, когда в него полетели брызги завтрака, щедрого завтрака, который для них устроили в Ашхабаде.



То, что осталось от вертолета, достаточно жестко брякнулось на бархан. Замычал, мотая головой, прикусивший язык Ян, хахнули невольным выдохом остальные. Первым из ровного бока вертолета пулей вылетел Женька, следом выбрались остальные.

- Цели? Живы? - приходя в себя, чуть покачиваясь, пересчитывая взглядом, начиная с оттирающегося песком Игоря, спросил Женька. - Что с летунами?

Подбежали к кабине, переступив через тело бортача, вылетевшее через треснувший фонарь, и, увидев раздавленные лица пилотов, потянули шлемы с голов.

То, что люди мертвы, они поняли сразу. Опыт. Горький.

Следом за упавшим вертолетом сели сопровождающие. В густой туче пыли группа погрузилась в один из них, и он тут же сорвался с земли. Уже в иллюминаторы офицеры увидели, как на месте падения вспух черный взрыв, и вторая «вертушка», сделав прощальный разворот над местом гибели экипажа, ушла на прочесывание границы. Пока летели, Женька связался со штабом, и оттуда поступил приказ вылетать на место высадки сразу.

Пока Женька переговаривался, Игорек мрачно пошутил:

- Блин! Говорил же тебе, Ян, не потягивайся! Какой вертолет разорвал!

Никто не поддержал. Хорошо, что не разбились. Хорошо, что не рвануло топливо в баках, не детонировали боеприпасы. Что ж. Плюс!

...Последние метры до укрытия преодолели глубокой ночью, крадучись. Спустились с вершины скалы до позиции. Обосновались, замаскировались. Подготовили оружие, о котором заботились больше, чем о себе. В бинокли можно было рассмотреть дома, дувалы, вооруженные посты, патрули.

Разведчики проделали ювелирную работу, выбрав и подготовив место для снайперов, с которого по ориентирам они смогли определить дом с открытой террасой во дворе Масуда. Увидеть все это можно было только с этой точки склона, открытого для свободного обзора и обстрела со стороны моджахедов. Женька подумал, что для него навсегда останется загадкой, как разведчики искали это место, как оборудовали его, обустроили прикрытие из камня. Ведь работали-то прямо под носом у духов. Сколькими жизнями за это заплатили?! Решающим было утро.

По данным, Масуд должен после утреннего намаза на террасе собрать командиров отрядов на совещание. Так открыто он действовал крайне редко. Шанс выдался из-за того, что собирались практически все командиры, и упускать такую возможность было нельзя. Поэтому снайперы проверяли свою готовность еще и еще раз. Твердили приметы Масуда в уме,



настраивали оптику оружия, четко помня давнишние наставления инструкторов: стрелять только в шейные позвонки, в худшем случае - в голову. Выстрел в сердце - шанс на выживание, что недопустимо.

...Отзвенели голоса муэдзинов с точеных высоких минаретов. Правоверные мусульмане, завершив намаз, занялись делами земными.

Четыре пары внимательных глаз с помощью мощной оптики вели неотрывное наблюдение за террасой в абсолютной тишине. Очередность ведения стрельбы определена еще на базе, и все четверо теперь составляли единый организм, тонко улавливая любое, самое малейшее движение, чутко реагируя на дыхание товарища по засаде, казалось, даже на мысли. Женька удовлетворенно оценил спокойствие, царившее в его группе. А что волноваться?! После выстрелов, по сигналу радиомаячка, через десять минут придут вертолеты. Вся проблема - забраться на вершину этой скалы, что за спиной, с которой спустились ночью, перевалить через грядку и бегом в вертолет. Вот и все!

Стоп! Вот они. Хорошо видны. Женька чуть повел стволом в сторону дверного проема, откуда выходили люди. Не он. Не он. Тоже не он. Масуд! Не спешить. Убедиться. Да. Он. Прицел. Дыхание. Курок. Выстрел.

Четыре выстрела прозвучали как один долгий. Перерыв между первым и тремя остальными - доли секунды.

Первым стрелял Ян, стрелял на поражение, остальные - для контроля.

Масуд дернулся и, обезглавленный, повалился на доски террасы.

Уходить. Быстро. Женька нажал на кнопку радиомаяка, словно дал старт. Через девять минут сорок пять секунд там, за грядой, будет ждать вертолет. Быстрее!

Снайперская винтовка имеет особое устройство. Ее выстрел звучит как хлопок в ладоши и доносится как бы с неба. Очень трудно определить по звуку, откуда именно пришла смерть.

Но направление выстрела духи определили мгновенно. Да и движение группы по отвесной стене скалы под яркими лучами солнца явно не маскировалось.

Загремели выстрелы. Обернувшийся Женька увидел, что невесть откуда взывшийся моджахеды черным муравейником устремились из городка прямо к склону, который вел к месту недавней засады.

В четырех человек, быстро, по-пластунски поднимающихся вверх, видных как на ладони, попасть достаточно легко. Тем более что стреляет весь город! Но обошлось.



Склон в течение двух минут был накрыт свинцовым ковром. Плотность смертоносного потока была такая, что попадания в камни превращали их в клуб пыли и визжащих осколков. Может, эти облачка и спасли. Может, скорость. Может, Матерь Божья! Успели, перевалились через вершину.

Женька тряхнул головой, показалось или правда что кто-то застал? Все нормально. Все здесь. Вот они, красавцы. Через минуту... Да вот они, «вертушки»!

Заходя на боевые развороты, два вертолета обрушили лавину огня на наступающих духов, на город. Сами достаточно уязвимые, отвлекали внимание на себя от снизившегося над вершиной третьей «восьмерки».

- Проворней, мужики, - проревел Женька. - Один, другой.. Где Игорь?

Лешка Уфимцев сунулся было назад из вертолета, но Женька толкнул его широкой ладонью в грудь, облегченно вздохнув. К вертолету, потягивая ногу, спешил Игорь, весь в крови, волоча за собой разбитую винтовку.

Ввалившись в чрево вертолета, задвинули хлопком дверь, и машина поднялась в воздух. Следом за ней потянулись и другие «вертушки», оставляя за скалой разъяренного врага.

- Уф-ф-ф!

Можно выдохнуть, прикрыв глаза, смахнуть пот и пыль.

- Игорь! - позвал Женька. - Что с тобой, Игорек? Ранен?

- Сучьи дети! - стонал Игорь. - Падлюки! Чтоб их хряк поймал! - Еле разжмая губы, ругался раненый. - Вот ведь... Ну нет, чтобы в сердце! Что я теперь девчонкам скажу! Ведь засмеют!

Облегченно вздохнули: «Значит, жив, бродяга!» и тут же повалились от хохота. Ненадолго передыхали и опять хохотали, всхлипывая от изнеможения и вновь ржали, выворачивая челюсти, всю дорогу до базы перевязывая зад Игоря, едва ли не в лохмотья иссеченный острыми, как бритва, осколками камней.

.. Нежаркие уже лучи вечернего солнца ласково гладили тела офицеров. Что-то озабоченно шептали набегающие на песок пляжа волны Черного моря.

От административного здания «Соснового» отделилась фигура Женьки.

- Какие-то неприятности, - лениво процедил Лешка. - По походке вижу.

- Какие? - подал голос с соседнего лежака дочерна загоревший Ян. - Фместо отной накраты тве татут? А ты леши, леши, - обратился он к лежащему на животе Игорю и с наслаждением отмщения добавил; :- Сакорай свою сатницу!

- О, у него задница теперь знаменитая, - сразу подключился Лешка, - видел девчонку, что его лечит? Она его героиче-



скую задницу как зеницу ока бережет. Холит и лелеет! Завидуй, Ян!

- Ну, почему как? - попробовал возмутиться и перевернуться на бок Игорь, но захохотал и остался лежать на животе. - Как дела, командир?

Женька с размаху бросился на песок:

- С чего начать, с хорошего или с плохого?

- Тавай с хорошеко! Что в плюсе?

- Отпуск по десять суток с поездкой на Родину. Ну и всем по медали «За боевые заслуги».

- ???

- По медали? - вытянулись лица. - За Масуда?!

Игорь, схватившись за зад, горестно и комично застонал.

- А вот это как раз минус. Умный Масуд, ай, умный! Недооценили мы его. Он уже месяц, как в Пакистане. Совещание проводил один из его двойников... Ну а плюс на минус будет?!

Офицеры промолчали, отвернувшись к кроваво-алому закату за линией моря.

Глава 13. ИЗЛОМ

Ба-да-да-да... Ба-да-да-дах... - автомат.

Рвущаяся мощь и тяжесть в руках автомата - армия, солдаты.

Бегу, задыхаясь, стреляю - приказ.

Страшно, боюсь погибнуть, но бегу - присяга.

Душманы стреляют в меня, я в них - интернациональный долг.

Адское пекло, песчинками в кровь растерты все складки тела - Афганистан.

Добежал, разрушил, убил - правительственная награда.

Убили, замучали, растерзали - «груз-200» - «Черный тюльпан».

Вспышка, взрыв, выстрел, осколки, пуля - больно!

Очнулся? Жив? Потерпи, браток! - санитары. - Больно!

Несут. Погрузили. Свист, рокот вертолета, база. - Больно!

Осматривают, ощупывают. Чисто. Белое. - Врачи. БОЛЬНО!

Черная зелень в глазах, наркоз, звон инструментов - операция. Боль...

Легче, койка, товарищи, бинты - госпиталь. Пить! Больно!

Птицы за окном поют, щебечут - Ташкент. Не Афганистан!

Медсестра какая красивая, заботливая - женщина. Забыл женщин.

Ожидание. Выписка. Сборы. Нетерпение. Документы. Поздравления. Аэропорт - не аэродром. - ОТПУСК!

Не верится. Неужели домой?! На целый месяц! - Сладкие грезы.



Отвык от гражданской жизни. А десять рублей это сколько? За речью следить и следить - через слово мат прорывается. Чувствую, какой стал неуклюжий, грубый. Какая смешная, непривычная гражданская одежда. Это что? Джинсы? А как же в них по горам да по дувалам скакать?! А женщин-то сколько! И не санитарки, не официантки даже, а так, просто красивые женщины. Оказывается, этот мир никуда не делся, стал еще красивее. - А мы там... Твою мать!

Не верю! Нет. Неужели родной город? Забытый? Изменился. Или я изменился? А это что построили? И этого вроде бы не было. Или было? И вот из-за того заборчика очень даже хорошо засаду устроить, как раз спуск под горочку... Ой, да что это я?! Волнуюсь. Родной двор, родной дом. Покурю пока. Да нет, домой, домой! Здравствуй, мама!

Не плачь, мама. Живой, живой. Да. Почти здоровый. Через месяц буду как новенький. Потому и в отпуске.

Как вкусно! Война... Да что... война. Неразговорчивый? Отвык, отучился. Так точно, есть, отставить...

Да нет, не очень опасно. Кормят? Как положено. Да, купаемся.

Мам, я поспать. Какая белая мягкая постель! - Дома!

Дома! Боже, как я отвык! Книги! Марки! Я когда-то собирал марки! Филателист, мать твою... Вот серии марок. Корея. Куба. Вьетнам. Афганистан... Да это же мои стихи. Какие смешные. Нелепые. Как же это все далеко!

Иду, мама, иду. Как вкусно!

Приготовить? Да что приготовишь, то и будет хорошо. У тебя все и всегда вкусно. Пельмени? Да-да, давали. И котлеты? Тоже, тоже давали.

Мам, я погуляю. Да, перебинтовал. Нет, я недалеко. И недолго. Во дворе с друзьями посижу. Соскучился. Вера? Еще не знаю. Mam, ну не расстраивайся, там все курят. Приду - брошу. Ну, я пошел. Нет, не болит. Mam! Ну что ты опять!

...Мамуль! Привет, убегаю. Да, с друзьями в одно место. Ну, ма, ну что я, как мальчишка, с куском буду бегать? Приду, поем. Ну если с яблоками, то кусочек. Ма! Ну что, родственники не поймут? Мне осталось-то полотпуска. По городу побродить хочется. Может быть, вечером с Верой придем. Стесняется она. А ты поспи. Всю ночь около просидела, проплакала. Mam, ну я же слышал. Не беспокойся! Все будет хорошо.

Вер! Если все будет хорошо, приду, поженимся? Я тебя знаю, как люблю! Воробушек ты мой, солнышко золотое!

Да ну ее, эту войну. Ни вспоминать не хочу, ни рассказывать. Гибнут ребята, поневоле задумаешься: за что? Завтра пойдем, я тебя с родителями познакомлю. Как? Уже сегодня? Ночь пролетела как один час. Бедная мама! Наверняка всю ночь не спала. Так смешно и грустно. Она боится, что меня ху-



лиганы могут убить. Правда, смешно? Нет? Не смешно? Ну не буду, не буду. Девочка моя любимая, сказочка, знала бы ты, как не хочется опять туда! Даже думать не хочу.

Ребята? Вот ребята замечательные. Знаешь, как они меня в день рождения поздравили?

В Афгане мы яичницы не видим. Наверное, трудно в такое пекло яйца перевозить - портятся. Если довозят - то мало. Получается одно на восемь человек. А если нет, как черт раздирает, до того хочется. Тем более знаешь, в выходные и праздничные дни по рации положено вареное яйцо. Да мало ли что положено! На «положено»... наложено... Ой, прости, пожалуйста! Терпим, что поделать. Так вот, твоя очередь, тебе достанется. Одно. На гражданке я их ни вареные, ни в яичнице особо не ел. А там... Душу продал бы. Я до сих пор не знаю, как эти черти ухитрились сразу восемь яиц сэкономить. Утром в свой день рождения просыпаюсь, к счастью, не в рейде в тот раз были, а у меня прямо перед физиономией на яйчке скворода с восемью желтками. Представляешь, радость моя, какой богатый подарок! Ведь каждый свою долю отдал, может быть на месяц-два вперед. Помнили, побеспокоились. Не подарок дорог... Только из этих ребят уже троих... Правда, не будем об этом. Ну что, пойдём?!

Мама, ты не знаешь, где мои учебники? Ну, по которым в институт готовился! Ты их никуда не देвай. Приду, снова пытаться буду поступать. Демобилизованным льготы при поступлении предоставляют. А засыпался я не сам. Это комиссии приемной приказали места оставить для детей всяких «шишек». Как зачем?! Чтобы в армию не попали да в Афган не загремели. Сколько служил, сколько спрашивал - ни одного сына из семьи руководителя не встречал. Все простые ребята. Сельских много. Полно таких, как я, которых под осенний призыв на экзаменах провалили. А в институте, я у Верочки спрашивал, или крайкомовские, или горкомовские, или райкомовские. Ты, правда, думаешь, что это случайно?! Эх, мама, мама! Ну, почему сволочи? Наверное, среди этих пацанов тоже люди встречаются. Хоть они уцелеют, если нам не повезет. Кстати, я узнал. Моя работа на экзамене была на «отлично» написана, но... Ты же у меня не партийный работник. Да я тебя все равно обожаю. Ничего, отслужу, вернусь и поступлю. Плохо, правда, что в армии готовиться некогда. Да, в общем-то, и думать отвыкаешь, и нормально разговаривать. Только что не лаешь. Трудно будет готовиться, заново все вспоминать придется. Не беда! Я быстро отхожу. Вот уже стихи начал писать.

Не хочется, конечно, возвращаться. Но ты, мама, не волнуйся! Все будет хорошо, я вернусь. Женюсь. С Верой детей нарожаем. Будешь ты у меня молодая, красивая бабушка!



Мама! Верочка! Да что же вы меня слезами заливаете?! Смотрите-ка, вся гимнастерка мокрая и медаль заржавеет. Служить осталось девять месяцев всего. Нет, все-таки целых девять месяцев. Что скрывать, на календарике каждый прошедший день зачеркиваю. Нас гоняют за это. Не дай бог, увидят!

Вот и самолет. Да, это мой! Напишу, конечно. Конвертов, сами знаете, сколько набрал. Ой, к Игорьковым родителям не зашел. Обидится. Черт! Забыл совсем! Вот гражданка, расслабляет. С одной стороны, как хорошо, в отпуске дома побывать. А с другой - потом вдвое тяжелее...

Посадку объявили. Давайте прощаться. Ну, успокойтесь, прошу вас. Да не рвите же себе и мне сердце, не надо! Мам, Вер, пустите, пора. Ну какие вы, ей-богу! Ну, будет, будет. Да не плачу я! Это вы ревете, а мне просто... да, вот, в глаз что-то попало. Все. Пора.

До свидания, мамочка, до свидания! До свидания, любимые мои. Солнышко. Сказочка. Воробушек. Девочка моя, до свидания! Ждите меня! Обязательно пишите. Да что же я и пальцы ваши разжать не могу! Ах, дорогие мои. Ну все, все, все, пора, побежал. Побежал, побежал, бегу, бегу, бегу, бегу...

...бегу, бегу, бегу, задыхаюсь, стреляю - приказ.

Страшно, боюсь погибнуть, но бегу - присяга.

...Твою мать! - сержант.

Рвущаяся мощь и тяжесть автомата в руках - армия, солдат.

Душманы стреляют в меня, я - в них - интернациональный долг.

Автомат - Ба-да-да-да... Да-да-да-дах...

Глава 14. НЕВДАЛЫЙ

Задиристый, белобрысый, маленького роста Игорь был первым забиякой и драчуном во всей школе. Стонали учителя, завуч, директор, побитые и униженные ученики. Усталая мать Матрена Карповна, старая, седая, неграмотная уборщица в школе только и слышала от педагогических работников: «А ваш...», «А Игорь...», при этом она съезживалась, становилась еще меньше ростом и худенькой ладошкой прикладывалась к сердцу. Директор беспомощно разводил руками. В колонию – мал. Да и драки обычные, мальчишеские, не уголовного характера. Считались с тем, что мать растит Игоря одна, да и уборщицы в дефиците. Тем более что Матрена Карповна, чтобы хоть как-то реабилитировать себя и своего сына, со все большим старанием наводила порядок в школьных туалетах и коридорах, натирая до блеска старые стены и битый кафель с раннего утра до поздней ночи.



Дома Игорь получал нагоняй. Мать, пряча раздрызганные ботинки в шкаф, наказывала домашним арестом и горько вздыхала, хватаясь за больное сердце: «Невдалый, был бы отец, ужо всыпал бы ума через задницу. Сладу с тобой никакого! Вот вышибут из школы дурака, куда пойдешь?!» - и тихонько плакала при этом.

- А чо? В ПТУ, пойду, ясное дело, - зыряка исподлобья глазами, огрызнулся Игорь.

Дождался того момента, когда мать уйдет на кухню или на рынок за жалкими продуктами, своим, давно уже подобранным ключом открывая шкаф, доставал ботинки и мчался на улицу к друзьям, с которыми и покурить, и подраться, и денюжат у киношки «Октябрь» у тех, кто потрусливей, натрясти.

В ПТУ... Как светлого дня ждали, когда закончит он восьмой класс. Все сделали для того, чтобы не остался в девятом, к тому же и на второй год оставался дважды: в пятом и седьмом.

На одногодичном обучении в ПТУ Игорь развернулся во всей полноте своей натуры. Теперь уже стонали мастера, весь курс, район, в котором находилось ПТУ, и появилась неременная спутница - финка в рукаве засаленного пиджака. Игорь изменил внешность: оброс длинными волосами, стал носить широченные клеши, украшенные по вырезам разноцветными маленькими лампочками, включающимися вечером от батарейки в кармане. Стал выпивать - когда сколько. «Под настроение, - как он сам говорил. - А чо?».

Однажды случилась страшная драка с соседним ПТУ.

...До суда дело не дошло. Военный комиссар в разговоре со следователем пообещал через неделю забрать пацана по призыву и посодействовать тому, чтобы попал Игорь в самую горячую точку...

- Невдалый, - горько плакала Матрена Карповна. - Не посадили, так ведь убьют дурака-то, достукался, дубина!.. - и нежно гладила сухими пальцами затылок с непокорными коротко остриженными волосами.

- А чо! - вскидывался Игорь. - И в тюрьме люди сидят. А в Афгане дак вообще - орден заработаю, в люди выбьюсь, небось все и простят.

...Связанному Игорю не выкололи глаза. Он видел, как духи, радостно гогоча, подбадривали выкриками молодого, лет шестнадцати мальчишку, когда он отрезал Шурке Сычеву половой орган и ему же, еще живому, засовывал его в разжатый тем же кинжалом рот, полный крови и каши из битых зубов. Потом самый старший из банды, взявшей в тяжелом бою блокпост, притащил ржавую двуручную пилу, перепилившую многие кубы сушняка и досок в зимние холода, что согревали наших солдат, вырываясь ясными языками огня из тесной буржуйки.



- Сожгут, суки! - подумалось Игорю, - вот щас, дров напилят и сожгут к ... матери, - и прикрыл истерзанные увиденным глаза.

Но нет, не собирались духи ни пилить, ни тратить столь драгоценное для Афганистана топливо. Они, начиная с линии ягодиц, распилили на две части извивающегося под навалившимися на него горячими вражьими телами Гришу Скобина. Стонали мученической смертью погибавшие ребята, потихоньку с ума сходил все видевший, крепко связанный за локти, обгадившийся от ужаса Игорь.

Из обрывочных знаний афганского языка да по ломаному русскому догадывался Игорь сквозь горячечный красный гул, что обращается этот гадский голос к нему:

- Смотри, шурави, смотри внимательно, расскажешь, что видел. Аллах тебя выбрал, живой останешься, всем расскажешь, что видел. Скажи, чтобы убирались с нашей земли, другим - страшнее смерть сделаем. Не мы, так наши дети! - и духи при этом, горделиво цокая языками, тыкали пальцами в молодого парня, чудовищно окровавленного, с широкой улыбкой. На груди молодого духа висело два ожерелья. Одно цветного бисера, видимо, надетое на шею матерью «На удачу, бей неверных!» - другое... другое... На другом были нанизаны, как сушеные грибы, уши. Человеческие уши. И не было секрета чьи, потому что в ожерелье тут же были добавлены новые, сочащиеся кровавыми бисеринками.

Вдалеке уже раздавалось раздраженное тарактенье «вертушек», запоздало пришедших на помощь вырезанному блокпосту в приграничном с Пакистаном кишлачке. Мощно рвались на окраинах погибающего селения первые снаряды - НУРСы, когда молодой душман наклонился над Игорем, разрывая на нем штаны для бесчестья мужского, для надругательства. Ярко взметнулся разрыв за близким дувалом, как раз тогда, когда Игорь нащупал за спиной у края бетона блокпоста невесть откуда попавшую туда гранату и сжал ее слабой обескровленной рукой. Дух, торопясь завершить дело, чтобы успеть за уходившими старшими товарищами, наклонился опять над Игорем, и цветной бисер и сушеные раковины ушей ткнулись солдату в лицо, и, резко развернувшись всем телом на месте, ударил Игорь слабой рукой с гранатой прямо в висок афганскому мальчишке, разом обмякшему и обнявшему шурави. Игорь еще успел дернуть кольцо и швырнуть в спины духов, но подвела неловкость стянутых локтей, да мешавшее тело то ли убитого, то ли без сознания лежавшего на нем. Упала спасительная граната рядом с ногами Игоря... Взрыв... Забытье...

Обе ноги и левую руку отняли в госпитале. Долго проходил курс реабилитации и привыкания к новому способу пере-



движения - на красивом, блестящем никелем кресле с маленьким электрическим моторчиком, включая пальцами рычажки на правом подлокотнике из мягкой кожи.

Чин чином доставили к матери, наградили обещанным орденом Красной Звезды за солдатский подвиг и... забыли. Да ладно только о нем, об Игоре, забыли. Наверное, в спешке забыли оставить ему то замечательное заграничное чудо с блестящими колесами. Теперь Игорь передвигался на тележке, что притащила соседка - тетка Марья, раньше отчаянно ругавшая соседского мальчишку за его проделки и проказы. Теперь же она, потихонечку причитавшая и плачущая, достала из глубин кладовки и притащила наследство, оставшееся от мужа, забуддыги и пьяницы, железнодорожника Степана, давно уже умершего, - деревянную тележку. Обучался Игорь ремнями пристегивать култышки ног и с помощью деревянного «утюжка» оттапливаться от ставшей вдруг близкой земли. Вся сложность была еще в том, что управлять нужно было одной рукой, перебрасывая руку то влево, то вправо, делая при этом одинаковой силы толчки, чтобы не юлить, не дергаться по асфальту, а ехать «прилично», ровно.

На два-три вечера приглашали в родную школу пионеры. Но Игорь, начиная рассказывать, за что получил орден, волновался, впадал в истерику и невменяемо кричал в торжественный зал, потрясая истертым «утюжком»:

- Вы... Вас... Долг, вашу мать...

И приглашения прекратились, тем более что в последний раз в школе Игорь запустил в портрет Горбачева «утюжком», прорвав его наискосок, чем вызвал неслыханный переполох в маленьком городке и скандал в райкоме своими словами, обращенными к очередному генсеку:

- Может быть, и ты меня туда не посылал?..

Металась почерневшая от горя мать, выручающая, забирающая сына из вытрезвителя:

- Невдалый, опять дел натворил...

- А чо! Я ветеран, заслужил!

Игорь опускался и спивался.

Тихо сидя на своей тележке, ждал в углу пивной, пока оставят на столах недопитые кружки, подкатывал ловко к столикам и сливал недопитки в одну. Бывало, какой жалчивый мужик наливал стакан портюхи, бывало, и водка перепадала. Насосавшись, вкривь и вкось, словом «неприлично», как он сам называл свою пьяную «походку», катился Игорь по тротуару и громким треснувшим голосом орал:

- На два отрезка разрезал жизнь мою холодной острой бритвой Гиндукуш..., - или еще чаще:

- Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко,
Что ни день, то снова поиск, снова бо-о-о-о-й...



Его не трогали - калека. Лишь сочувственно смотрели вслед. Дома мать отстегивала его бесчувственное тело, легко поднимала укороченного своего ребенка и, плача, укачивала его на коленях, сидя на старой металлической кровати.

Вызывающий отвращение и брезгливость видом и запахом Игорь перекочевал на железнодорожный вокзал. Собирали бутылки, опять же допивал из них, сдавал приемщику со служебного входа, для скорости не по двенадцать, а по десять копеек, покупал дешевое вино и напивался, глуша, заливая страшную, не утихающую боль души, притупляя картину пыток, сотворенных над его товарищами и над ним, вечно стоящую перед глазами.

Если день был удачным, хмель притуплял, глушил воспоминания. Если охмелеть не удавалось, Игорь не покидал вокзал, пока не получалось «настрелять», выпросить мелочи на «бормотуху».

...Из подошедшей электрички вывалила «компаха» и, брякая награбленными в ночных вагонах медяками, цепочками и заклепками на кожаных штанах и куртках, направилась к зданию вокзала. Парни были не местные, и для них это было развлечением, полнотой жизни, удальством и ухарством. Молодые, лет по пятнадцать-шестнадцать, с волосами-гребнями на прыщавых выбритых головах, они никого и ничего не боялись - уверенная в своей силе стая шакалов, которая иногда нападает на льва.

Для Игоря день был неудачным. До самой ночи не удалось захмелеть. Так, жалкие полстакана «Осеннего сада» обломились у Сереги-грузчика. И покатила Игорь навстречу приехавшим парням.

- Эй, молодые! - крикнул он, торопясь догнать уходивших в вокзал парней. - Да погодите, пацаны! - еще громче закричал Игорь.

Они обернулись удивленно и, радостно гогоча, кольцом обступили сидящего на тележке Игоря.

- Гля! - радостно заорал один из них. - Обрубок! - повел глазами на друзей, чувствуют ли весь юмор ситуации. - Он еще и говорить умеет!

Компания заржала. Затлели огоньки папирос, по обезлюдевшему перрону потянулся приторный запах анаши. Игорь жадно сглотнул слюну:

- Пацаны, дайте «косячок», так, «догнаться» разочек по старой памяти! - сквозь пропитое сознание рвалась гордость, но давило его ожидание возможного скорого кайфа.

- Пош-ш-шел ты! - надвинулся на него главарь компании. - Кто тут тебе молодой, а?! Где ты тут, обрубок вонючий, пацанов увидел?



Глубоко затянулся из «штакетины» главарь и, нагнувшись, выпустив струйку маслянистого дыма прямо в лицо Игоря, уже спокойным, но с глубоким глумлением в голосе спросил:

- Мослы-то свои где кинул?

- Там, где ты, ссыкун, был бы тише воды, ниже травы, - все же выплеснулась ярость инвалида.

- Ссыкун, говоришь? Может быть, ты и прав.

- Во, дает! - зашлась в кривляющемся хохоте компания. - А ну, Дюдя, опохмели его!

Главарь ухмыльнулся, не торопясь выпрямился, расстегнул молнию кожаных обтягивающих штанов, и Игорь почувствовал, не сразу поняв, что в лицо бьет вялая струя мерзкой мочи, норовя попасть ему в сжатые губы, в глаза.

- Га-га-га! - разнеслось радостно по ночному перрону.

- Вот ты и «догнался», обрубок! - глумилась кодла. - Не борзей, урод, вежливо разговаривать с людьми надо. Чо, мама не учила, что ли?! А то ссыкун, ссыкун...

Главарь, застегнув ширинку, наклонился к Игорю и негромко сказал:

- А теперь вали отсюда, козлина, если вообще когда-нибудь «догоняться» хочешь.

На доли секунды яркой ослепляющей вспышкой, осветившей небольшую площадку в афганских горах, со зверски замученными офицерами и солдатами блокпоста, с твердым шероховатым бетоном под спиной, с ребристой гранатой, зажатой в слабой ладони, полыхнуло Игорю в глаза свесившееся с шеи главаря бисерное ожерелье, повешенное на его шею «для понта», черт его знает, чьей сучьей рукой... На доли секунды... Но этого хватило для того, чтобы Игорь увесистым новеньким «утюжком» сильно двинул подонка в висок.

На допросе у следователя парни, подрастерявшие гонор, дали показания, где, как, каким образом раздобыли бензин. Фотографии заживо сожженного Игоря, подвешенного проволокой через толстую ветку огромного тополя в привокзальной лесополосе за уцелевшую руку, произвели на них сильное впечатление. И все же основную часть вины они пытались переложить на мертвого главаря Дюдю, анашу, неприязнь к бродягам нищим и постоянно подчеркивали свое несовершеннолетие. Когда следователь пытался вызвать в них хоть какие-то человеческие чувства и сказал, что Игорь был искалечен на афганской войне, один из кодлы как-то буднично сказал то, что частенько слышал от других:

- А чо! Мы его туда не посылали!

...Пронзительно-хрипылыми волнами плыл над городом голос Розенбаума:

- В Афганистане, в «Черном тюльпане»...



Под скорбное сопровождение тех слов несли короткое изуродованное Афганом и кодлой тело воина-интернационалиста Игоря Мухина в маленьком, несерьезном каком-то, закрытом гробу. Перед гробом несли несколько алых подушечек с наградами, а за гробом, еле передвигая ноги, вцепившись друг в друга птичьими с синими венами руками, шли две пожилые женщины - мать, Матрена Карповна, и соседка, тетка Марья...

Глава 15. Я - АФГАНЕЦ

Я - «афганец». Но не по национальности, а по принадлежности к той войне.

Меня отправило на войну мое правительство.

Тысячи, десятки тысяч раз я погибал. Мое тело рвало на части иностранное и советское оружие.

Миллионы раз мою жизнь спасали и руки врачей, и умные, доблестные, имеющие честь офицеры, перед которыми я преклоняю колени.

Миллионы раз равнодушные, продажные души посылали меня на верную смерть, хорошо зная об этом и беспокоясь только о своем благополучии и об очередном повышении.

Я - «афганец».

Меня благословляли. Меня проклинали.

Меня называли воин-интернационалист, ветеран войны, гордились мной.

Мне бросали: «Оккупант, захватчик, убийца», - и я не знал, куда завести глаза от стыда и что сказать в ответ.

Меня забывали. И я страдал от ненужности своей, от незначительности жертвы, которую я принес.

А в жертву я приносил самое дорогое для меня - мою жизнь!

Я - «афганец».

Сколько раз огнем обиды полыхало мое лицо и кровь бросалась в голову, когда я слышал: «Мы тебя туда не посылали!».

Посылали!

Прямым приказом и молчаливым согласием. Ты - чин самого высокого ранга, понимающий позор и несправедливость афганской войны, ты - чиновник низкой ступени, опасавшийся потерять партбилет и сытную кормушку, вы - остальные, спрятавшие, словно страус, голову в песок, в душе своей говорящие: «Слава богу, не меня, не моего...».

Твоего!

Я - «афганец». Я не простил!

Я не простил за свои глаза, вырванные взрывом мин, вырезанные кинжалом, выбитые камнями позора и унижения.



Я не простил за свои внутренности, вывалившиеся в пыль из разодранного живота и затоптанные в чужую землю вашими ногами.

Я не простил за свой бесстыдно разваленный пах. Взрванный, пузырящийся кипучей кровью.

Я не простил за доведение меня до бессилия человеческого, солдатского, мужского.

Мне дали понять, что слушать меня не хотят, велят мне умолкнуть. И я замолчал на многие годы. И вот запылилась Чечня.

И я не могу молчать.

Опять убивают в мирное время. Таких же солдат и офицеров, каким был и я.

Я – «афганец».

Мальчишка. Школьная скамья не успела остыть после меня, когда я ходил уже по колено в своей и чужой крови, уже дрался в позорной войне, уже подыхал от страшного солнца, привязанный веревками к столбу в центре чужого кишлака, уже замерзал на жутких скалах Гиндукуша, уже тихо умирал на ржавой койке медсанбата...

Что я успел узнать о жизни? Школьные годы. Первую любовь.

Ужас пыток. Тяжесть испытаний. Кошмар убийства. Ожог пощечины, полученной от тебя, мой народ. И черный бархат последнего поцелуя - смерти.

Я – «афганец».

Я – офицер-профессионал, выбравший войну своим ремеслом, знавший, что это на всю жизнь, понимающий в отличие от солдат, на что иду, успевший познать счастье своей семьи, оставивший на земле своих детей. Моя душа разрывалась на части между жалостью к солдатам и чувством долга, присягой в верности тебе, мой народ, между честью офицера и бесчестьем оккупанта.

Это мне кричали, отдавая приказ, уничтожить вместе с чужими своими: «Подберите сопли, майор, и выполняйте приказ! Это война. К черту сантименты».

И я выполнял приказ.

Я – «афганец».

Мою душу изорвали страшные картины войны. Моему мозгу не дают покоя воспоминания о погибших, замученных пытками моих товарищей, об издевательствах со стороны старослужащих, об искалеченных хороших ребятах. Я сходил с ума от невыносимых тягот, выпавших на мою долю, моих друзей, моих солдат, моего народа. Моя психика не выдерживала напряжения противоречий, и я становился равнодушным, жестоким садистом и убийцей, выполнявшим любой приказ не раздумывая. В мой сон долгие годы еженощно приходят тель-



це девчонки, изломанное пулями моего автомата, раздавленное тело старика, расплющенное гусеницами моего танка, разорванный труп мальчишки, оказавшегося там, где упал снаряд моего миномета...

Моя душа преображалась, и я, на всю жизнь поняв, насколько уязвим и беззащитен человек, навсегда отказался от насилия и оружия.

От сумасшествия меня лечили. Я проходил курс реабилитации и слышал за своей спиной: «Он – «афганец». Они все того...».

И, обернувшись на опасливый шепоток, я видел, как ты, мой народ, крутил пальцем у виска.

Я – «афганец».

Мои навыки использовали бессовестным образом и уголовный мир, и государство. И убийство на сегодня - самая обычная, привычная для всех вещь, потому что к гибели привыкли, когда горел Афган.

Только одна ты, мама, тихо плакала от бессилия, когда меня призывали на войну, и рвала на себе одежды от черного горя, узнав, что меня больше нет.

Только ты да отец не отказывались от меня, изуродованного войной инвалида.

Только от вас, родные мои, не слышал я ни одного горького слова в свой адрес.

А ты, народ мой...

Поймешь ли, что война касается не только семей погибающих, их родных, любящих, любимых?!

Что это касается тебя.

Не торопись переключать канал телевизора на развлекательный фильм. Вглядишься в страшную гримасу военных новостей. Не твоего ли сына несут санитары раненого или убитого? Вслушайся в звуки музыки. Не похоронный ли марш для детей твоих звучит?

Неужели только у российских матерей такая черная доля?! Навсегда?

Люди! Призываю вас! Остановите войну! Не допустите новой войны!

И если вы сделаете это, вы спасете... Нет, теперь уже не меня - СЕБЯ.

Поверьте. Прислушайтесь. Задумайтесь.

Это говорю вам я – «АФГАНЕЦ»!



**ХАЗАРСКАЯ МИССИЯ
ФИЛОСОФА**

1

Константин Философ ступил на Хазарскую землю в 860-м году, будучи 33 лет от роду. Возраст Христа ко многому обязывал, и, казалось, груз этот был хоть и тяжелым по ответственности своей пред Господом и державой, но вполне по силам ему.

Едва переведя дух от опасной поездки в Багдад двумя годами ранее, где немногочисленных христиан подданные халифа всячески теснили и унижали, а купцов грабили и продавали в рабство, Константин погрузился в «азбучные лабиринты» в монастыре на горе Олимп. А занятие это требовало не только уединения и сосредоточенности, но пожалуй ещё и постоянного общения с просвещёнными мужами затем хотя бы, чтобы проверить и сравнить, насколько новая грамота буквенная была понятна и проста в использовании. Неожиданная поездка эта в Хазарию и обрадовала, и опечалила его одновременно. В который раз пришлось прервать труды свои и спешно направиться по велению императора и Патриарха - теперь уже в дальние пределы на северо-восток от Константинополя со сложной миссией.

Каган Хазарии, простиравшейся от Каспия до Чёрного моря с востока на запад и от берегов Кубани почти до верховий Танаиса с юга на север, обратился с просьбой направить в свою столицу учёных мужей затем, что пожелал лично определиться и, возможно, склониться в пользу одной из религий своих подданных, так как до сих пор не мог отдать предпочтения ни одной из них. «Отчего же опять на меня пал выбор базилевса, или не даёт ему покоя устремление моё? Для проповеди сиюминутной любой из братии нашей монастырской вполне го-



**ЕКАТЕРИНА
ПОЛУМИСКОВА**

ПРОЗА





тов». Но Михаил ответил ему на это с улыбкой: «Оттого, брат, что никто кроме тебя не способен на такое, ибо мудр и твёрд ты в вере христовой, и ясен ум твой, и быстр. А в споре таком бескровном победа куда ценнее и желаннее, чем все многочисленные набег, бестолковые и гнусные в жестокости своей, потому что отвращают они сердца людские от завоевателей сих».

Сойдя на берег Танаиса-Дона у крепости Шаркил после того, как торговое византийское судно пересекло Меотиду и прошло вверх по течению, он в сопровождении старшего своего брата Михаила и других представителей немногочисленного посольства направился осмотреть город, отстроенный всего четверть века назад с помощью византийских мастеров. Каменные стены надёжно защищали крепость от степных ветров, но внутри дома ещё отстраивались, а большая часть горожан ютился в глиняных мазанках и бревенчатых срубках, придавая азиатский колорит.

На грязных кривых улочках было многолюдно и шумно. Завидев купцов иноземных, толпы мальчишек и оборванцев плотно обступили их в надежде что-то выменять или выклянчить, а на худой конец - стащить у зазевавшихся путешественников. Кто-то из спутников Константина, знавший нравы хазар, всё же успел предупредить, что местные жители, как и многие из кочевников, не считали кражу за великий грех и привыкли брать то, что попадалось им на глаза по пути. Хотя и осели они надолго в этих местах, но не изжили своей вековой привычки, порой спасавшей им жизнь в пустынной и бесплодной степи.

Люди кагана поспешили уведомить миссию о том, что правитель ожидает их в новом летнем дворце столицы. Хамлых стал главным городом и прибежищем царского двора после того, как арабы около века назад вторглись в южные пределы каганата и разгромили прикаспийский Семендер. Столичный град располагался теперь в устье Итиля на севере Каспия. Чтобы поскорее попасть из Шаркила в Хамлых, путникам предстояло около пяти дней идти с караваном по безводной степи под палящими лучами солнца навстречу восточному ветру. Вместо этого каган предложил посольству направиться на юго-восток и пройти по хазарским посёлкам, показав не столько суровый и строгий нрав безжизненной природы, но красоту и щедрость, а более всего - плотную населённость её, углубившись в Предкавказье, почти до самых берегов Кубани и Терека. А затем, повернув на восток, достигнуть каспийского берега и двинуться по воде на север к царскому пристанищу.

Путешествие удлинилось по времени более чем вдвое, но Константин согласился. Ведь прежде, чем бросить зерно



мудрости, надо было хотя бы взглянуть на «почву», которой предстояло принять или не принять новое учение. На скорый урожай было трудно рассчитывать, но вот чтобы новая вера могла пустить корни и дать ростки, надо было выбрать подходящий надел. Тем более, новое путешествие могло случиться нескоро, учитывая накалённую обстановку на южных и северных границах Хазарии. С юга угрожал воинственный халиф со своими многочисленными войсками, а с севера поднимала голову славянская языческая Русь. И каганат мог оказаться между этими мощными жерновами гораздо раньше, чем византийский базилевс защитил бы эти земли щитом небесной мудрости и цивилизованности христианской веры.

Они отправились в путь. Константин хотел поглубже вникнуть в суть предстоящего богословского спора с учёными иудеями и магометанами. В своё время иудеев, изгнанных несколько веков назад из родных мест, вытеснили из Таврии, и они, словно волны в весеннее половодье, разлились по Предкавказью, распространяя и веру, и язык, а также ведя успешную торговлю на всём протяжении северной ветви Великого Шёлкового пути. Магометане тоже не сидели, сложа руки, наводняя хазарские города и аулы, но их влияние не было столь сильным. Им не доверяли ни власти, ни население, так как Хазария несколько десятилетий подряд выдерживала ожесточённые натиски арабского халифата и ничего, кроме подозрения, жители приграничных посёлков к последователям Пророка в большинстве своём пока не испытывали.

Сам же каган был вынужден отказаться от веры предков, неспособной помочь ему дальше управлять более просвещёнными подданными. А склониться к одной из религий было бы крайне неверным шагом, потому как нарастающее противостояние между иудеями и магометанами опасно раскачивало основы власти и раскачивало население. Оставалось одно - привлечь представителей третьей религии из сильного и цивилизованного византийского государства. Как понял Константин - более для того, чтобы немного остудить закипающий котёл страстей подданных, воспользоваться этой передышкой и поправить дела. А там - как Бог даст. Ежели новая вера Христова удержится среди хазарян, то дружба с Византией смогла бы надолго оградить их страну от северных и восточных соседей.

Для успеха своей миссии Константин настойчиво искал хотя бы ростки христианства, возможно, каким-то чудом пробившиеся здесь из случайно обронённых ранее семян. Они ехали мимо холмов, обступивших каменистую дорогу и поросших колючим кустарником, цеплявшимся почти за отвесные склоны. Вот так бы и ему сейчас зацепиться за эту безжизнен-



ную почву, успеть ухватиться хотя бы за кого-нибудь, единого с ним в вере...

И так случилось. Ибо по пути встречались им греческие поселения, а также деревни и посёлки оседлых славян, аланских пастухов и прочих, кто уже имел некоторое представление о Слове Божиим. Услышав о предстоящем учёном диспуте, многие поспешили отправиться следом за Константином и Михаилом в Хамлых и своими ушами послушать, как сойдутся в словесном поединке лучшие мудрецы со всего света. Никто не уйдёт от кагана посрамлённым, но великими почестями одарит он того, кто сумеет убедить в правоте и превосходстве своей веры. И не станет чинить препятствие тем, кто пожелает принять новое учение на веру.

Такова была воля правителя.

2

В Хамлыхе под сенью цветущих деревьев у фонтана с раннего утра собрались учёные мужи и оживлённо беседовали, не дождавшись, когда к ним выйдет каган. Константин присел подле брата в тени виноградной беседки и молча наблюдал за происходящим вокруг. Собрание мудрецов напоминало ему теперь восточный базар, где каждый всё громче расхваливал свой товар, стараясь перекричать другого.

С одной стороны, такая толпа по большей части людей недалёких, более походивших на «торговцев мудростью», забавляла Философа, с другой стороны - осложняла его задачу. Ведь как можно было победить в споре глупца, разве что перекричать его? Но приехали сюда и настоящие знатоки своей религии, которым постижение духовных истин далось величайшим усилием воли и многолетними трудами. Что он скажет им? Что убеждения их неверны, а усилия напрасны? Он вспомнил, с каким цинизмом и презрением слуга халифа два года назад протянул ему бокал с отравленным вином после затянувшегося диспута, и ему благодаря своей наблюдательности и не без воли Божией удалось избежать смерти и не навлечь гнева властителя. В данном случае каган задумал это состязание совсем с другой целью, и победителей в нём не будет. Но выйти с честью из такого спора - это ли не цель на сегодняшний день?

... Вопросы сыпались каверзные, но по сути своей мелкие, касавшиеся более внешней стороны учения, нежели затрагивающие самые основы его. А публика бурно реагировала скорее на образность сравнений. Говорить приходилось и на арамейском, и на греческом, и на хазарском языках. Но различил Константин в многочисленной толпе и славянскую речь. То, что Философ с братом были славянского происхождения,



было известно немногим, и в Константинополе даже осложняло им жизнь. Но сейчас он был несказанно рад тому, что, возможно, его лучше понимают...

Все против всех - таким выглядел этот разговор со стороны. А страсти накалялись.

- Почему вы, христиане, всегда спорите и защищаете своё мнение с Евангелием в руках? У нас ведь вся мудрость всегда находится в голове, но сначала мы изучили Святое Писание, которое невозможно удержать и в двух руках, которое не уместится и в десяток таких тоненьких книжечек, - воскликнул хазарин-иудей, подскочив со своего места.

На это Философ с улыбкой отвечал:

- Если ты встретишь на дороге совершенно нагого человека и он тебя станет уверять, что у него много дорогих одежд и золота, поверишь ли ты ему?

- Нет, конечно!

- Вот и я бы не поверил. Но чтобы прикрыть наготу, достаточно и простого хитона. Зачем мне носить на себе всю свою одежду и одежду всех моих предков только для того, чтобы показать, что я богат? Мудрость Слова Божьего всегда при мне, и она как всякая истина проста и открыта для того, кто впустил её в сердце своё. А вот ответ теперь ты мне - какое живое существо достойнее всех на земле?

- Человек, ибо он создан по образу и подобию Божьему! - воскликнули сразу несколько человек.

- Как же не назвать слабыми умом тех, кто утверждает, будто Бог, ежели пожелает, не сможет уместиться в человеке? Разве он не уместился в купине, или облаке, или в грозе, или в дыму, когда являлся Моисею или Иову?

- Бог велик и всемогущ, но не должен Он являться всякому, ибо не сравнится с ним в величии и силе.

- Тогда скажи, как можно вылечить одного человека, когда болен другой? Когда врач хочет помочь одному, зачем надо прикладывать компресс другому, или ставить примочки на дерево или камень? Разве получит род человеческий обновление и спасение не от создателя своего? Ибо кто более милосерден, чем Он!

- А почему вы придерживаетесь обычая, согласно которому царя из одного рода можете заменить на царя из другого рода? Мы всегда соблюдаем родовую преемственность. У каждой звезды на небе есть своё место.

- А разве Бог на место Саула, не совершившего ни одного богоугодного дела, не поставил Давида, который был верен своему Богу и роду?

...Пришло время трапезы. Каган, утомившийся диспутом, жестом прервал собрание и пригласил всех мудрецов за стол.



Когда гости расселись, он поднял кубок с вином и провозгласил:

- Выпьем во имя Бога единого, создателя всего живого.

Константин поднял чашу и добавил:

- Во имя единого Бога, создателя, во имя того, кого Он создал - сына своего, и во имя животворного духа.

На что каган, улыбнувшись, ответил:

- Все мы об одном говорим, но по-разному думаем. Вы славите троицу, а мы, соблюдая Писание, лишь единого Бога...

Философ поклонился правителю и продолжил:

- Скажи, о мудрый царь, ежели кто чтит тебя, но не чтит твоё слово, твой закон и дух твой и сына твоего, а другой чтит и тебя, и слово, и закон и дух твой, и сына твоего, то кто же из этих двоих более почитает и уважает тебя самого? - Тот, кто чтит всё это вместе, - улыбнулся каган и выпил вино из своего кубка. А затем, после напряжённой паузы, вымолвил:

- Поэтому, мы поступим так - пусть каждый из последователей веры своей поступает так, как велит ему его закон, его дух, ибо говорим мы об одном. А я пока не склоняюсь ни на чью сторону. Тому, кто пожелает пойти за последователями учения Христова, равно как и остаться приверженцем веры иудейской или магометанской, мешать и препятствовать не стану.

На следующий день сотни человек, слышавших во всех подробностях спор мудрецов, приняли веру Христову. И были эти люди разные по происхождению своему, но большей частью из тех многочисленных славян, что возделывали поля на равнинах предкавказских и устремившиеся в Хамлых за проповедниками послушать новое слово учёных мужей, так похожих на них самих по обличию и речью своей. А Константин Философ (Кирилл) с братом Михаилом (Мефодием) после того поспешили вернуться в Константинополь. Зерно учения Христова было брошено в благодатную почву. Но грамоту новую, простую и понятную для того, чтобы смогли принять многие народы Слово Его, Константину ещё суждено было довершить и донести в отдалённые части империи Византийской.



МСТИСЛАВ ХРАБРЫЙ

*«Песнь пояше... храброму Мстиславу,
иже зареза Редедю предъ пълкы касожъскими».
«Слово о полку Игореве»*

1

- Эй, князь! Выходи биться со мной один на один! А? Что скажешь? Если ты победишь, мои воины уйдут, а если я - тогда ноги твоей не будет на этой земле! Ни-ког-да!

Слова знатного касожского воина, горцевавшего на горячем гнедом аргомаче, покрытом красной попоной, едва долетали с противоположного берега реки. С ним был ещё десяток всадников, вооружённых до зубов, разодетых в сверкающие на закатном солнце кольчуги и медные конические шлемы. А поодаль, почти у самого горизонта, подняв тучу пыли, к берегу двигалось объединённое конное войско алан и касогов. Через час они будут здесь и останутся на ночлег, а на заре перейдут реку Маныч и окажутся на земле Тмутараканского княжества. На русской теперь земле.

Князь Мстислав Владимирович, прозванный Храбрым за удаль и смелость свою, силу и доблесть воинскую, восседал на игреневом скакуне и молча исподлобья смотрел прямо перед собой, будто не слыша этих дерзких выкриков.

- Дозволь, княже, мне стрелой его достать, чтоб не изгойлся, - рыжебородый ратник подъехал вплотную к князю и вскинул лук.

Заметив этот жест, трое касожских воинов вмиг закрыли круглыми щитами повелителя, а один из его спутников хлестнул коня и направился прочь, навстречу медленно приближавшемуся, но пока едва различимому вдалеке войску.

- Постой, Егорий, я узнал его, это Редедя, великий князь касожский, давно не встречались.

Мстислав снял шлем, и на плечи его упали золотые кудри, чуть с проседью, но такие же густые и вьющиеся, как в молодости, когда нынешние враги впервые свиделись.

А было это более пятнадцати лет назад, на свадьбе, в гостях у аланского князя. Он выдавал замуж сразу двух своих дочерей. Одну, старшую, за Редедю, а другая, младшая, досталась ему в жёны - молодому русскому княжичу, усмирившему в битве алан. Договорились, что княжна будет венчаться по христианскому обычаю и отправится с мужем в столицу Тмутаракани. Аланы забудут дорогу в русские земли, а русичи не станут искать ни дичи, ни добычи, ни каких других дел и забав на этом берегу.



Решилось тогда всё очень быстро. Свита Мстислава с коней спешила, девицу сопроводили к главному храму, что на берегу Кубани возвышался, у самых предгорий Кавказа. Под сводами святыми взглянул князь на невесту свою и обомлел - до чего же хороша княжна аланская. Косы смоляные почти до пят, очи карие с поволокой из-под пушистых ресниц, как звёзды сияют, строго и серьёзно. Брови густые, изогнутые, словно крылья летящей ласточки, что перед грозюю, как молния, пронзает небо над степью. А стан её, будто стройное деревце. Обтянут бархатными одеждами да поясом серебряным схвачен. И тончайший белый шёлк голову покрывает, словно корона цветущей черешни - от дуновения ветерка чуть подрагивает. Простые воины во время венчания за стенами храма простояли вместе с родичами княжны, а потом снова вскочили на коней и разъехались в разные стороны.

Княгиня Тмутараканская Анастасия, супруга Мстислава, рука об руку с мужем верхом день и ночь скакала - ни слова про усталость не вымолвила. Посмотрит на князя звёздными очами своими да коня прищпорит. Как стали реку вброд переходить, остановила она скакуна, обернулась туда, где осталась за горизонтом её родная земля аланская, затем поводья тронула и взор потупила. Больше никогда не смотрела в ту сторону. Так и прожили они душа в душу. Народились у Мстислава двое ребятишек - сын и дочь, погодки, Евстафий и Татьяна. А княгиня всюду за князем следовала. Вот и нынче в шатре своём ждала терпеливо, когда он со свитой из дозора возвратится.

Задумался Мстислав над словами Редедиными. Войско теперь у касогов сильное, аланы примкнули к нему и не отступят. Позабыли они мечи русичей, повергнувшие их. Да и вызов не принять не может он. Что отказать в поединке, что проиграть - всё одно. Ровно тридцать лет назад, когда он ещё мальчишкой десятилетним был, отцу его Владимиру Красное Солнце печенежский хан предложил сразиться. «Выпусти, - говорит, - своего воина, а я своего, пусть борются без оружия. Ежели твой моего оземь бросит, то три года воевать не будем. А ежели твой воин на земле окажется, то разорять вас будем три года, и мира не жди». Отец разослал по лагерю гонцов в поисках добровольца, однако, с печенежским богатырём никто не отважился выйти на поединок следующим утром, так велик ростом и могуч телом оказался этот печенег. Тогда из русского стана вышел какой-то старец и сказал князю Владимиру:

- Княже, есть у меня дома меньшей сын. Я пришёл с четырьмя старшими, а он дома с матерью остался. Так отродясь его ещё никто оземь не бросил. Дозволь послать за ним.



Удивился Владимир, велел послать за молодым. А Мстислав тогда поблизости оказался. Ходил неотступно за отцом, боялся что-нибудь пропустить.

Прибыл юноша в княжий стан и назвался Яном Усмарем. Услышав, зачем князь его звал, промолчал боец, но всё же согласился выйти на поединок. Окружили воины соперников, и когда печенежский богатырь вступил в круг и увидел, с кем ему предстоит бороться, то рассмеялся в лицо ему, ибо русич неказист на вид был, среднего роста, и выглядел вполоружия меньше печенега. Однако, когда соперники сошлись и обхватили друг друга руками, Ян Усмарь удавил печенега до смерти, а затем, подняв над собой, бросил его на землю. Русские воины, вдохновлённые неслыханной победой, с боевым кличем ринулись на печенегов, а те, не выдержав натиска, обратились в бегство. Мстислав с тех пор только и думал, как стать таким же сильным да удалым, как тот молодой русич-богатырь. Как-то раз встретился княжич с силачом Яном и спросил, откуда сила такая взялась у него. Богатырь обнял Мстислава за плечи и сказал, что призывает он в трудный час на помощь Владычицу Небесную, Богородицу. И победу над врагами посвящает славному имени её. Но об этом никому не рассказывает, только ему, сыну Владимира, великому князю, поведал секрет сей.

И вот теперь Редедя бросил ему вызов, отказать от которого он не может и не должен ни при каких обстоятельствах. Да и не зря же на Руси прозвали Мстислава Храбрым.

А касок не унимался. Тоже шлем с головы стащил, чуб рыжий по ветру развевается, борода курчавая на солнце красной медью отликает:

- Эй, князь, будешь биться со мной - по обычаю нашему, без оружия? Или вместо себя кого поставишь? Ежели проиграет мне воин твой - убью его рукой своей, пойду на Русь войной, княгиню твою себе возьму, твою дочь сыну своему в шатёр на забаву отдам. А твой сын будет до окончания века у моего сына за стремена держаться, да за конём его ходить.

Вспыхнули гневом очи князя. Надел он шлем на голову, вынул меч из ножен и поднял над головой. Воцарилась тишина. Тогда князь крикнул, да так грозно, что лошади захрапели и забили копытами, словно от рыка дикого барса. Любил с детства Мстислав рассказы про деда своего, князя Святослава, и ни в чём не хотел уступать ему - ни в умении ратном, ни в силе, ни в беспощадности к врагам.

- Слушай меня, Редедя! Я буду биться с тобой сам, завтра на восходе. Пусть даже по обычаю твоему - без оружия, без доспехов. Ты уже сказал, что за победу свою возьмёшь. Но ежели я тебя одолею и брошу оземь, то не поднимешься ты после этого. Я убью тебя перед воинами твоими, но детям твоим не будет позора. Сыновья твои станут мне сыновьями, буду кре-



стить их по нашему обычаю, а старшего сына твоего женю на дочери своей, и воинов твоих тоже возьму в дружину свою.

- Не бывать тому! - воскликнул Редедя, поворотил коня и пустился галопом прочь от берега к касожскому стану.

Мстислав же поехал в свой лагерь и направился к шатру Анастасии.

2

Княгиня Тмутараканская Анастасия жарко молилась у образа Пресвятой Богородицы, стоя на коленях и распустив волосы. Была она также красива, как и прежде, но лицом бледна. Не спалось ей этой ночью. Редедя привиделся ей, да только мальчишкой совсем. Сестру старшую прочили тогда замуж за царя грузинского, а за касожского князя ей полагалось выйти. Дикий и грубый был отрок, охотился часто поблизости от их замка и всё к девичьей башне норовил подскатать с посвистом да гиканьем. А когда княжна молодая выглядывала из узкого окошка, выхватывал он из ножен кинжал, улыбался в полный рот, вытаскивал из-за пазухи рябчика или перепёлку, а однажды фазана, вонзал клинок в грудь птицы и бросал на землю под копыта своему коню. Птицы окровавленные бились в пыли в предсмертной агонии и долго снились потом аланской княжне. Как-то раз Редедя, уже повзрослевший, крикнул ей, что ежели о другом юноше она помыслит, то убьёт он её, как ту перепёлку.

Когда русичи разгромили войско аланское, и отец согласился выдать одну из дочерей своих за Тмутараканского князя, выбор отца пал на младшую дочь. Старшая теперь предназначалась Редедю, а касоги претендовали на власть в Алании. Редедя нахмурился тогда, метнул испепеляющий взор на обеих сестёр и прошептал, как змей прошипел, что не быть аланской княжне и русскому князю вместе. А потом вынул из-за пазухи степную пичужку, скрутил ей шейку и бросил к ногам княжны.

Выскочила тогда княжна из дома, взбежала испуганной серной по тропинке на самую вершину горы, чтобы в последний раз на солнце взглянуть, и видит, как по степи всадники мчатся. Доспехи в лучах золотым огнём сверкают, а впереди на сером в яблоках жеребце летит воин, почти не касаясь земли. Волосы из-под шлема золотые выбиваются, красив он и статен, ликом светел, плащ алый развевается по ветру. Будто сам Святой Уастырджи по степи скачет, или же один из нартов, сыновей древнего бога войны Арты. Догадалась, что это за ней, что судьба её решилась уже на небесах, и не сможет более Редедя её донимать.



Но вот нынче явился Редедя ей во сне с окровавленной перепёлкой и диким смехом разразился. Только Пресвятая Богородица сможет защитить.

Мстислав неслышно подошёл к ней и обнял за плечи. Анастасия вздрогнула, вскочила и спрятала лицо на груди князя.

- Лада моя, не печалься, в обиду не дам ни тебя, ни детей своих, ни землю русскую. Редедя дерзок, да глуп. Не победить ему меня.

- О том и молю Богородицу, и ты помолись!

Вспомнил вдруг Мстислав совет Яна Усмаря, богатыря русского, который печенега чудесным образом победил и оземь бросил, направился к себе в шатёр и полночи провёл в молитве, никого к себе не допуская. Только под утро сморил его сон, и будто приблизилась к нему во сне Пречистая Дева, светлая, как солнце на рассвете, коснулась лба и исчезла.

Как только туман стал подниматься над Манычем, подвели князю скакуну, подали одежды. Он же прежде пояс-кушак трижды вокруг талии опоясал, из оружия только нож прихватил, как и было условлено, а меч, секиру и булаву оставил пристёгнутыми к седлу. Ратники его поехали вслед за ним, далее и всё войско двинулось к берегу реки. А напротив ковьяльная степь пестрела воинами касожскими и аланскими, стоявшими так плотно, что казалось, стреле негде было вонзиться в землю. Редедя ступил в лодку один и направил её к противоположному берегу, оттолкнувшись веслом. Ступив на русскую землю, решил он приветствовать воинов и обернулся. Диким воем и рёвом ответили касоги князю своему, словно стая волков взвыла на полную луну.

- Воины мои всё видят, князь. Не жди от меня и от них пощады. Мы пойдём на Русь.

Мстислав молча спешил и сбросил с себя кольчугу и рубаху, Редедя сделал то же самое. Касожский князь был невысок ростом, но могуч и мускулист. Смуглая кожа играла в лучах солнца, а на поясе болтался кинжал в дорогих серебряных ножнах. Запястья его стягивали кожаные ремешки. Волосы также оказались связаны на макушке в тугой узел. Мстислав затянул кушак, осенил себя крестным знаменем, и противники сошлись, яростно набросившись друг на друга, как два медведя в чаще, как два ястреба в небе.

Боролись они долго, то сжимая один другого в железных объятиях, то подбрасывая вверх или отшвыривая в стороны, заламывая руки и чуть ли не сворачивая шею, а жилы и мускулы вздувались и перекатывались под стиснутыми пальцами и ладонями. Никто никому не уступал в ловкости и силе. Вдруг Мстислав начал изнемогать и слабеть, ибо Редедя всё же оказался сильнее и выносливее, да стал клонить князя к земле. Искося взглянув поверх головы касожского воина, князь уви-



дел в небе ласточку. Вспомнил он о княгине своей, о горячей мольбе её и о словах Редединых.

- О, пресвятая Богородица, помоги мне! Ежели одолею его, то воздвигну церковь во имя Твое, - воскликнул князь, обратившись к Богородице.

И словно вдохнул он в себя силу новую, невиданную, схватил касога за пояс, приподнял над землёй и швырнул оземь с такой силой, что Редеди охнул и сник. Но через мгновение открыл глаза. А лицо исказилось не то от боли, не то от судороги или от усмешки.

- Ты... победил... Убей...

Голос Редеди был глухим, а говорил он с трудом, потому как кровь хлынула горлом, обогрив песчаный берег.

- Я слово своё сдержу, пусть же твои воины убираются воясяи!

Мстислав крикнул эти слова так, что всадники на том берегу отшатнулись и на несколько шагов назад отступили. Затем он обнажил свой нож и вонзил клинок по самую рукоять в шею Редеди. Тот вздрогнул, дёрнулся и вытянулся, упав к ногам русича...

Вернувшись в столицу Тмутаракани, князь Мстислав Храбрый (из Любецкого синодика стало известно, что назван он в крещении Константином) воздвиг каменный храм во имя Пресвятой Богородицы в честь своей победы в поединке над великим князем касожским.

А в «Повести временных лет» остались на века такие слова: «И нача изнемогати Мстислав, бо бе велик и силен Редедя, и рече Мстислав — «О пресвятая Богородица, помози ми, аще бо одолею сего, съзижду церковь во имя твое». И рек се, удари им о землю, и вынзе нож и зареза Редедю».

ЗНАК СОКОЛА

- 1 -

- Иван, ступай, разбуди графа. Светает...

Павло Калустов, казачий есаул, чётко выговаривал слова, не отрывая взгляда от широкого лезвия охотничьего ножа, на треть вогнанного в спил старого дерева, служивший столешницей. Посматривая в это стальное зеркало, отражавшее пламя костра, разведенного тут же во дворе под открытым небом, он брился обоюдоострым черкесским кинжалом, раздувая щёки и морщась от резкого восточного ветра, то выжимавшего слезу из глаз, а то игравшего смоляной прядью волос, норовившей перечеркнуть морщинистый загорелый лоб казака.



Сентябрь 1797-го выдался холодным, без единого дождя, с ночными заморозками и полуденными пыльными бурями. Небо несколько дней застилала густая завеса облаков, будто пушечный дым, нависший над полем битвы, напрочь скрывающая очертания хребтов Кавказа у самого горизонта, так что ногайские степи казались бесконечными и оттого ещё более унылыми и безжизненными. И лишь со вчерашнего дня стали попадаться кое-где на пути пирамидальные тополя, впервые от самой Астрахани, а ветер всё гонял и гонял по необозримым просторам пучки сухого вереска да тучи песка.

Обоз остановился поздним вечером накануне, на заброшенной почтовой станции в пригороде Кизляра. Путешественникам никто не отворил ворот, а дом с заколоченными ставнями и покосившейся кровлей негостеприимно встретил гробовым молчанием. Пришлось спешно размещаться на ночёвку по своему усмотрению. А так как ржавый засов не желал поддаваться, калитку сорвали с петель. Потом казаки всё же навесили её обратно, но от ветра она протяжно скрипела и завывала, точно собака на покойника, и хлопала вывороченной дужкой о косяк. За двое суток перехода по степям от Колпичьей до Бороздинской все так умаялись, что спать улеглись без особых церемоний на деревянные топчаны в нетопленном помещении, закутавшись в кафтаны и тулупы. Огонь развели часовые во дворе, да и те к рассвету мирно храпели, прижавшись друг к дружке спинами.

И только светлейшему графу Потоцкому, тайному советнику министерства иностранных дел, высокородному польскому дворянину, учёному, писателю и путешественнику, отправившемуся в сей вояж с высочайшего повеления государя императора российского Павла I, выделили отдельную хатенку-мазанку, крытую камышом, что стояла чуть поодаль у колючей изгороди. Граф не возражал. К тому же в городе всё ещё свирепствовала лихорадка, и день-другой нужно было переждать, пока мажор Кизляра генерал Киселёв не будет официально уведомлен об их экспедиции и не пришлёт сопровождающих.

Казак Иван, возвращавшийся из персидского плена, один из таких же оборванцев, примкнувших к обозу в Астрахани, кивнул есаулу и молча направился к графской мазанке. Кашлянув в кулак и потоптавшись у порога, он негромко стукнул в ставню и окликнул:

- Иван Осипыч, ваш сиятельство!

Ответа не последовало, а в хатке царила зловещая тишина. Тогда казак оглянулся по сторонам, перекрестился и постучал настойчивее, причитая вполголоса:

- Иван Осипыч! Вы ведь вчерась приказали разбудить, так светает уже...



Судя по всему, в хатенке никого не было. Иван постоял молча ещё с минуту, не решаясь войти, но любопытство всё же пересилило. Он потянул дверь на себя и заглянул внутрь.

Напротив на деревянном столе без скатерти стоял кованный железный сундучок, над которым от движения воздуха вздрогнул огонь лампы и озарил вспыхнувшим неровным светом закреплённое на стене серебряное распятие, искусно сработанное на католический манер. Под потолком, среди паутины, обильно припорошенной пылью, были развешаны пучки трав, берёзовые и дубовые венички да сушёные гроздья дикого боярышника, припасённые ещё с прошлого года. Вдруг перед самым Ивановым носом качнулась чёрная тень, оказавшаяся летучей мышью. Раздался писк, и один дубовый веник с шумом полетел на пол. Казак чихнул, в ужасе отшатнулся, захлопнул дверь и привалился к ней спиной, не в силах сделать ни шагу. Только сердце зашло в обешенного стука.

- Царица Небесная, спаси и помилуй! Чур меня, чур... В Персии уберёт Господь, так дай же мне и отсюда, грешному, по добру - поздорову ноги унести.

Надо сказать, что граф Потоцкий, весьма просвещённый и учтивый человек, к тому же ещё и практиковавший как походный врач, пользовался уважением среди попутчиков и «аборигенов», представителей местных народностей, с которыми ему удалось познакомиться и пообщаться во время своего затянувшегося восьмимесячного вояжа. Однако ж, имел он и дурную славу, будто был на короткой ноге с нечистым. И сундучок этот кованный, откуда его щедрой рукой раздавалось золото-серебро в виде пожертвований и за всякие услуги, не становился оттого легче.

Кому как ни Ивану, нанявшемуся носить вещи и прочий скарб высокого питерского вельможи, покуда не доберутся аж до самого Екаринодара, было это известно. А когда неделю назад один грузинский священник имел долгую, конфиденциальную беседу с графом, так Иван помог отнести к служителю Божьему в кибитку несколько кошелёв с золотом, пожертвованных на восстановление разграбленного персами и осквернённого православного храма.

Теперь, когда сердцебиение немного унялось, Иван стал соображать, что раз уж графа сейчас нет, и собаки его дьявольской тоже, так и в сундуке этом не убавится, если он туда одним глазочком заглянет и самый тощий из кошелёчков незаметно прихватит. Но оклик есаула вывел его из оцепенения:

- Иван, ну что там? Где граф?

Тот вздрогнул, отделился от стены и вернулся к костру, вокруг которого суетились казаки с похлёбкой.

- Так нет его там, вот те крест – нету...



Иван снова чихнул и закивал в сторону хатки, виновато моргая.

- Так... Опять караульные проспали графа! И куда их сиятельство направились – не ведомо! - Павло выхватил нож из столешницы и мигом вскочил из-за стола, а кинжал вложил в ножны, так и не добрившись. – Михайло, выводите лошадей, седлай! А вы, олухи, обшарьте тут всё вокруг! Коней и девок воруют, конвойных убивают, провиант на базар тащат! Не хватало ещё, чтобы светлейшую особу в плен из-под носа увели и продали! Оправдывайся потом перед самим государем императором.

В это время в ближайшем лесочке за оврагом грянули ружейные выстрелы. Казаки забегали, выводя под уздцы четырёх молодых коренастых коней, недавно купленных на базаре у калмыков за полцены. Вернее, покупали трёх. Четвёртого им подарил купец, как только узнал, что коней этих желает приобрести сам господин Потоцкий, с которым тому посчастливилось познакомиться у князя Тюменя. То, что кони эти предназначались вовсе не для верховой езды или упряжи, а для трапезы, выяснилось гораздо позднее, когда пару попытались запрячь в телегу на смену старой кобыле, подвернувшей ногу. Граф тогда от души смеялся, а потом приказал отставить телегу и навьючить лошадей, ещё не привыкших таскать за собой повозки. Но теперь за неимением других средств передвижения в случае необходимости приходилось рассчитывать только на десяток добрых казачьих лошадей, хорошо обученных, но обессиленных долгой дорогой, и этих необъезженных калмыцких коньков.

Пока двое казаков пытались приладить сёдла, а другие удерживали за уздечки молодых норовистых жеребцов, Иван и сам не понял, как опять оказался у графской мазанки и проскользнул внутрь.

Комната была пуста, и он решил оглядеться повнимательнее. На столе перед сундучком среди вороха бумаг виднелась полупустая чернильница с несколькими очинёнными гусиными перьями. Видимо, граф засиделся за дневниками допоздна. Какие-то листы были исписаны по-французски, а картонные – разрисованы фигурами лучников и конных воинов-кабардинцев. Но поверх всех этих рисунков лежала огромная карта, ещё не доведённая до завершения, с тщательно выведенными латинскими буквами, среди которых полуграмотный казак успел разобрать крупным шрифтом нанесённое название Скифии. Над кроватью с небрежно брошенным на неё дорожным широким плащом висела старинная сабля с дорогой рукоятью без ножен, которые расположились на двух гвоздях чуть пониже, а вот ружья нигде не было.



Ясное дело, граф вышел прогуляться по какой-то своей надобности, а может быть и не по своей. Человеком он был смелым и умным, привычным к путешествиям безо всяких удобств, но с высочайшего позволения и благословения обладал над людьми немалой властью. Да и постоять за себя умел, о том и казаки, и знакомые графа всегда при случае упоминали – с некоторым благоговением и даже завистью.

Иван быстро протянул руку и приподнял крышку незапертого сундука. Запустив в него пальцы, он схватил наугад три кошелька, набитых монетами, и сунул их за пазуху, потом завязал кушак потуже и снова потянулся к сундуку, как вдруг...

Позади раздалось глухое рычание, от которого ноги подкосились, а сердце ёкнуло, пропустив очередной удар, а затем неистово зашлось барабанной дробью. Не иначе, это сам граф упырём порхал по комнатке, прежде чем запутал мысли Ивановы, а теперь вот решил обернуться серым волком, чтобы позавтракать незадачливым казаком. Он собрался с духом и обернулся, сотворив крестное знамение.

Ах, уж лучше б это был оборотень, который бы растворился от одного набожного жеста или сквозь землю провалился на Иваново счастье. Да вот только, во плоти и крови, застыл перед ним в охотничьей стойке огромный графский пёс породы «польский огар» с лоснящейся чёрной мордой и рыжими подпалинами, вращая янтарными глазами и оскалив ужасную пасть. Высокие и крепкие передние лапы оказались широко расставлены, а хвост вытянулся параллельно полу и в напряжении своём не уступал натянутой тетиве гигантского сарматского лука, готового спустить на непрошенного гостя весь звериный гнев.

Иван попятился было назад, но пёс, упреждая его движения, рванул к нему, вцепился зубами в кушак и потянул на себя. Ещё рывок – и кушак развязался, доставшись псу, который принялся яростно трепать его из стороны в сторону с диким рыком. А кошельки из-за пазухи полетели вниз, и один из них разорвался, усыпав гнилой пол хатёнки мелким серебром. Иван ахнул и отступил на шаг к кровати, успев всё же дотянуться и сорвать со стены графскую фамильную саблю.

В этот миг входная дверь со скрипом распахнулась, и на пороге появился граф Ян Юзефович Потокций собственной персоной. Вид его был грозен – в высоких охотничьих ботфортах, зергаке - киргизском кожаном платье, подпоясанном широким расшитым поясом, и в кожаных штанах. На лоб была низко надвинута немодная по тому времени, но видимо - очень удобная в походе широкополая войлочная шляпа, украшенная темно-зелёными и чёрными фазаными перьями, из-под которой на Ивана устремился испепеляющий взгляд карих глаз, оттенённых смоляными бровями. Орлиный тон-



кий нос добавлял хищности и уверенности выражению его скуластого, загорелого лица. В руках, обтянутых лайковыми перчатками, граф держал ружьё и стянутые ремешком тушки двух только что убитых диких гусей.

Несколько мгновений прошло в напряжённом молчании, пока граф и казак пристально всматривались друг в друга, но первым шагнул вперёд Потоцкий, отбросив гусей в сторону и подняв ружьё двумя руками. Казак же взмахнул саблей и приготовился защищаться, так как отступить было не куда.

Когда же граф заговорил, слова его произвели на казака гораздо большее впечатление, чем направленное в грудь ружьё:

- Тебя ведь Иваном нарекли, как и меня, в честь Иоанна Предтечи. Так ты моей же саблей убить меня замыслил, а не только ограбить? Хорош тёзка – убийца и вор... Молись, казак. Сам знаешь, как с ворами и убийцами поступают. Вояки здесь уже отучили горцев коней воровать и разбой чинить.

Как известно, даже местная знать не гнушалась грабежами и разбоем, нападая на проходящие караваны и обозы, но после того как княжеского отпрыска казаки однажды прогнали сквозь строй как вора, разбойничий энтузиазм несколько поубавился. Горцы тогда возмутились и даже пытались отомстить, но им было заявлено, что если бы потомок знатного рода явился к ним в гости, как князь, а не как вор, ему бы оказали воистину княжеские почести.

Иван бросил саблю на пол и повалился графу в ноги:

- Прости, ваш сиятельство, бес попутал... Званье-то казачье, а житьё собачье. Год из плена персидского домой пробираюсь, чудом выжил на чужбине, а к басурманам в беспамятстве попал. Натерпелся и позору, и побоев, и голоду, и болезней. Покупали меня и продавали, как скотину безмозглую – то турки, то киргизы, то лезгины, а выкупил меня и отпустил в Астрахани купец из Кабарды. Но прежде снял с меня всё, что можно было снять – и халат драный, и шапку, в одних протёртых штанах на дорогу выбросил, кормить, говорит, тебя дороже. А тут ты, вельможа столичный, щедрый такой да вежливый – лучше пристрелил бы меня тогда сразу. Не хотел я тебя убивать, только денег на дорогу думал прихватить, а саблю по привычке схватил, чтобы жизнь свою поганую отстоять. Да не судьба, видать...

Потоцкий, чувствуя, как презрительная жалость шевельнулась где-то под сердцем, опустил ружьё и кликнул пса:

- Арей, ко мне. А ты, иуда, верни кошельки на место. Серебро собери с пола, возьми себе, сколько унесёшь, и поди вон!

Графский пёс как ни в чём не бывало бросил разорванный в клочья кушак и послушно лёг у ног хозяина, положив голо-



ву на витую рукоять сабли. А Иван так и застыл от изумления, не веря ушам своим.

- Ну, что стоишь столбом? Клади кошельки обратно, бери деньги с пола и убирайся к дьяволу, чтоб духу твоего... Пся кровь!

Иван, наконец, понял, о чём говорит граф, и с поразительным проворством бросил два кошелька на место в сундучок. Затем достал из-за пазухи тряпицу и молча принялся собирать в неё монеты, которые почему-то сами выпрыгивали из трясущихся рук. Тут пёс, которому, как и графу, надоело наблюдать за однообразными и неловкими движениями вороватого казака, широко зевнул и громко рывкнул. Иван подхватился и исчез за дверью, чуть не выронив свою нечестную добычу.

Потоцкий проводил его презрительным взглядом и, снова обращаясь к Ареу, произнёс:

- Вот так, друг мой. Хотел бы я знать, куда его заведут эти тридцать сребреников?

Вспомнилось, как неделю назад одному осетину крещёному, что из плена от горцев сбежал, предлагал остаться до весны - людей и так не хватает. Но тот упросил дать ему заряженное ружье и отпустить. Дескать, три года дома не был, а в пути всякое может случиться... Так вот, добрался ли он домой, или как? Отпустил его, а у самого сердце не на месте, уж лучше бы джигит при нём остался. А этому бы воруге сквозь землю провалиться! Лихой человек. Не зря на Руси не принято ничего с дороги поднимать, ни денег, ни вещицу какую - всё одно к беде. Хорошо, что теперь избавился...

Вот и давеча граф забрёл в рощу на рассвете, а там птицы-соколы молодых стерегли у сетей, и в таких причудливых одеяниях - костюмы их, сплетённые из ветвей и травы, напоминали усечённые конусы, будто кусты на полянке примостились, в виде башенок. Купил тогда граф у них только что пойманного сокола, едва ставшего на крыло, да и выпустил на волю, загадав при том: «Ежели приведёт меня какой знак небесный в место заветное, то откроется мне и тайна великая. А ежели нет, так и всё это путешествие зазря».

Ему ли, шляхтичу знатному да рыцарю мальтийскому, словно соколу быстроекрылому, залетевшему бог знает в какую даль, было не знать, что знаки Божии лишь по воле Всевышнего человеку являються - то ли на милость, то ли на погибель. Сокол на свободе - стало быть, к Богу поближе. Это у здешних жителей птицы хищные и вместо оружия, и вместо друга, и вместо дозорного на плече. Калмыки да киргизы без своих соколов никуда ни ногой - и спят с ними в одной юрте, и пищу добывают, и просто так по степи скачут. А горцы дер-



жат их разве что для забавы охотничьей да хвастают друг перед другом.

Когда встретился графскому обозу по пути из Астрахани караван подданных Шамхала, главы всех кумыкских князей, то во время прогулки горцы, примкнувшие к каравану, выпустили своих соколов на фазанов и зайцев. Инал, князь из рода Бековича, словно желая с самими птицами посостязаться в меткости и быстроте, выстрелил по воронам стрелами. Зрелище это было потрясающее, и Потоцкий, друг и весьма способный ученик самого Франсиско Гойи, уже потом бросился рисовать по памяти того всадника, восседавшего на лошади и стрелявшего из лука.

- А помнишь, Арей, как на тебя глядя, изумлялись подданные князя Тюменя? Для них ведь собака – вроде посланника ада, смерть ходячая. А ты мне играючи то ружьё в зубах подаёшь, то обронённую перчатку, а то и у моего шатра как часовой всю ночь глаз не сомкнёшь, так что мышшь мимо не проскочит.

Пёс словно в ответ понимающе фыркнул, вильнул хвостом и выбежал за порог. Следом вышел и граф, вложив саблю в ножны и пристегнув её к широкому кожаному поясу.

А во дворе царила суматоха.

Конвойные, пытавшиеся оседлать калмыцких коньков, обернулись на шум в графской мазанке и, видимо, перестарались, затянув подпруги сильнее обычного. Рыжий жеребец с коротко подстриженной гривой куснул одного казака, лягнул другого, взбрыкнул и, перемахнув через плетёную изгородь, скрылся в овраге.

- Стой, окаянный! – заорал казак, которого Калустов называл Михайлом, но, прыгая через изгородь, зацепился сапогом и завалил её.

Тем временем остальные три конька посбрасывали сёдла и вслед за первым ринулись к оврагу, разбегаясь в разные стороны и сбивая с ног всех, кто пытался удержать их за уздечки или преградить путь. А один жеребец так вовсе взбесился и перевернул повозку с амуницией.

Павло Калустов с наполовину побритым, перекошенным от ярости лицом, взмахнул с досады рукой и, увидев графа, процедил сквозь зубы:

- Ах, чтоб вас, бестии.. Вот и пожелай теперь кому доброго утречка, ваше сиятельство.

Потоцкий пожал плечами, будто это он один был виноват во всех случившихся за утро недоразумениях, и кивнул в сторону мазанки:

- Я тут с утра поохотился в лесочке. Пошли человека, пусть оциплет гусей да бульон сварит. Всё лучше, чем пшёнку на



воде с плесневелыми сухарями глотать, а потом животом маяться...

Что ни говори, а мясо дикого гуся было привычнее для европейского человека, чем от какой другой птицы, водившейся в этих местах. Граф невольно улыбнулся, потому как припомнилась ему встреча неделю назад с родичем одного из купцов, у которого пришлось быть на постое. Тот сильно хворал и пришёл к Потоцкому посоветоваться о способах лечения, заодно прихватив ещё и живое лекарство, которым оказалась крупная сова. Граф назвал бы её филином, а татарин подробно принялся рассказывать, что предпочитает убивать их и есть тушеное мясо, производящее хороший потогонный эффект. К вечеру пациент собственноручно приготовил из этого филина вполне сносное блюдо и угостил графа аппетитной ляжкой. Мясо этой птицы оказалось даже слишком жирным, с хорошим нежным вкусом. Бедная сова, невинная жертва народных предрассудков! Никаким потогонным эффектом её мясо не обладало, как, впрочем, и другими приписанными ей чудодейственными исцеляющими свойствами. При крайней необходимости он, Потоцкий, не побрезговал бы и такой экзотической снедью...

Он ещё с полчаса простоял во дворе, наблюдая, как служивые ловили да вели в поводу разбежавшихся полудиких степных лошадок. А когда вернулся в хату, то уже ни тушек гусиных на полу не оказалось, ни единой упавшей монеты на глаза не попало. Вот и гадай над этими «знаками небесными». Кому воля, кому пуля, а кто душу свою сам в капкан загнал и продал за гривенник.

Только псу своему безгранично доверял граф. А ещё - Провиденнию.

Да и как тут понять, что к чему, когда с месяц назад поднялись казаки черноморские вскоре после завершения войны с Персией и подали челобитную своему атаману. А назначенный в Екатеринодар государем императором, но не выбранный самими казаками, «канцелярский атаман» Котляревский на тот момент разбираться не стал. И покатила волна до самой столицы - а там окрестили дело сие «персидским бунтом» и препроводили посланников казачьих в крепость для подробных разбирательств да допросов...

- 2 -

- Арей, отчего так пусто теперь на душе? Подумать только... Почти полтора месяца ушло у меня на то, чтобы в точности воспроизвести карту Птолемея, которую я держал в уме полтора года, как Юпитер Минерву... И вот она появилась на свет, хотя я уж и не смел надеяться... Вот, отсюда пошла вся



наша общая история славянская. Пути Дария в Скифию и караванов Борисфена... Карта выверена мной и уточнена, насколько это возможно.

Потоцкий с усталым видом сидел перед камином в старом кресле, прикрытом овечьей шкурой, вытянув ноги поближе к огню и наклонив вперёд голову. А в руках покоилась гравюра с личными пометками и пояснениями графа на латыни и французском, подробно изображавшая нынешнее Предкавказье. Собеседником его, разумеется, был пёс, застывший, как изваяние, возле ботфорт хозяина.

В небольшой комнате было прохладно и непривычно светло для этого времени года. В конце октября темнело рано, но сегодня весь день сыпал снег. Сначала мелкий, точно крупяная, а потом повалил хлопьями, будто ослепительно белыми лебяжьими перьями укрывая ещё зелёную траву, кустарники и плоские крыши глиняных домов Кизляра - пёрышко к пёрышку, пушинка к пушинке. И так - с утра до сего часа без перерыва.

Генерал Киселёв, комендант Кизляра, на рассвете отправился в Артшук, казачий пост по эту сторону Терека, и позвал с собой графа. Но Потоцкий пожелал остаться дома. Сослался на плохое самочувствие и насморк. Однако, причина была не в этом. Киселёва известили, что сегодня на пост придут горцы для обмена заложников, а зрелище такое совсем не поднимало настроения и не придавало сил столичному аристократу, которому сегодня вечером предстояло тесно общаться с чеченским посланником Урусом. В прошлый раз граф едва выжал из себя слова приветствия после того, как увидел измождённых, изувеченных людей, проводивших в плену не один год. Одному он так и не смог помочь - ни своими снадобьями, ни именем Господа Бога Всемогущего и Предтечи его Иоанна. Бедолагу схоронили через неделю. А Урус тогда с упоением и во всех подробностях философствовал о том, как и зачем одни люди в горах устраивают засады и охотятся на других людей. И с удовольствием пил водку. Русскую водку из личных графских запасов.

Сегодня Урус обязательно зайдёт в гости, чтобы снова выпить водки, поесть шашлык и пуститься в воспоминания. Рассказчиком он был отменным, этого дара у него не отнять, что тут скажешь... Но на пленников смотреть граф больше не мог, иначе хандра обует совсем...

Дверь скрипнула, и Павло Калустов вошёл с дымящимся подносом в руках, на котором горой высились золотистые куски жареной баранины с косточками. Павло поставил поднос на стол и потянулся к портъере, скрывавшей в стене неглубокую нишу. Там на полках стояли графинчики с водкой, уже разлитые и приготовленные к трапезе.



- Ваш сиятельство, я мигом в погреб за огурчиками. А Урус уже здесь, во дворе с казаками бранится. Шашку казачью где-то раздобыл - выкупил или выменял, а казаки свои кинжалы повытаскивали. Кто кого перехвастает.

- Смотри, не передрались бы...

- Вряд ли. Что-то Урус сегодня кислый, небось мало дали за обмен товаром. Или задумал что.

- Ладно, зови его сюда, от греха подальше.

Граф спрятал карту в сундук и стал прохаживаться по комнате, стараясь справиться с волнением и собраться с мыслями. Хитёр был этот посланник – то делает вид, что не понимает, о чём его спрашивают, а то вдруг по-французки начинает песенку напевать. Про своих сородичей так ничего и не рассказал, зато про других соседей своих кавказских знал всё, даже то, что те и сами о себе не знали. Потоцкий потом едва успевал записывать. Если бы не Урус, так ничего бы про здешние обычаи и не ведал. Да и то, что он говорил, оказывалось чистой правдой. Не врал никогда - или молчал совсем, или правду говорил. А то, что правда иногда страшной бывает, винить Уруса несправедливо. Вот и теперь приготовился граф слушать.

Горец вошёл в комнату с озабоченным видом, бесшумно, в мягких и узких кожаных сапогах, в чохе и черкеске с башлыком да в лохматой овечьей шапке-папахе, надвинутой на лоб почти по самые брови. Судя по выражению его бледного, как будто воскового лица, он был действительно не в духе. Однако, учтиво поклонившись графу, прошёл к дивану в глубине комнаты, застланному дорогим сукном и заваленному шёлковыми подушками, и молча сел, одну руку положив на колено, а другой придерживая дорогой кинжал на поясе. Шашку у него всё же отобрала охрана у входа в дом.

Потоцкий развернул кресло спинкой к камину, так, чтобы огонь согревал ему поясницу и не выдавал случайным отсветом выражение его лица, а затем присел напротив Уруса. Калустов придвинул столик с трапезой так, чтобы он располагался как раз между хозяином дома и его гостем, а сам примостился на табурете почти перед дверью, чтобы в случае чего не позволить горцу беспрепятственно покинуть помещение.

Первую рюмку водки выпили молча, как на поминках. Урус взял с подноса кусок мяса на косточке и стал медленно пережёвывать. Потоцкий выдержал паузу и, наконец, заговорил:

- Ну что, Урус, какие теперь новости на Кавказе? Как прошла твоя сделка?

Глаза гостя недобро вспыхнули:

- Убытки одни! Ваш генерал отказался мне заплатить за двоих пленных и зачем-то пригрозил, что впредь будет рас-



плачиваться не золотом, а головами моих соплеменников. Потом всё же дал денег, но вдвое меньше, чем обещал. О, Аллах! Я ведь только посредник, а не разбойник, разве я взялся за плохое дело?

- А что за пленники, за которых генерал не хотел платить?

- Да так... Один осетин, другой русский. Обоих уже полумёртвыми я выкупил высоко в горах у бека одного. Думал, не доведу. Осетина в яме держали и не кормили неделю, так он и ослабел. А другого, который несколько раз бежал, ловили и всякий раз что-нибудь отрезали, а потом прижигали калёным железом и стегали, как осла упрямого. Вот он умом и тронулся. Ещё одного беглеца в овраге недалеко от Кизляра мои джигиты подстрелили, но искать не стали, всё равно подохнет.

- Иезус Мария! – прошептал граф и сотворил крестное знамение, вспомнив, как отпустил больше месяца назад осетинского джигита, а затем и вороватого казака. Но вот который их них ушёл от смерти, а который нет, знать бы наверняка... – А что, в плен попадают только российские подданные? С другими что делают, если те отказываются в рабстве жить?

- В плен берут тех, за кого можно либо выкуп взять, либо кто хорошо работает. Христиане на себя рук не налагают, думают, что ваш Бог их освободит. А освобождаю их я, магометанин. Язычники-ингуши и карабулаки тоже попадают, но они предпочитают себя убить, чем в плену оказаться. Ну и зря, хозяин ведь тот, кто кормит. А за это можно и поработать. Вот пёс твой слюной изошёл, я его угостить хочу. Неужели ты думаешь, что голодной твари есть дело до того, какому богу служит его хозяин?

Урус бросил графскому псу кость с остатками мяса и опустошил очередную рюмочку водки. Но Арей не двинулся с места, однако, прижал уши к затылку и насторожился.

- Он не притронется к еде, пока я не позволю, - произнёс граф.

- Это потому, что он не голоден. А если его на цепь посадить и дней десять продержать впроголодь, так он и груши зелёные будет глотать. Кто покормит и милость проявит, тот и хозяин. Продай мне твоего пса, и через месяц он будет мне пятки лизать.

- А если не будет? Это ведь не просто пёс, а друг мой верный. Я друзей не продаю, уважаемый.

- Может, всё же продашь? Не друга - а пса?

- Урус, ты мой гость. Мы с тобой разной веры, но за одним столом нам совсем неплохо. Сегодня я тебя угощаю, завтра ты меня. Значит, и Христу, и Аллаху так угодно. А ежели не угодно было бы...

Урус скривился и перебил графа:

- А хочешь, расскажу тебе одну историю...



Перебивать хозяина застолья было совершенно не по правилам, и Урус это отлично знал, но допустил такую выходку, будучи уверен в своей полной безнаказанности - на правах гостя.

- А хочешь, я расскажу, - тут же в ответ перебил гостя Калустов, широко улыбнулся и незаметно сжал рукоять сабли, на которую всё время опирался при разговоре.

Однако, водка потихоньку сделала своё дело, и Урус как-то обмяк и успокоился, забрался поглубже на диван, поджав под себя ноги, и откинулся на подушки, приготовившись слушать.

Тогда есаул пригладил усы и ударился в недавние воспоминания:

- Я когда был на водах Эндери, один горец-ингуш привёл с собой девушку, молоденькую, красивую. Украл он её из родного селения, но жениться не спешил. Жили они тайно у одного купца, что тканями персидскими торговал. Как-то приходит этот абрек к купцу и просит одолжить денег. Купец ни в какую. Кто ж в долг даст лихому человеку? А тебе зачем, спрашивает? Абрек и говорит, будто проиграл он по-крупному в кости другому абреку, а тот ничего, кроме золота, не признаёт. Уж и девушку ему свою предлагал, да тот отказался.

- Девушку свою? - изумился граф.

- Да-да. Тогда купец и отвечает, если ты мне девушку свою отдашь, я не откажусь, а заплачу за неё тканями - забирай вполцены. Абрек покачал головой и говорит - это ты купец, а не я. Пойди сам продай свои ткани, выручи за них золото и забирай невесту мою. На том и порешили. А девушка всё слышала и упросила купца в тайне от абрека взять её с собой на базар. Тот взял и пока ткани продавал, девушка отлучилась, отыскала неких джигитов и поведала им своё горе. Может быть, и ты с ними был тогда, Урус?

- Ты правду говоришь, есаул. Был я там. И вот что она сказала, - произнёс Урус, поморщившись, - ворвалась, словно бешеная лисица, и закричала: «Знайте, что я - несчастная сирота, и каждый может меня безнаказанно обидеть. Человек, который привёз меня сюда, обещал жениться на мне. Но вместо того, чтобы сдержать слово, он продал меня и купил ткани для одежды, которую он никогда не будет носить!»

- И что ты сделал, Урус? - спросил Потоцкий.

- Ничего. Зачем мне строптивая девушка, тем более - чья-то бывшая невеста, которую уже опозорили и пообещали продать другому?

- А кончилось это вот чем, - продолжал Павло. - Когда купец привёл её в свой дом, она повесилась на первом же дереве в саду. Чужой наложницей не стала. Верно я говорю, Урус?



- Да, тёмный народ, дикий, - закивал Урус, имея в виду соплеменников этой несчастной девушки, - ничего-то им не дорого, ничего они не любят. Только свои священные скалы – Иерда. Зачем-то поклоняются маленьким серебряным побрякушкам-идолам, просят у них дождя и других даров небесных, а называют их цуумы.

При этом Урус причмокнул, пытаясь щёлкнуть жирными пальцами, но затем вытер их о вышитую льняную скатерть и продолжал:

- А слышал ли ты, сиятельный граф, что князь Инал недавно оплакал свою младшую дочь? Он похоронил её с кормилицами, которых по обычаю закопали заживо вместе с мёртвой княжной, а родственницы в Кизляре уже вторую неделю рвут на себе волосы и одежды. Как тяжело потерять любимое дитя... Уж лучше совсем не иметь. Говорят, граф, что ты своего заболевшего племянника, которого даже называл сыном и который тебя всегда сопровождал, оставил у великого князя Тюменя? Глядишь, поправится... А вот достопочтенный ногайский князь Кайтуко, как ты знаешь, пребывает в весьма почтенном возрасте, однако, до сих пор не женат. Зато силён и ловок, настоящий джигит!

Потоцкий отметил мысленно, что Урус, действительно замечательный рассказчик, умел вовремя повернуть разговор в нужное русло, не преминув при этом сказать то, что по его мнению нужно было сказать, как бы резко и злоуще это ни звучало. Но откуда хитрец прознал про «племянника»? Надо бы срочно отписать Тюменю, чтобы переправил юношу подальше на восток. Нынче в Сибири не так опасно, как здесь или в столице...

Потоцкий был подавлен, но всё же решил вытянуть из Уруса ещё что-нибудь эдакое, чего не слышал раньше. Он окликнул собаку и разрешил съесть брошенный кусок, чем доставил гостю немалое удовольствие. Арей с аппетитом принялся за кость, а Урус расплылся в улыбке.

- А расскажи-ка мне, дорогой гость, что-то такое, о чём ты никому и никогда не рассказывал, - предложил граф, и Павло плеснул в рюмочки из другого графина, так как первый был опустошён.

- Ну что ж, твоя водка, моя сказка... Но только это удивительное изваяние стоит не на моей земле, и не в горах, а на высоком холме над берегом реки Этоки, где выше него парят только соколы, и небеса изливают на камни у его подножья свою божественную сияющую бирюзу. Лицо его всегда обращено к золотому восходу...

- Что это? – граф приподнял бровь, выражая искреннее любопытство, на что Урус хитро прищурился, растягивая удовольствие завладеть вниманием вельможи, словно Шахереза-



да, которая обрывала свои рассказы на самом интересном месте и продолжала только на следующую ночь.

Чеченец зевнул, сытно икнул и словно позабыл, о чём только что завёл разговор. А потом вдруг спохватился и продолжил:

- Никто не знает, кто такой был этот Дука-бек, но старейшины всех родов думают, что более уважаемого предка не было на этой земле, и всякий род посчитал бы за великую честь назвать его своим Великим Скептухом. Князь Шабаз, старейший из князей, может указать тебе путь, чтобы ты сам поклонился изваянию. Если без разрешения Шабаза будешь искать Дуку-бека, большая беда падёт на твою голову. А к Шабазу может проводить мой дальний родственник, князь Алибек, что живёт в своём ауле напротив Наурской. Я извещу его, и он встретит тебя, как дорогого гостя. Ты ведь всё равно собирался туда?

- Я только в мыслях собрался, а тебе уж известно стало. Как так? – прищурился граф, и глаза его сверкнули не то от проснувшегося любопытства, не то от неудовольствия.

- Ты ведь сам говорил, что идёшь в Екатеринодар. А туда одна дорога – через Моздок до Георгиевска и дальше по берегу Кубани. Так?

- Верно. А что, твой родич тоже пленниками торгует?

- Нет, он праведный человек. Рубашки носит, хлеб сеет, а торгует молоком и сыром с казаками из Наурской. Не веришь? Когда увидишь его сам, пусть тебе стыдно станет, что не доверял мне.

- Стыдно мне не будет, я грабежом да разбоем не промышляю, людьми не торгую. А кто такой этот Шабаз?

И Урус пустился в долгие и живописные пояснения на предмет того, какая родословная была у Шабаза, князя Малой Кабарды, какая у него свита и какая стройная, хотя и немолодая жена. Первый же вопрос, заданный графом при встрече с Урусом, так и остался без ответа – о политических новостях по ту и по эту сторону Кавказа.

Когда накатила ночь, Павло проводил захмелевшего Уруса в гостевые покои, располагавшиеся в домике напротив. Уже в коридоре, крепко сжав руку посланника чуть выше локтя, он заговорил с ним по-чеченски, так как знал несколько горских языков и наречий:

- Так что, Урус, это ведь тебе тот абрек в кости много золота проиграл, и ему пришлось своей невестой расплатиться? Что ж ты её от смерти верной не спас? Она ведь к тебе сама пришла!

- Уважаемый, ну зачем мне чужая невеста? И что мне за дело до того, где этот абрек деньги взял! Если бы он не запла-



тил долг, ему бы даже священные скалы не помогли... А водка у графа хороша...

- Мерзавец, - с досадой уже по-русски буркнул Калустов, подталкивая Уруса через порог, где его подхватили под руки двое казаков. - Уложите его спать. Да чтоб глаз с него не спускали, даже со спящего. Шашку утром вернёте, когда уезжать надумает.

Павло снова оказался в комнате графа, и тот немедленно велел доложить ему о том, что делается сейчас на Кавказе. А вести были и впрямь неутешительные. Но самые печальные дела творились в Армении. Джават-хан из Ганджи, возвращаясь из Чора, где стояла аварская армия, готовая напасть на Грузию, велел выколоть глаза и отрубить руки всем жителям, обвинив их в содействии России. Должно быть, этот Джават-хан и склонил Ага-Могамед-хана совершить набег на Грузию.

- Надёжны ли сведения? - быстро переспросил граф.

- Да, ваше сиятельство. Об этом говорил Пастукай, дворянин из Эндери, из рода Кукая. Он уже оказывал нам свои услуги. Я вручил ему подарок от вашего имени, чтобы скрепить дружбу.

- И что, он принял дар?

- Я едва уговорил его.

- Хм, вот как... Это ведь против правил на Кавказе?

- А это как посмотреть. Но я проверял сведения и получил подтверждение. Один армянин из Чора своими глазами видел там аварскую армию. Кстати, у аварцев хорошая дисциплина. Этот же человек сказал мне о том, что Сурхай-хан кази кумыков, явился в Дербент, чтобы повидать Ших-Али хана, своего давнего друга.

- Это тот самый Сурхай-хан, который при подстрекательстве Ших-Али хана воевал с Россией?

- Да, ваше сиятельство. Головорез! Он полностью истребил тогда целый батальон наших стрелков. Но ещё один путешественник, прибывший на днях из Тифлиса, рассказал мне о том, что аварцы уводят своих поселенцев и весь скот на три версты от этого города.

- Понятно. А причина возможной войны - это то, что царь грузинский на неопределённый срок отсрочил выплату долга аварскому хану. Грузия, друг мой, думаю, не сможет долго простоять. Если, конечно...

Потоцкий замолчал и стал нервно ходить по комнате, что-то обдумывая. Арей, которому, передалось волнение хозяина, поднял голову и сосредоточенно наблюдал за каждым его движением, словно графу мог угрожать кто-то невидимый, но очень могущественный.



Наконец, граф остановился посередине комнаты и продолжил размышления вслух:

- Если, конечно, не прибегнет к помощи Турции. Средство, может быть, наихудшее, а не просто плохое.

- Говорят, что несколько грузинских князей из правящего дома сильно склоняются к тому, чтобы принять магометанство.

- Та-ак... Значит, этот ход вполне вероятен!

- Возможно. Один из них только что овладел Эриваном, где сможет образовать новую династию. Есть сведения, что в этой победе ему помогли татары Борчалю, живущие в провинции Сомхетии на юге Грузии. Их большинство подчинено князю Али Султану.

- Распорядись, чтобы нашли гонца – отправить к государю с депешей. Я сейчас же отпишу.

- Когда ехать, граф?

- Немедля. Как только будет готово послание, я тебя кликну. А сейчас прикажи не беспокоить.

- Слушаюсь.

Калустов вытянулся и звякнул шпорами, затем развернулся и быстрым шагом вышел, плотно прикрыв за собой дверь...

Депешу государю отправили нарочным около полуночи, приставив для охраны ещё двух стрелков.

...Наутро, когда Урус проснулся и пожелал ещё раз увидеться с графом, ему сообщили, что Потоцкий выехал с обозом в сторону Моздока ещё до рассвета вместе с генералом Киселёвым. Никаких церемоний по поводу торжественного завтрака со вчерашним графским сотрапезником, чеченским посланником, не предполагалось. Ему просто возвратили шашку.

Урус пробормотал в сердцах «Даал!», поежился от утреннего промозглого холода и пустил галопом своего холёного гнедого аргамака по сонным, заснеженным улицам Кизляра.

- 3 -

Граф Потоцкий сердечно попрощался с генералом Киселёвым при въезде в станицу Новогладскую, покинув таким образом край гребенских казаков и оказавшись на территории семёновских. Путь его теперь лежал к Наурской, где он намеревался погостить у знаменитого генерал-лейтенанта Савельева, русского человека, знавшего лучше всех «свой Кавказ». А Киселёв поторопился вернуться в Кизляр, неприятно удивлённый поразительной осведомлённостью Уруса о том, куда направляются тайные дипломатические посланники его величества. В распоряжении графа всё же оставался вооружённый эскорт - дюжина казаков и десяток стрелков.



Тем более, начиная с этого места, с противоположного берега Терека взору открывалась возвышенная равнина, круто обрывающаяся со стороны реки. Эта равнина была пустынна и безлюдна, изобиловала небольшими балками, изрезанными пойму, да невысокими холмами, так что нельзя было и придумать лучшего ландшафта для засад горцев на протяжении всего пути. Караваны, идущие от Черного моря до Каспия, периодически подвергались здесь нападениям разбойников, о чём путники были неоднократно предупреждены. И так как приближались сумерки, граф пожелал остановиться на ночлег в Калиновской, представлявшей собой небольшой укрепленный посёлок, вполне приспособленный для отражения таких набегов.

По дороге к станице граф с сопровождающими обогнал купеческий обоз с провиантом, медленно тянувшийся вдоль обочины. Оказалось, что колесо одной из повозок, нагруженной крупой, наскочило на крупный валун, и деревянная ось треснула. Отрядив одного из своих людей в помощь, Потоцкий пришпорил коня и во главе отряда направился было к станичной околице в надежде отыскать для постоя отдельный дом, как вдруг позади раздались ружейные выстрелы и крики. Несколько всадников с гиканьем и свистом из придорожного оврага, поросшего колючим кустарником, налетели на обоз, остановившийся примерно в полмили от Калиновской. Есаул Калустов, осадив скакуна, скомандовал отряду разделиться, чтобы стрелки и двое казаков припробовали графа в станицу и вызвали подмогу, а сам с остальными казаками рванул на выручку незадачливым попутчикам.

Когда Павло с казаками подскочил к обозу, две повозки оказались опрокинутыми, трое людей, сопровождавших обоз, встали у одной из них спинами друг к другу и яростно отбивались саблями от окруживших их конных джигитов. Силы были неравными, а слуг и охрану абреки не щадили, это было известно всем. Ещё двое разбойников с закрытыми лицами уже стаскивали с арбы и связывали верёвкой двух купцов - стариков-армян, громко причитавших и извергавших проклятия на всех известных им кавказских языках и наречиях.

- Держись, уважаемые! - крикнул есаул и ринулся на абреков, возившихся с купцами.

Один из нападавших развернулся и молча обрушил град сабельных ударов на Павла, да так, что искры посыпались в темноте от звенящей стали. Лицо этого джигита было невозможно разглядеть, но его глаза дико сверкали из-под надвинутой на лоб папахи. Казаки из свиты Потоцкого подоспели вовремя и отогнали окруживших пеших простолюдинов, пытавшихся защищаться чем попало. Оказалось, что один из них, видимо нанятый купцами, неплохо владел шашкой, да так,



что ему удалось отобрать её у раненого в руку абрека, едва не упавшего с лошади.

Тут из оврага посыпались стрелы. Абреки сообразили, что казаков не так уж много, и можно было ещё попробовать сразиться хотя бы за часть чужого добра, чуть было не доставшегося им целиком. Джигиты, пригнувшись в седлах и вылетев на дорогу, мигом распрягли две телеги и растворились вместе с лошадьми в накативших потёмках. А купец, присевший на край перевёрнутой повозки и потиравший недавно скрученные ремнями руки, только что освобождённый одним из казаков, вдруг с истошным криком свалился на землю, как куль. Один из всадников потащил его на аркане по каменистой дороге к яру, черневшему на противоположной стороне дороги. Павло кинулся было ему на выручку, но его самого окружили три джигита, пытаясь выбить из рук саблю и стащить с лошади.

- Да сколько же вас тут, шакалов, понабежало, - только и успел выговорить сквозь зубы Павло, поднимая скакуна на дыбы и пытаясь раскидать в стороны нападавших.

В это время он краем ока углядел, как тень всадника в надвинутой шляпе и развевающимся плаще в сопровождении огромного пса вихрем пронеслась по дороге. Один удар его сабли сразил наповал джигита, схватившего Калустова за сапог и пытавшегося стащить с лошади.

- Ваш сиятельство, прочь! Благослови вас Бог, сами справимся! - только и успел крикнуть есаул и в следующий же миг увидел, как граф пустил коня галопом вслед за похищенным купцом и, нагнувшись почти до земли, разрубил верёвку.

Однако, в воздухе засвистели ещё арканы, граф вылетел из седла и исчез из виду в придорожных зарослях. За ним с громким лаем последовал пёс и рванулся один человек из разграбленного обоза, вооружённый только чужой шашкой и кинжалом. Всё произошло так быстро, что есаул с казаками, раскидавший наконец разбойников, понял, что дорога и придорожные кусты разом опустели, абреки как сквозь землю провалились, растворившись во тьме, и след их вот-вот простынет. Да и графа не видно нигде. Казак выругался и прищипо коня, направив его в колючие заросли.

Между тем, Потоцкий, нежданно-негаданно чуть было не оказавшийся в плену, так же неожиданно обрёл свободу, потому как подоспевший ему на выручку мужик метнул кинжал в абрека, тащившего графа на аркане, а затем одним махом рассёк и сам аркан, стянувший чуть ли не до крови левое запястье сиятельной особы.

- Не ушиблись, ваш сиятельство? - знакомый голос, но теперь уже без оттенка страха, раздался над головой графа.

Тот сдвинул шляпу со лба и взглянул на спасителя своего:



- Иван?

- Я! - кивнул тот самый человек, который едва не обобрал Потоцкого перед въездом в Кизляр, и которого тот милостиво отпустил на все четыре стороны, гадая, как закончит свою лихую жизнь несправедный казак.

Меж тем, Иван сгрёб графа в охапку, поднял с земли и поставил перед собой, а затем подтолкнул под локоть в направлении к дороге, откуда послышались голоса. Они вышли к обозу вдвоём, чуть ли не обнимку, в сопровождении вилявшего хвостом Арея с графской саблей в зубах. А казаки словили и подвели графу его коня.

Стычка закончилась так быстро, что подоспевшие из станицы люди, вооруженные до зубов, с пиками, ружьями и факелами, только развели руками да помогли пострадавшим от наглого нападения путникам перевязать раненых, запрячь оставшиеся целыми телеги, перегрузить в арбы и повозки разбросанные мешки с провиантом и прочим скарбом да сопроводили в посёлок.

Павло намеревался отправить немедля депешу в Наурскую, чтобы оповестить Савельева о выходе горцев, но Потоцкий, сидя за ужином вместе со своими сопровождающими и другими людьми из пострадавшего обоза на постоялом дворе, его отговорил.

- Нападения здесь не так редки, как хотелось бы, друг мой. Да и не по рангу мне фигурировать в сей истории ни в качестве пострадавшего, ни в качестве вояки геройского. Огласки не желаю, разговоры да пересуды мне сейчас ни к чему. И казакам здешним - всё лишние заботы да хлопоты.

- Конвой бы усилить, ваше сиятельство, - виновато произнёс Павло.

- Можно, конечно.

И, обращаясь уже к Ивану, спасителю своему, граф спросил:

- Как ты здесь оказался? Куда путь держишь? А ну, рассказывай.

На что Иван отвечивал, пережёвывая хлебную лепёшку:

- Так я, вашсиятельство, с серебром-то вашим прямо к абрекам тогда в лапы и угодил, но бежал. Поймать - не поймали, да чуток подстрелили. Отлежался я в овраге день-другой. Лежу под кустом в снегу и думаю - либо помру, либо ещё какой добрый человек найдётся, ну, навроде вас. Так и случилось. Купец этот, старик армянин, с обозом в Кизляр ехал и подобрал меня. Ну я у него и остался в помощниках. А как он товар свой продал и в обратную дорогу в Анапу собрался, так я упробил его взять меня с собой, чтобы к весне решил податься к царю



грузинскому. Говорят, он казаков к себе на службу нанимает, и ни спрашивает при этом, кто такой, да откуда.

- Стало быть, не воруеть больше и в разбойники не подался? Похвально.

- Отучили вы меня, Иван Осипыч, от греха этого навсегда. А сабля у меня теперь трофейная, в бою взятая у того абрека, что чуть меня в Царствие Небесное сегодня не отправил.

Вот так запросто разговаривал граф с обыкновенными людьми за одним столом, а потом снял с руки и пожаловал бывшему казаку Ивану в честь своего спасения и во имя Иоанна Крестителя перстень золотой с крупным тёмно-синим сапфиром. И молвил при этом, чтобы тот запомнил случай сей. А серебро всё одно меж пальцев утечёт по мелочи.

Ранним утром Потоцкий отправился со своей свитой и усиленным эскортом в Наурскую.



Засыпает снежную крупу
В трещинки дороги.
Ты идешь, пеняя на судьбу,
Думая о Боге.

Где он здесь? Ужели в мерзлоте
Выбеленных высей,
В яви стылой, в дереве, кусте,
В навзничь наземь рухнувшей мечте,
В жухлых листьях
Скрученных, разбросанных повдоль...
Кто ты, где ты?
Нет тебя, а все ж, Господь с тобой,
И юдоль, и в подреберье боль –
Каплей света
Выдохом украдкой, невзначай,
Беглым взором:
В нем слеза надежды горяча.
Разговором
По душам поговорить спеши,
Вдруг услышит?

Но идешь домой, и ни души –
Здесь и выше...

Из ничего не вырастает что-то.
Я нищенствую. Тянутся к рукам
Цветы, стихи, тетради, строки, ноты,
Коты, деревья, травы, облака.
Но сердце лишено бывшего слуха...
Оглохшая, едва сама звучу.
Я ничего на свете не хочу:
Все немо, все бесцветно, стыло, глухо.
...Но оживу, доверившись лучу,
Приотворю, как первую страницу,
Жизнь в край цветенья, пеня, суеты.
По-детски чисто распахну ресницы:
Весна поет на разные лады,
И солнце катит жаркой колесницей
По небосводу.

Я – за ним! Пока!..

Коты, деревья, травы, облака
Все здесь, со мной. И вот уже, легка,
Могу живой водицею пролиться –
Резва и полнозвучна, как река.



**ЕЛЕНА
ГОНЧАРОВА**

ПОЭЗИЯ





Пригретая дозволенным присниться,
Сомкну ресницы:
Лето, где-то я
Бреду, мечты нехитрые тая,
Ни у кого не требуя ответов
На непростые тайны бытия.
Для жизни той я нынешняя, эта,
Для этой – та.
И та, и эта – я?

Я звезды озорные собираю
Одной рукой, а строки рассыпаю
Так щедро.
Я могу забыть про все,
Что будет, но пока меня несет
Волна вот этой нежности и света,
На свете нет ни одного поэта,
Которому так гибельно везет.

Девочка у ног отца –
Деревцем.
Безмятежностью лица
Светится.

Вся искристая – цветок
Лотоса.
Трепет майский ветерок
Волосы.

Время мячиком с крыльца
Катится.
Девочка у ног отца
В платянице –

Белоснежный лепесток
Трепетный.
Солнце озарит Восток,
Веря ей.

В ней покой и благодать
Мудрости.
Ей расти – рукой подать
К юности.

Без нее в дали земной
Было ль что?
И кораблик за спиной –
Крылышком...



В МАСТЕРСКОЙ

Окно, звенящее весной,
Закрыто глухо.
Лишен художник в мастерской
Любого слуха.
Он над работой корпит,
Усердствует,
А жизнь несется, жизнь бурлит –
Весенняя!

Он охрой окропляет лист,
Безудержен.
А мир так звонок, юн и чист.
О будущем
Твердит синичьим языком,
Весь – пение!
А он – штрихом, а он – мазком!
Он – зрение.

СНЫ О ЧЕРНОГОРИИ

И сколько улочки б не вторили
Пошлепыванью босоножек,
Бульжные тая потертости,
Блестя оконцами,
Вздываясь ввысь, спускаясь к морю ли,
Скользя покатостью порожек,
Они повсюду, сплошь и россыпью
Дарили солнце!

Медово-теплые, манящие,
Ведущие куда неведомо,
Смеялись камушками дробными,
Скрипели ставнями...
И было все по-настоящему
Вокруг – навек, всерьез и преданно.
И мир смотрел глазами добрыми,
И дали – таяли.

Качались катера у пристани.
Волну дробили блики радужно.
Как в мареве июльском выжили
Простынки тонкие?..
Порхали всюду вверх и вниз они,
А домики малоэтажные
Пологими кивали крышами,
В орнамент сотканы.



Вот где казалось: время замерло,
И ничего не надо большего.
Душа, стремящаяся вырасти,
Быть вечной призвана.
Не кисти легкими касаньями,
Не красками – внезапной схожестью
С бескрайней искренней лучистостью –
Жизнь сердцем писана!..

За солнечность в апрельских лужах
И тьму – на дне,
За то, что ты кому-то нужен,
За то, что – мне.
За запоздалые ответы,
Случайный смех,
За блики радужного света,
За Нас и Тех.
За всё, что делится попарно,
За этот час,
За облако, которым плавно
Обносит нас.
За мимолётное касанье
Руками – рук,
За то, что не случится с нами
Опять и вдруг.

По крыше покатой –
к трубе водосточной
и вниз. Облака там
нанизаны прочно
на маковку церкви,
а воздух настоян
на мёде и хлебе.

Несложно в простое
уверовать, лишь бы
(ни больше, ни меньше)
по шиферной крыше –
орехом
созревшим.

Алексею Соколенко

Тебя другим поили молоком
Во времени запазушном, бесслёзном.
Цветущий луг, где бегал босиком,
Его шмели и бабочки – так просто



Могли восприниматься Божьим зна-...
И неба восставала прямизна.

Там пруд одолевался ивняком.
Там был стократно перечтен Печорин.
И таяла свеча под образком.
А пол дощатый влажен был и чёрен.

И мама в глубине оконной зги.
И вечности широкие мазки.

Это крик птиц: «Прощай,
До теплоты, до мая!...»
Истинное в вещах
Очень простых, я знаю.

Облака белый вал
Катит над головою.
Все, что Господь мне дал –
С небо моё, земное,

Осенью на покой
Вдаль уходящее.
Вот и машу рукой
Чаще и чаще я...

Предгрозовая тишина.
И сердце резче бьется!
А лошадь на лугу одна,
Спокойная, пасется.



Сверкнула молния во мгле,
Как будто – Бога роспись!
И искрами – по всей земле –
Звезд поднебесных россыпь.

И гром раскатный надо мной,
Над лошадью и лугом —
Ворвался в призрачный покой,
Тревожным гулом!

Вблизи погост суров и тих. . .
И все-таки: нетленны
И жизнь вокруг, и этот миг
В объятиях Вселенной!

ИЗ ДЕТСТВА

Вдоль по улице станичной,
С удочкою на плече,
Я тропой иду привычной
К милой, солнечной реке.

В месте, издавна приметном,
Что в прикрытье камыша,
Этим чутким утром летним
Счастья полнится душа!

Вот и плес мой! Вижу только,
Чей-то пляшет поплавок!
А, так это рыжий Колька
Подсекает на крючок!

Уступил дружку я место,
Но на сердце благодать!
Что ж, отдам ему и тесто. . .
Буду снова загорать!

СТРАСТЬ

Она вошла в меня
как ей хотелось!
Как молния —
с небесной синевы.

По горлу — в сердце,
чтобы закипело
И кровью захлебнулось от любви!

И был я переполнен до предела



**АНАТОЛИЙ
ШЕВЯКИН**

ПОЭЗИЯ





Неведомым звучанием струны.
И пело, волновалось счастьем тело,
Как от дыханья взбалмошной весны!

Последняя любовь, как наважденье
Иль роковой волнительный восторг!
Иль проблеск солнца в первый день
весенний,
Когда всю Землю озаряет бог...

Дано нам Богом слово —
Так мир возник земной.
Загадочный, суровый
И сложный, и простой.

Но Дьявол с искушеньем
Явился тут как тут.
Молчаньем и забвеньем
Земной отметил люд.

И с той поры поныне
Во тьму он тащит нас...
То злора в сердце стынет,
То, — как Господь в пустыне,
Внимаем Божий глас...

ХУДОЖНИЦА

Под прицелом окон коммуналок,
На площадке общего двора, -
Смехом, криком, трелями пищалок, -
Радуетя солнцу детвора!
На сто верст ни облачка. И небо
Чистое, как мысли у детей.
Ах, вернуться в светлый мир и мне бы,
В благодать далеких детских дней!
Только, слышу, окликает звонко
Перед входом в наш веселый двор,
Стройная, лукавая девчонка,
Глядя смело на меня в упор.
- Вот, - кивнула мне, - нарисовала
Маму я. Красивая, дядь Толь! -
В голосе невольню прозвучали Радость
И - неведомая боль.
Знаю я, досужие соседи
Не жалеют злобные слова.
Под наветы попадают дети -
Не щадит не добрая молва!
Видно, дочь её рисунком этим



Защищала и себя и мать.
Не колеблясь я тогда ответил:
- Свой портрет, могу ли заказать?

—
... Пусть всегда любовь и
сострадание
Будет с ней на жизненном пути,
Чтобы в час лихого испытанья
Помогали боль перенести!

Когда в мятежный час рассвета
В окно потянет зимней мглой,
Мне так захочется вдруг в лето,
В жару и васильковый зной!

Готов нестись я в пекло зноя
И в даль задумчивых полей,
Туда, где детство золотое
И чудный отблеск миражей.

Порою я переживаю
Остывших чувств накал былой.
Но все острее ощущаю
Порыв души к земле родной!

Цветут акации в станице.
Такой повсюду аромат,
Что даже птицы у криницы
О нем с утра весь день галдят!



МЕЩАНСКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ

I

Я познакомился с Григорием Петровичем совершенно случайно.

Раз как-то, шляясь по ярмарке родного города, я услышал страшный шум и рев, из которого явственно выдавались слова: «лови» и «бей!». Я бросился в ту сторону, откуда раздавались крики, и увидел следующую сцену. В изорванной холстинной рубахе, таких же портах и в поршнях, без шапки, с дубинкой в руке, бежал мужик и страшно кричал: «Сторонись, убью!». За ним, с ревом, гамом и каким-то нечеловеческим гоготаньем, бежала громадная толпа. Преследуемый с неестественною быстротою и ловкостью перепрыгивал через встречающиеся ему препятствия — оглобли телег, кучки всякого товара, лежащих быков, — ловко увертывался от преследовавших его, разгонял свою дубиную, своим криком и своим страшным видом тех, кто становился ему на дороге, и неся вперед. Однако, видимо, он начинал уставать: крик его становился все слабее, бежал он медленнее, грудь тяжело поднималась. А число преследователей все увеличивалось: всякий, мимо кого проносилась толпа, считал своею обязанностью присоединиться к ней и принять участие в общем крике. Многие бросали бревна под ноги преследуемому мужику; другие хватали его за куски изорванной рубахи. Наконец, какой-то мещанин ухитрился кубарем подкатиться под ноги преследуемого и таким образом свалил его на землю.

Тогда началось побоище. Упавшего били решительно все; били чем попало — кулаками, кнутовилами, дрючками; били не на живот, а на смерть. Слышны были только тяжеловесные удары, сы-



**ЯКОВ
АБРАМОВ**

**НЕИЗВЕСТНАЯ
КЛАССИКА**





павшиеся со всех сторон несчастному на голову, грудь и живот, да крики: «Так его, не воруй!». Несчастный сперва кричал, потом только стонал, наконец совсем смолк. А удары все сыпались. Какое-то зверское озлобление охватило всех присутствующих, и всякий старался нанести побольше ударов, да ударить посильнее. Просто жутко становилось смотреть на это зверство. Мои усилия остановить расходившуюся толпу не привели ни к чему. На мои уговоры и просьбы оставить несчастному хоть жизнь мне отвечали:

— А он не воруй!..

— Ничего, не сдохнет!..

— Не мешайся, барин, это не твое дело — это у нас свой суд... Не в полицию же его тащить: там вора́м потачку дают..

Как на грех нигде не было видно ни одного полицейского; не было даже ни одного военного мундира, который мог бы устроить толпу и остановить ее свирепость. Я уже отчаялся в спасении мужика и хотел уйти от страшной сцены, как вдруг раздался чей-то взволнованный голос:

— Братцы, да он, может, с голоду украл!

Разом опустились поднятые руки, палки и дрючки. Бойня прекратилась. Все заговорили:

— Может, и вправду... Голод-то не тетка...

— Ну, да и то сказать: проучили, и будет; не убивать же его из-за голенищ..

Мало-помалу толпа разошлась. На месте происшествия остались только я, откуда-то взявшаяся баба, которая тоненьким голосом заголосила на всю ярмарку, и молодой человек, по-видимому, мастеровой, вмешательство которого остановило бойню.

Мы подняли избитого. Все тело его было покрыто синяками и запекшеюся кровью. На лицо было страшно взглянуть. От рубахи и портов остались одни клочки.

Мне казалось, что он лишился всех сил. Однако он чрез несколько минут оправился и медленной походкою, шатаясь как пьяный, пошел вглубь ярмарки. Баба, голоса и причитывая, пошла за ним: она была из одной деревни с ним.

Мы остались вдвоем с мастеровым. Я внимательно осмотрел своего соседа. Это был человек лет двадцати с небольшим, бледный, с задумчивым выражением лица. Одет он был в длиннополый мещанский сюртук, глухой жилет и брюки «навыпуск». На голове у него был традиционный тяжеловесный мещанский картуз, одинаково пригодный летом и зимой.

Находясь еще под влиянием только что кончившейся сцены битья, я невольно обратился к мастеровому со словами:

— А ведь они убили бы его, если б вы не подоспели...

— Да разве это люди? Это идо́лы, какие-то оголтелые истуканы... За голенищу человека жизни лишают!.. Сказано: не



осуждай, да не осужден будешь, а иной раз, право, нельзя и удержаться от осуждения. Только и удерживает притча о сучке в чужом глазу и о бревне в своем... Да, хитрое это дело: у одного есть нечего — он и крадет голенищу, а у другого только и есть что голенища — поневоле будешь драться: кого ж судить? Кто виноват?

Он начал с злобою, а кончил с тихой грустью.

Меня крайне заинтересовали слова моего собеседника, и мне очень захотелось узнать, что это за человек. Видя, что он собирается уходить, я схватился за первую пришедшую мне в голову мысль.

— Знаете что, не согласитесь ли вы зайти со мною в трактирчик и выпить по стакану чаю? — предложил я.

Он сперва удивился неожиданному приглашению, но потом согласился.

За чаем мы, прежде всего, отрекомендовались друг другу. Его, оказалось, зовут Григорий Петрович Востряков. По профессии он столяр, живет по найму у подрядчика, занимающегося преимущественно постройкой церквей. У хозяина живут до пятидесяти мастеровых: столяров, плотников, кровельщиков, иконописцев и других.

Григорий Петрович оказался очень разговорчивым человеком и после нескольких вопросов с моей стороны откровенно рассказал мне свою биографию. К такой откровенности, по его словам, его побудило то, что «уж очень много накопело у него на сердце, так что через край хватает», и что ему «давно хочется поговорить с кем-нибудь по душе». Биографию Григория Петровича читатель и найдет на следующих страницах.

II

Детство и отрочество Григория Петровича ничем не отличались от детства и отрочества тысячи лиц, находившихся в одном положении с ним. Сперва он был отдан своим отцом, отставным солдатом и по профессии ямщиком, «в мальчики» к бакалейному торговцу. Потом, когда он, вследствие своей неповоротливости оказался негодным для торговой деятельности, он попал «в науку» к столярному мастеру. Здесь первые два года он только бегал на посылках: ходил на базар за провизией, аккуратно два раза в день ходил в кабак за водкой для хозяина, подметал полы, топил печи и вообще исполнял разные мелкие поручения. Этот двухлетний период жизни был самым тяжелым временем для мальчика. Он был каким-то общим рабом, которого имела право посылать куда угодно и заваливать всякого рода работой целая масса лиц: столяр-хозяин, члены его многочисленной семьи, его рабочие-подмастерья, наконец, его кухарка. Он исполнял обязанности лакея,



горничной, дроворуба, водовоза, кучера, помощника кухарки и многие другие. И при исполнении всех этих обязанностей от него требовались аккуратность и умение сделать все как следует. А наградой за все труды и старания служили брань и побои. Его не ругал и не бил только тот, кому было лень или недосуг. Всякий же, кому приходила охота и у кого было для того свободное время, мог, сколько ему было угодно, «чесать» свой язык над мальчиком и расправлять над ним свои мускулы. Его били кулаками, колотили «струментом», секли плетью о пяти ремнях с узелками на конце («пятихвостка»), драли за уши, вырывали волосы. Удивительно — как он остался жив, так как жизнь его была настоящею каторгою.

Неизгладимые следы оставили в душе Гриши первые два года «ученья» или, вернее, колоченья. Детская живость, развязность, откровенность исчезли. Он ушел в себя, затворился в самом себе и избегал, по мере возможности, людей. Глядел он постоянно исподлобья, за что и был прозван «волчком». Детская мягкость характера заменилась в нем упрямством и злостью. Он страшно ненавидел своих мучителей и постоянно мстил им чем мог: портил работу, марал краскою распи- санный под орех комод, царапал отполированный стол, ломал нежные украшения рамок и т.п., бил стекла в окнах хозяйской квартиры, мазал какую-нибудь гадостью платье хозяина или подмастерьев и т.д. За всякою такою его проделкою следова- ла, конечно, кулачная расправа или порка «пятихвосткою». Но Гриша не унимался. Мало-помалу он научился так ловко устраивать свои проказы, что его никак не могли уличить в них, и если его тем не менее пороли всякий раз, то единствен- но потому, что, по общему мнению, сделать данную проказу «больше было некому».

Не раз Гриша пробовал бегать от хозяина. Собственно, определенной цели побеги его не имели. Семья его была да- леко от того города, где он страдал, и он не имел ни малейше- го понятия о том, как добраться до нее; притом он по горько- му опыту знал, что в семье его ждет та же порка, после кото- рой он будет опять возвращен к тому же хозяину или отдан к какому-нибудь другому. Родных и знакомых в городе у него не было. Поэтому, если он бегал от хозяина, то с единственною целью — несколько отдохнуть от брани и колотушек. Обыкновенно, пробродив дня два по городу и съев украденный у хозя- ина хлеб, он снова возвращался в мастерскую, где и водворял- ся после усиленной порки.

На третий год пребывания Гриши в «науке» хозяин начал «приучать» его к столярному делу. «Приучивание» шло самым нелепым образом: первые полгода Грише давали только одно занятие — тереть «песчанкой» (бумага, на которую наклеен песок) предназначавшиеся к полировке вещи; на второе полу-



годие ему дали другое занятие — долбить и сверлить. Так же медленно тянулось обучение Гриши и прочим частям столярного дела: пилке, стружке, клейке, полировке и т.д. Не раз Гриша порывался опередить своего учителя-хозяина и самовольно начинал такие работы, которые ему хозяин еще не «показывал»; но эти порывы Гриши охлаждались бранью хозяина или подмастерьев, отбиранием инструмента и колотушками.

Вообще, побои практиковались по отношению к Грише в прежних размерах. Разница состояла только в том, что теперь побои наносились ему почти исключительно различными столярными инструментами, как предметами, постоянно находившимися под руками у тех, кому хотелось бить Гришу. В этом отношении, стало быть, жизнь Гриши представляла мало утешительных перемен. Но зато в другом отношении жизнь его очень изменилась, и притом в хорошую сторону: дело в том, что теперь он был почти совершенно избавлен от всяких работ помимо мастерской, и потому, по окончании обязательных столярных работ, он имел теперь свободное время. В это-то свободное время он и начал думать.

Думы Гриши, естественно, сперва остановились на нем самом и его тяжелом положении. Он невольно сравнивал свое положение с положением хозяйского сына, Вани, любимого и балуемого отцом и матерью. Отчего его никто не любит так, как любят Ваню его родные? Отчего его бьют, тогда как Ваню никто пальцем не трогает? Часто, страшно измучившись после шести- и семичасового непрерывного трения «песчанкою» какого-нибудь гардероба или комода, или до страшной боли в ручных мускулах намахавшись пилою, едва волоча свои ноги, затекшие кровью от продолжительного стояния, и с трудом разминая измученные, повисшие как плети руки, он пробирался в глухой угол хозяйского сада и там «напрямки» ставил перед собою вопрос: отчего это он должен нести такую муку непосильного труда, тогда как его сверстник, Ваня, может в то же время беззаботно предаваться играм?

Грише было около пятнадцати лет, когда ему впервые пришел в голову последний вопрос. Он тщетно ломал голову над его решением, тщетно искал в своей короткой жизни вины, которая оправдывала бы то тяжелое положение, в котором он находился. Он сравнивал себя с окружающими и несколько не находил себя хуже их. За что же он страдает?.. И, не находя ответа, Гриша впадал в безнадежно-отчаянное состояние, становился апатичным ко всему, и только уходя по вечерам в сад, он отводил душу в страшных рыданиях.

Не раз в такие минуты отчаянья Гриша думал о самоубийстве. Он с любовью останавливался на этой мысли и подробно развивал ее. Единственный способ самоубийства, который он мог себе представить, было повешение, и притом непременно



но в саду. Вот он стащит из конюшни толстую бечеву, которая висит там на стене, сделает на ней петлю, потом взлезет на самую вершину вот этой дули или — лучше — вот этой яблони и привяжет к ветке другой конец бечевы. Затем останется надеть петлю на шею и из всей силы прыгнуть с дерева: тело закрутится, несколько раз подпрыгнет, как подпрыгивают и крутятся кули с мукой, подымаемые на канатах во второй этаж провиантского магазина, — и затем все кончено... На другой день его хватают: «Где Гришка, где он, такая-сякая каналья?». Нет Гришки, нет канальи. Кто-то вам будет теперь инструмент точить?.. Начинаются поиски. «Убежал, беспутный мальчишка!..». Наконец, кто-нибудь приходит случайно в сад и видит труп Гриши, раскачиваемый ветром. Увидавший закричит, непременно закричит («Ага, испугался!») и убежит на двор. Являются все: хозяин, его жена, Ваня, его сестры, подмастерья и даже другой «ученик» — Колька, мальчик лет десяти... «А хозяйка-то испугается: она на сносях», — злорадствует Гриша. «А хозяину возни со мной много будет: в одну полицию сколько придется денег переплатить — страсть!..».

Но молодость брала свое. Мысли о самоубийстве приходили только по временам, в наиболее тяжелые минуты. В остальное время, напротив, хотелось жить, хотелось изведать то, что доселе было недоступно Ване: хотелось любить и быть любимым. Страстная жажда любви и ласки охватила в это время все существо Гриши. Не встречая любви ни в ком из окружающих и не любя в свою очередь никого, Гриша привязывался не раз к животным: собакам и кошкам. По целым часам возился он с своими любимцами: бегал с ними «наперегонки», позволял им прыгать через себя, украшал их лентами и тряпками и тому подобным. И животные любили его: завидев его издалека, они весело бежали к нему навстречу, прыгали вокруг него, радостно лаяли или мяукали. Но привязанность животных не могла удовлетворить Гришу: ему нужно было перед кем-нибудь излить свое горе, с кем-нибудь поделиться своими тяжелыми мыслями, а такого человека, с которым он мог бы быть откровенен, у него не было. Он был один, постоянно один. Страшная тоска щемила его сердце, и он нередко проводил целые часы в саду, уткнув лицо в землю и сдавливая судорожно поднимавшуюся от рыданий грудь.

В этом положении застал его однажды новый квартирант хозяина, гимназист седьмого класса Ворохов.

Ворохов был самый обыкновенный гимназист: он с грехом пополам «зубрил» гимназическую мудрость, кое-как исполнял требования гимназической дисциплины и успешно обманывал учителей и начальство. Никакими особенными качествами — ни дурными, ни хорошими — он не отличался. Поэтому, если встреча с ним Гриши имела, как увидит читатель



ниже, громадное влияние на развитие последнего, то это произошло решительно помимо воли гимназиста, единственно в силу резкого различия их положений.

Гуляя по саду в первый же раз по переезде на квартиру к столяру, Ворохов услышал в углу сада, за кустом крыжовника, сдержанные рыдания. Он поспешил на звуки и увидел Гришу, лежащего вниз лицом. Он подсел к плачущему и начал ласково утешать его. Гриша сначала оторопел; ему было крайне стыдно, что его застал в слезах незнакомый человек, — он вытер глаза, насупился и хотел уходить. Но ласковые слова гимназиста взяли верх над Гришей, и чрез минуту он, рыдая сильнее прежнего, захлебываясь от слез и едва успевая выговаривать слова, рассказывал Ворохову про свое горе, свои страдания, свою тоску.

Гимназист слушал эту скорбную, страстную исповедь Гриши и решительно недоумевал, как помочь этому страдающему мальчику. Когда Гриша кончил, воцарилось долгое молчание. Гимназист грыз ногти и все думал: «Что же сделать, что сделать?». Наконец, он неожиданно произнес:

— Хочешь, я буду учить тебя читать и писать?

Гриша сначала крайне изумился: не того он ожидал и не то ему нужно было в данную минуту. Но мысль научиться грамоте очень улыбнулась ему. В мастерской грамотным был только один подмастерье, и Гриша видел, как возвышала его грамотность над остальным составом мастерской: к нему обращался хозяин, когда последнему нужно было сводить счета или писать какие-нибудь условия и расписки; к нему же обращались товарищи-подмастерья, когда им нужно было написать или прочесть письма; он же наполнял досуги длинных зимних вечеров, читая вслух какие-нибудь «страшные» рассказы или рассказывая прочитанное. И за все это он пользовался многими льготами по мастерской, и благодарные товарищи исполняли многие работы за него. Была и другая причина, заставлявшая Гришу сильно жаждать грамоты. Раз в церкви он слышал проповедь священника; витиевато составленная, она, конечно, была совершенно непонятна для Гриши, — но конец ее он понял отлично. Священник закончил проповедь приблизительно следующими словами: «Итак, читайте Евангелие: в нем вы найдете утешение в горе и разъяснение того, чего вы не понимаете». Эти слова глубоко запали в душу Грише, и он не раз мечтал о том, чтобы узнать, что такое написано в этом Евангелии, обладающее такою чудодейственной силою. К этому присоединилось еще одно обстоятельство. На одном дворе с мастерской жила старуха-портниха, считаемая всем околотком за святую. Это была женщина суровой наружности и строгого, аскетического образа жизни. Она пользовалась необыкновенным уважением за свой ум и житейскую



опытность: каждый вечер к ней приходила масса народа за разными советами. Тут была жена, не любимая мужем, и муж, у которого жена распутничала; сюда шли родители, оскорбляемые детьми, и дети, страдающие от несправедливости родителей. Всех портниха наделяла советами, всех умела утешить, она мирила мужей с женами и улаживала дурные отношения родителей и детей. Недовольные ею — были и такие — иронически называли ее «мировым судьбою», и это название могло быть дано ей без всякой иронии. Свой дар — быть общему примирительницею — портниха получила, по мнению всего околотка, от чтения Библии. И действительно, она каждое утро посвящала около часу чтению Библии. Гриша не раз видел эту седовласую портниху, сидящую в очках под окном и читающую громадную, в аршин длины, старопечатную Библию в деревянном переплете. И ему чрезвычайно хотелось прочитать эту Библию, чтоб сделаться таким же умным, как старуха-портниха, и пользоваться таким же всеобщим уважением и любовью. Все это вспомнилось Грише теперь, когда Ворохов предложил ему учиться грамоте, и он с радостью согласился на предложение.

Учитель и ученик принялись за дело с рвением. Каждый вечер Гриша приходил к гимназисту, и они садились за чтение и письмо. Но, несмотря на старания учителя и прилежание ученика, дело подвигалось вперед весьма туго. В чтении они еще делали кое-какие успехи, но письмо совсем хромало: толстые пальцы Гриши, привыкшие к сильному механическому труду, положительно отказывались выводить тонкие очертания букв. Через полгода усидчивых занятий Гриша едва мог читать почти по складам и выводил какие-то странные иероглифы, долженствовавшие обозначать буквы.

Рядом с обучением чтению и письму Ворохов занимался «развиванием» своего ученика. Для этого он читал ему наших беллетристов, преимущественно из числа писавших о народе. Так они прочитали Помяловского, Слепцова, Решетникова, А. Левитова и первые рассказы Гл. Успенского. Чтение это производило громадное влияние на впечатлительную и изболелую душу Гриши. Здесь в первый раз представилась ему возможность объективно отнестись к людским страданиям, которые он доселе испытывал только субъективно, на собственной шкуре. Результаты этой перемены точки зрения на горе получились громадные. Однажды, когда Ворохов читал «Подлиповцев», Гриша невольно воскликнул:

— Что же это такое, Господи! Да неужто везде жить так скверно, как у нас?

— А ты думал как? — ответил Ворохов. — В других-то местах люди живут еще хуже тебя.

— Еще хуже? — волновался Гриша.



— Хуже, куда хуже. Ты хоть сыт, а в других местах людям и поесть вволю никогда не приходится... Да вот, дослушай до конца...

С этого момента начался новый фазис развития гришиного мирозерцания. Он начал внимательно всматриваться в жизнь окружающих его людей и везде подмечал скрытое горе, прячущиеся муки, везде видел несчастье, нужду и страдания. Вот, например, один из подмастерьев, Яковлевич. Он получает большое жалованье — двадцать рублей на хозяйском содержании; он занимает самое видное положение в мастерской, ему все завидуют. Но что такое его жизнь, как не бесконечная, безрезультатная, бессмысленная мука? У него нет ни детей, ни жены, ни родных. Он вечно одинок: нет у него ни друзей, ни близких приятелей. Все свободное время он проводит в пьянстве. Он пьет с каким-то ожесточением. Целые дни он молча и сосредоточенно работает, и работает так, что все любят его из-за него; а вечером он так же молча напивается. В праздники он пьет целый день, пока не свалится где-нибудь в канаву. Пьяный, он начинает разговаривать сам с собою и вспоминает об умерших жене и сыне; в такие минуты он плачет, проклиная и винит себя в их смерти. Больно смотреть тогда на этого несчастного человека... И ему еще завидуют!..

Или хотя бы взять самого хозяина. Он работает сам целые дни; обманывает и обсчитывает при расчете своих подмастерьев; надувает всячески заказчиков. Он сколотил малую толику денег, имеет дом и сад. Но разве он не несчастный человек? Он вечно грызется с женой; его дочери пользуются самою дурною славою в околотке; его любимый сын вышел балбесом, не умеющим делать ничего, кроме того как гонять волчки да пускать змея. Нет, несчастье заставляет хозяина предаваться по целым месяцам запою, недовольство своею судьбою гонит его из семьи и побуждает иногда до поздней ночи играть в карты с подмастерьями.

Или взять всю мастерскую. Как часто в ней происходят всеобщие драки, так себе, без всякой причины. Скажет один: «Ну!» — а другой сейчас обижается: — «Чего-ну? Ты не очень-то нукай!».

— А ты не мешайся, пока не спрашивают; а то живо загвоздку получишь...

— От кого? Не от тебя ли? Ах ты косорылая свинья! Поди сперва рожу-то выпрями!..

— А, так ты вот как!.. Так вот же тебе!..

Бац в ухо, тот — сдачи, и пошла потеха. В драку вмешиваются другие, и чрез минуту вся мастерская усердно тузит друг друга чем попало: рубанком, шершебнем, коловоротом, доской. Прибегает хозяин, и ему едва удастся унять расхоронившихся бойцов.



— Что это вы, черти, чего не поделили?

А «черти» и сами не знают, что им нужно было делить...

Нет, не от счастья такое зверство!..

Заглядывал Гриша и за пределы мастерской — и всюду видел несчастье, горе, нужду. Вот в подвальном этаже соседнего дома мается прачка с тремя детьми: сколько несчастная терпит муки, полоская зимою белье в проруби, таская страшно тяжелые узлы, иногда на пятый этаж, обваривая себе руки кипятком и т.п. Или вот напротив целые дни сидит, согнувшись над работой, сапожник и едва зарабатывает хлеб семье...

Да, всюду несчастье, всюду горе...

Но нужно ж как-нибудь помочь этому, непременно нужно. Но как?

Этот вопрос Гриша поставил Ворохову. Но учитель Гриши оказался пессимистом: он полагал, что для исцеления мира от царящих в нем зол нет радикальных средств, и что поэтому нужно жить, как живет, делая, по мере возможности, добро вокруг себя. Но Гриша не мог удовлетвориться подобной философией. Ему страстно хотелось найти средство, с помощью которого можно было бы сделать всех счастливыми. Он пока не видел такого средства, но верил, что оно есть и что его можно найти. Забывшись где-нибудь в угол, он думал: «Бог ведь добрый: как же это Он сотворил людей на вечную муку? Нет, тут что-нибудь не так». И Гриша, читавший в это время уже более или менее свободно, обратился к Евангелию.

Он давно хотел попросить Ворохова почитать ему Евангелие. Но гимназист несколько раз выражал пред Гришей отрицательное отношение к религии, и Гриша решил дождаться того времени, когда он сам будет в состоянии читать Евангелие. Теперь это время наступило, и Гриша, давно запасшийся русским Евангелием, с страстной жадностью набросился на него. Перечитывая историю земной жизни Христа, Его притчи и проповеди, историю жизни первых христианских общин и послания апостолов, Гриша искал исключительно указаний на причины дурных порядков, царящих в мире, и на средства к их изменению в лучшую сторону и останавливался, главным образом, на тех местах Евангелия, которые, по его мнению, имеют отношение к мучившим его вопросам.

Сначала его внимание было привлечено тем местом Евангелия, в котором рассказывалось, как Христос сказал богатому юноше, чтобы он роздал все свое имущество бедным. Гриша с крайним интересом и любовью прочитал это евангельское повествование и глубоко задумался над ним. «Ах, как бы это было хорошо, — думал он, — если б все сделали так». И в его воображении пронеслась восхитительная картина: его хозяин, богатые соседи, заказчики, которые поражали его всего более своими шубами, кабачник — все стоят на улице и разда-



ют желающим все, что у них имеется: деньги, одежду, мебель и прочее. А улица вся запружена нищими, калеками, бедными, оборванными женщинами и детьми — и все получают все, что им нужно, все счастливы, у всех радостные лица... Но вот раздается суровый голос хозяина, настоящего, а не воображаемого, и восхитительная картина исчезает. «Нет, никогда он никому ни копейки не даст», — думает Гриша, глядя на красный лоснящийся нос и жирные отвислые щеки хозяина. «Ну, а если я буду, помимо прочих, делать так, как сказано в Евангелии? Вот я буду раздавать свои семь рублей (он состоял в то время уже на жалованье), что из этого выйдет? Отдам я деньги Федору — сапожнику, а другие — прачка, Матрена, Семен-шорник — останутся по-прежнему? Да и Федор, ведь он пропьет мои деньги, да еще меня дураком обругает... А Яковлевич? Ведь он двадцать рублей получает, ему деньгами не поможешь». И Грише представляется не раз виденная им картина: в грязной луже около забора лежит Яковлевич и ведет разговор сам с собой: «Ведь ты, Яковлевич, подлец, подлец ты... Ты мастер хороший, золотой мастер — цены тебе нет, только... подлец ты... Ты ведь убил жену?.. Говори, скотина, убил? Да хвостом не финти, а говори прямо, шельма пьяная, свинья, с позволения сказать...». Затем начинался плач, страшный плач взрослого человека. Яковлевич рыдал, рвал себя за виски, бился головой о землю, и это продолжалось до тех пор, пока Яковлевича не поднимал кто-нибудь и не приводел в мастерскую, или пока он не засыпал тут же в луже... Какими деньгами поможешь Яковлевичу?..

Останавливался затем Гриша и над многими другими местами Евангелия, задумывался над выраженными в них нравственными требованиями. Высота этих требований невольно покоряла ум Гриши, он чувствовал благоговейное уважение к святой книге и решил построить свою личную жизнь на евангельских предписаниях нравственности. Но, переноса дело на чисто практическую почву, имея постоянно в виду окружающих его людей с их скорбями и страданиями, Гриша долго не мог найти такого всеобъемлющего принципа, проведение которого в жизнь спасло бы людей от страданий. Прочитывая и перечитывая многие места Евангелия, задумываясь над ними, толкуя их на разные лады, Гриша все-таки не находил того, что ему было нужно. Он похудел, как-то осунулся, стал еще более прежнего избегать людей, перестал даже посещать Ворохова и все свободное время сидел с Евангелием в руках. Хозяин и особенно подмастерья сначала смеялись над «святошеством» Гриши, издевались над ним во всевозможных плоских шутках и всячески изощряли над ним свое остроумие. Но упорство, с которым он воздерживался от всякого ответа на шутки и остроты, настойчивость, с которою он



искал чего-то в Евангелии, бледность его лица и болезненный блеск глаз — все это прекратило мало-помалу всякие шутки со стороны хозяина и подмастерьев: они начинали относиться к Грише с каким-то особенным чувством, состоящим из смеси сожаления и уважения. О побоях и брани теперь, конечно, не могло быть и речи, так как Грише в это время было около семнадцати лет..

А Гриша, между тем, все искал. Часто после долгого чтения Евангелия и после продолжительной работы мысли, не приведшей ни к какому результату, он впадал в полное отчаяние: ему казалось в такие минуты, что мир обречен на вечное страдание и что нет средств вывести его из этого положения. В такие минуты он вспоминал Ворохова и начинал думать о нем как о великом человеке, который давно пришел к такому же мрачному выводу, к какому приходил теперь Гриша. Но он был слишком живой человек, слишком близко принимал к сердцу интересы жизни, чтоб удовлетвориться своим отрицательным выводом. Прислушиваясь к плачу детей, запертых в маленькой каморке Матреною, которая пошла разносить белье давальцам; наблюдая на улице, как сапожник колотил свою жену; присутствуя безмолвным свидетелем при ожесточенных драках, происходивших в мастерской, Гриша всем своим существом чувствовал, что «нельзя же так» и что «надо что-нибудь придумать». И снова его мысль начинала работать, снова он перечитывал Евангелие.

Узнал, наконец, Ворохов, почему ученик перестал его посещать, и принес ему несколько книг, в которых описывалось скверное житее русского человека — в деревне, в мастерской и на фабриках. Гриша внимательно прочитал книги и, возвращая их Ворохову, заявил:

— Мне не это нужно.

— Как так? — удивился Ворохов.

— Да так: тут напечатано, как люди живут, а мне хочется знать, как нужно жить.

Ворохов не нашелся, что отвечать, и Гриша возвратился к Евангелию.

И, наконец, он нашел, что искал!

Не раз останавливался он на словах Христа о всеобщей любви, о любви не только к ближнему, но и к врагу. Сначала ему казалось, что в этих словах кроется разрешение мучившего его вопроса. Любовь! Да, это именно то, чего недоставало ему в жизни, чего он так страстно жаждал, что могло осветить всю его жизнь. Да, именно любви недостает в людских отношениях: если бы хозяин и подмастерья любили его, разве они бранили и били бы его? Вон хозяин любит своего сына — и никогда его не бьет. Если б хозяин любил подмастерьев, разве б он обчитывал их? Если б давальцы любили прачку Матрену,



разве б они платили ей так мало, что она едва может прокормить детей?.. Да, именно любви недостает миру, именно любовь может исправить мир!.. Но отчего же люди не любят друг друга, когда дело так просто и ясно? Присматриваясь к пьяным, суровым и жестоким фигурам окружающих его, Гриша решал, что люди не могут любить друг друга, что они слишком дурны для всеобщей взаимной любви...

Однажды Гриша сидел у Ворохова и слушал, как тот читал книгу о важности гигиены. В книге приводилась масса примеров того, как люди губят свое здоровье, а иногда и самую жизнь, исключительно вследствие незнания самых простых гигиенических правил.

— Отчего ж это, в самом деле, люди не делают так, как написано в этой книжке? Разве люди — вороги себе? — спросил Гриша.

— А оттого, — отвечал Ворохов, — что они не знают того, что я тебе прочитал, не понимают того, что это нужно делать.

— Ну, а если это им рассказать?

— Тоже, наверно, долго не будут понимать и даже верить не будут.

— И никогда не поверят?

— Поверят, когда поймут. Только долго нужно будет им все разъяснять, потому что они не привыкли вообще что-либо понимать — это во-первых, а во-вторых, они уж слишком привыкли к грязи и вообще к своей скверной обстановке, чтобы скоро расстаться с ней. А все-таки, если как следует повести дело и упорно не оставлять его, то можно будет добиться того, что они поймут и сделают так, как сказано в этой книге...

Гриша задумался. Эти лениво сказанные Вороховым слова — «не знают», «не понимают», «если повести дело как следует, то поймут», — вдруг натолкнули Гришу на целый ряд мыслей относительно занимавшего его предмета. «А ведь и насчет любви люди не знают: не знают, что нужно любить друг друга, не понимают, что им от этого будет лучше. Да и откуда им знать это? Разве им кто-нибудь когда говорил? Никто и никогда. Возьмем хоть подмастерьев: были они ребятишками — били их не на живот, а на смерть, про любовь тут и помину не было; выросли они — сами начали бить, а спроси — почему? Один ответ: «Надо, нас самих учили». И не понимают они, что нужно не бить, а любить. Так же и все другие, прочие: и хозяин, и прачка Матрена, и Федор-сапожник, и Ворохов, и всякие давальцы — все, все они не знают, не понимают того, что нужно любить... Значит, нужно сделать, чтобы они знали это».

Но как? И Грише представились знакомые лица: вот Иван-косой, главное достоинство которого состоит в том, что он берет верх в драке надо всеми подмастерьями, вот фабричный Петр, приходящий иногда в мастерскую в гости к одному



из подмастерьев, — он несколько лет сидел в остроге за убийство жены и теперь вспоминает с удовольствием о том, как он «хлобыстнул» жену; вот хозяин, который недавно самым бессовестным образом «зажиллил» часть небольшого жалованья Гриши. Как добиться того, чтобы все эти люди поняли, что нужно не драться, не резать, не обсчитывать, а любить?.. Гриша не знал, как ответить на этот вопрос, но решил, что он должен, непременно должен додуматься до удовлетворительного ответа.

И он додумался. Однажды он пришел к Ворохову и спросил его:

— Вот, вы мне читали и рассказывали про разные машины... Или, вот, говорили, как какой-то ученый узнал про обращение крови... Прочитайте мне теперь или расскажите, как жили они сами, кто выдумал машины, и кровообращенье, и электричество, и железные дороги, и все...

— С удовольствием, — согласился Ворохов. — Только почему тебе захотелось узнать именно это?

— Да мне хочется знать, скоро ли им поверили...

— Ну, нет, брат, не очень-то скоро. Иной так и умирал, не добившись, чтоб ему поверили, и только после смерти об нем добром вспомнили. А иного целую жизнь преследовали и даже заставляли отказываться от того, до чего он додумался...

— Вот-вот, это самое мне и почитайте!..

И они в течение нескольких недель занимались чтением биографий «благодетелей человечества».

Гриша с напряженным вниманием слушал это чтение. Мысль о том, что только любовь может спасти мир, что об этом знает только он один и больше никто и что он в скором времени должен выступить с проповедью любви, возвышала его в собственных глазах и даже побуждала его считать себя равным тем великим людям, жизнеописания которых он слушал. Сначала ему даже было стыдно смотреть на себя как на человека, выходящего «из ряда вон». Но потом, сравнивая себя с окружающими, он находил, что он решительно выше всех: ведь никто не понимает, как спасти мир, решительно никто, даже самый умный человек, какого только он знал, Ворохов, и тот не понимает этого, а он, Гриша, доселе бывший таким ничтожным человеком, понимает это. И потому Гриша слушал чтение биографий с каким-то особенным, родственным сочувствием: ведь и ему придется перенести то же, что перенесли все эти изобретатели и мыслители, и он будет делать то же, что делали они.

Две черты особенно поразили Гришу во всех биографиях великих людей: постоянство и упорство, с которыми они преследовали раз намеченные цели, и страдания и преследования, которым они подвергались. Черты эти были общи всем



биографиям и являлись чем-то необходимым в деятельности людей, вносящих новую мысль в мир. И Гриша решил себя к предстоящей ему деятельности, выработав в себе, во-первых, умение вести дело проповеди любви, а во-вторых, способность переносить всякие страдания.

«Иначе нельзя, — думал Гриша, — стану я говорить кому-нибудь пьянице, а он еще осмеет меня: «Ты, скажет, моллосос, и еще лезешь учить меня!». А вот как я буду пятью головами выше его, как я буду знать столько, сколько десятеро таких-то, как он, не знают, как я буду ему нужен каждую минуту — тогда другой разговор пойдет, тогда ему и в голову не придет, и язык не повернется сказать мне что-нибудь дурное; да и слушать он меня будет иначе — обоими ушами, а не так, что одним ухом слышит, а в другое выпускает. Это раз. А другое: взбучка мне будет — и ругаться будут многие, и даже иной раз отколосматят. Это как Бог свят. Вот и нужно приучиться».

И Гриша начал «приучаться».

«Приучивание» это, сообразно с поставленными Гришею целями, распадалось на две части: во-первых, на приобретение знаний, решение различных возбуждаемых наблюдением природы и жизни вопросов и вообще на приобретение умственной силы; а во-вторых, на выработку привычки переносить голод, холод, нравственные страдания и т.д.

Для выполнения первой части программы Гриша, или, вернее, Григорий Петрович, так как ему в это время было уже 19 лет и окружающие его уже перестали называть его уменьшительным именем, обратился к усиленному чтению и стал искать общения с «учеными» людьми. Он записался в библиотеку и все свободное время употреблял на чтение книг, в которых описывалось, «как в разных местах люди живут». Каждый день аккуратно, окончивши в 8 часов вечера работы по мастерской, он бежал в библиотеку и там читал газеты. Так как Ворохов в это время уже уехал в университет, то Гриша познакомился с некоторыми оставшимися в городе приятелями Ворохова, из гимназистов и семинаристов, и часто посещал их. Гриша задавал им вопросы, возбуждаемые в нем чтением, просил объяснений непонятым местам книг, охотно слушал их рассуждения о различных предметах, касающихся «политики» и тому подобного. Сначала он принимал их объяснения на веру, но потом мало-помалу начинал относиться к ним критически. Вообще, умственное развитие его в это время сделало довольно значительные успехи: приобретенные знания и выработка определенных взглядов на различные явления жизни давали ему иногда перевес над знакомыми гимназистами и семинаристами в спорах по поводу того или другого явления.



Другая намеченная Григорием Петровичем цель — выработка в себе выносливости — побуждала его вести аскетический образ жизни. Он отказался от употребления спиртных напитков, к которым он привык еще в первые годы пребывания в мастерской; ел столько, чтоб только быть в состоянии работать; одевался так легко, как только мог вынести, и тому подобное.

Добровольные лишения, которым подвергал себя Григорий Петрович, и умственное превосходство, которое теперь ощутительно чувствовалось и хозяином, и подмастерьями, мало-помалу вызвали глубокое уважение к нему в людях, окружающих его. Множество мелких услуг, которые он оказывал как членам своей мастерской, так и посторонним лицам из числа бедняков околотка: писание писем и просьб, указания, куда и к кому обратиться в случае какой-либо житейской нужды, необходимости получения метрического свидетельства, какой-нибудь справки из казенной палаты или из мещанской управы и тому подобного, разъяснение значения какого-нибудь закона и постановления — все это заставляло окружающих Григория Петровича еще более уважать его и дорожить им. Мало-помалу он сделался положительно необходимым для всего околотка и начинал приобретать авторитет между обывателями. К нему приходили для благочестивых бесед и для слушания чтения божественных книг; к нему же шли и потерпевшие какое-либо несчастье, жаждавшие утешения и успокоения. Старуха-портниха, прозванная «мировым судьей», уже умерла года за два перед этим, и Григорий Петрович мало-помалу начинал заменять ее.

Теперь Григорий Петрович полагал, что ему пора выступить с открытою проповедью о необходимости всеобщей любви.

В это-то самое время я и познакомился с ним, как описано выше.

III

Наше знакомство не ограничилось беседою в трактире. Напротив, я, крайне заинтересованный личностью Григория Петровича, старался видеться с ним как можно чаще, и скоро между нами установились весьма дружеские отношения. Мне очень хотелось узнать, каких религиозных убеждений и каких взглядов на современное общественное устройство держится мой новый друг. При ближайшем знакомстве с ним я убедился, что он никогда еще не задумывался ни над чем, что не имело прямого отношения к двум, правда, всеобъемлющим идеям: «мир во зле лежит» и «только любовь может спасти мир». На этих двух идеях Григорий Петрович построил все свое ми-



росозерцание; из них же он выводил и правила, которыми руководился в практической деятельности.

«Мир во зле лежит». Это — отрицательный принцип: все в мире скверно и заслуживает только одного полного уничтожения. «Только любовь может спасти мир» — это принцип положительный: нужно все силы направлять на то, чтобы жизнь была построена на любви. Само собою, Григорий Петрович развивал оба принципа, ссылаясь на Евангелие и подкрепляя их массой цитат из Священного Писания.

Как я уже сказал, он решил приступить к проповеди всеобщей любви, когда я познакомился с ним. Сошедшись с ним поближе, я однажды спросил его:

— Ну, что, вы начали свою проповедь?

— Начал, — отвечал он, широко улыбаясь.

— Каким же, именно, образом?

— Посредством обличений...

— Это как же так?

— Да так, обличаю — и все тут.

— Ей-богу, не понимаю.

— А вот, не хотите ли когда-нибудь обличать вместе со мною?

— Да я не могу...

— Ну вот, велика хитрость... Ну, а если не хотите, так послушайте, как я буду обличать.

Я согласился. И вот однажды Григорий Петрович пришел ко мне поздно вечером и предложил мне отправиться на обличенье.

Дорогою я спросил Григория Петровича:

— Кого же вы будете сегодня обличать?

— Василия Петрова, портного, не знавали?

— Нет, знаю. Я был у него несколько раз, — отвечал я.

— Ну, так вот... У него жена умерла, а он там безобразия творит... Дочка пропадет...

«Умерла! — подумал я. — Бедная девочка, и впрямь пропадет!». И мне представилась жалкая обстановка, какую я видел, бывая у Василия Петрова.

Тесная комната в подвальном этаже. Два окна, о шести шибок каждое. Стекла целы только в двух шибках; в одной — совсем нет стекла, а в остальных девяти — стекла разбиты, остались одни кусочки. Отсутствующие стекла заменены или наклеенною бумагой, или просто тряпкою. Обстановка комнаты вполне гармонирует с бумагой и тряпками в окнах. Половина комнаты занята печкою, а в другой половине помещаются два стула и нечто, служащее постелью Василию Петрову с женою. Петров зовет это нечто «кроватью», хотя нельзя не сказать, что это слишком оригинальный вид кровати: «кровать» эта состоит из двух досок, один конец которых прибит



к подоконнику, а другой опирается на два простых деревянных бревна. На «кровати» лежат две подушки, старая шуба и одеяло. Под кроватью стоит сундук или, попросту, ящик изпод спичек; из него видны какие-то лохмотья и голенища сапога. На стене, над стульями, прибита полка, на которой стоят чайник, два стакана с блюдечками, деревянная чашка с такими же ложками и два горшка. Больше в комнате ничего нет.

И в этой-то обстановке должна начинать самостоятельную жизнь восьмилетняя девочка, имея

единственным покровителем вечно пьяного отца!..

— Ну, пришли! — сказал вдруг Григорий Петрович, и мы вошли в квартиру Петрова.

Сальная свеча лишь в слабой степени разгоняла темноту, и мы только мало-помалу рассмотрели находившихся в комнате. Прямо перед нами, на «кровати», с которой было снято все, стало быть, просто на голых досках лежала несчастная жена Василия Петрова. Ее маленькое личико сделалось еще меньше, цвет лица до невероятной степени был черен. Губы были сильно сжаты, как будто она все еще чувствовала боль и старалась сдержать крик. Глаза страшно впали. Все ее лицо носило следы недавней муки. Одета она была в свое «вечное» платье, на котором был целый слой грязи и сала. В ногах у нее сидела дочь и с ужасом смотрела на мать. Несчастный ребенок оцепенел и не понимал, что делается вокруг него. Худенькие ручонки сжимали маленькую головку, положенную на колени матери; глаза малютки смотрели испуганно и так широко были раскрыты, что, казалось, готовы были выскочить из орбит; все тело девочки дрожало...

А тут же, около печки, опечаленный муж, Василий Иванович Петров, уже устраивал поминки: на столе, занятом у квартирной хозяйки, были расположены штоф очищенной и косушечка «ратафии» «для дам», две колбасы и французская булка. Денег для покупки всего этого, как мы узнали после, Василий Иванович достал следующим остроумным способом: зная, что соседки, знакомые и незнакомые, непременно придут проститься с покойницей, он поставил возле трупы жены тарелку: «не имея, дескать, средств для погребения любезнейшей супруги, покорнейше прошу уделить, что можете». Собранных таким образом денег было достаточно, по мнению Василия Ивановича, не только для погребения супруги, но и для почтения ее памяти приличными поминками. На поминки он пригласил Марию Петровну, свою квартирную хозяйку, с супругом, и «отнюдь никого более, ибо все прочие — свиньи». До нашего прихода хозяин и гости, видимо, успели «осушить по рюмочке, по другой». По крайней мере, когда мы отворили дверь, пирующие уже расчувствовались и обнимали друг друга. Занятые своим делом, они не заметили нашего



прихода, и мы свободно могли наблюдать эти своеобразные поминки. Сначала Марья Петровна соболезновала горю Василия Ивановича и утешала его, по мере сил и способностей своих; но затем, мало-помалу, пересчитав сперва все хорошие качества покойницы, Марья Петровна коснулась ее недостатков и после долгих рассуждений на тему: «Чего только вы, Василий Иванович, не перенесли от покойницы!» – пришла к решительному выводу, что Василию Ивановичу не только нечего печалиться, но, напротив, нужно радоваться, так как он теперь свободен и может начать снова жизнь. Василий Петрович обнял Марью Петровну и заплакал.

— Правда, кума, правда! Загубила покойница, царствие ей небесное, мою молодость... Эх, какой я был молодец до женитьбы!.. А теперь я что?.. Эх, эх!.. «Сила, моя сила!..» Не воротишь...

И он принялся рыдать.

— Ничего, кум, — утешал квартирный хозяин, — женишься на молодой жене — вот и воротишь.

— Да за меня никто не пойдет; скажут — старик...

— Ну, вот, вздор еще, — подхватила Марья Петровна, — какой же вы старик? Совсем еще молодец... Вот постойте: такую я вам невесту найду, что только ахнете...

— Да у меня уж есть на примете невеста...

— Ну, так чего же лучше!.. А теперь помянем-ка покойницу. Эх, кума, кума, зачем помирала? Теперь бы выпили с тобой...

Говоря это, Марья Петровна поднялась и подошла к трупу.

— Хочешь водочки? Ну, выпей!

И она поднесла рюмку к губам умершей.

— Кушай на здоровье!

И, выпив залпом рюмку, она захохотала. Захохотали и остальные пирующие.

— Ишь ведь что выдумала — покойницу надувать: ей подносит, а сама пьет... Ха, ха! шутница!..

И вдруг среди этой бесшабашной оргии раздался страшный голос Григория Петровича:

— Проклятые!

Эффект вышел поразительный: все трое пирующих повернулись в нашу сторону и бледные, дрожащие, с страшно выпученными глазами, смотрели на нас. Марья Петровна даже вскрикнула и уронила рюмку.

— И не стыдно тебе, Василий Иванович, — дрожащим голосом начал Григорий Петрович, — да есть ли в тебе совесть? Ну если ты Бога не боишься, людей не стыдишься, так пожалел бы хоть ребенка-то! Ты посмотри на нее — на что она похожа? У нее мать умерла, а ты при ней мать-то поносишь да еще позволяешь над мертвой издеваться... Плохо тебе будет: Бог все видит и накажет тебя, страшно накажет. Будешь ты по-



сле плакаться, да поздно будет, помяни ты мое слово... А вы, Марья Петровна, вы — лицемерка: ходите аккуратно в церковь, служите постоянно молебны, а теперь что вы делаете? Сказано: милости хочу, а не жертвы. И будет вам на том свете геенна вечная!..

Весь хмель, видимо, вылетел из голов пировавших. Они с ужасом слушали Григория Петровича: впечатление, производимое его словами, увеличивалось еще страшным выражением его лица, взволнованным голосом и торжественным тоном речи. Словно нечаянно проник свет в ту тьму, в которой они доселе находились, и осветил им всю мерзость совершенного ими поступка. Стыд, видимо, овладел ими, и они сидели молча, понуриив головы.

— Слушай, Василий Иванович: девочку-то ты сгубишь, если она останется при тебе. Ты лучше отдай ее барыне, Власовой; знаешь ведь? Я уже говорил ей о девочке, и она согласна взять ее..

— Нет, нет, Григорий Иванович, — каким-то болезненным голосом закричал Василий Иванович, — я буду кормить ее, растить, верь совести..

— Была у тебя совесть когда-то, это я помню, только теперь ты ее пропил. Ну да об этом мы поговорим с тобою завтра, а теперь я все-таки девочку уведу до завтра: что ей здесь мучиться да на ваше безобразие смотреть... Да вот еще что: пьянство-то ты отложи до времени. Или лучше вот что мы сделаем...

И Григорий Петрович взял со стола посуду с водкой, вынул из рамы тряпку и выбросил в разбитое окно штоф и кошушку.

— Так-то лучше, — добавил он и затем обратился к девочке: — Ну, а теперь, Поля, пойдем со мною.

Поля ухватилась за колени матери и начала кричать: «Мама, мама!».

— Ах ты, вот еще грех... Поля, да мы завтра придем, а теперь тебе спать нужно, а мать нужно обмыть... Пойдем же, голубчик!

И он, нежно обняв девочку, поднял ее с трупa. Девочка продолжала всхлипывать, но уже едва слышно.

— А ты, Василий Иваныч, подумай насчет девочки, что я тебе сказал, а завтра ответ дай...

И мы вышли. Дорогою я спросил Григория Петровича:

— Это и есть обличение?

— Оно самое... Только все: и Полю берите во внимание... все, от начала до конца...



IV

Раз как-то я пришел к Григорию Петровичу в гости. Он, как это всегда бывает с нашими мастерами, не имел особой квартиры, а жил в той же мастерской, в которой работал: верстак служил ему и письменным столом, и постелью. В одной комнате с ним помещались еще человек восемь мастеровых. Воздух в комнате был постоянно испорченный, вонь невыносимая. Поэтому окна мастерской никогда не закрывались в течение всего лета, а иногда случалось, что их открывали по целым дням и зимою, когда «уж очень невтерпеж становилось».

Когда я вошел в мастерскую, она была полна мастерами, находившимися в самых разнообразных позах: кто лежал на верстаке, кто на полу, кто сидел, кто ходил. Занятия мастеровых также были разнообразны: одни пели песни, другие наигрывали на гармониках, один стучал в бубен, а некоторые просто слушали. При моем входе все вдруг умолкло, и взоры всех обратились на меня. Через секунду с одного из верстаков поднялся Григорий Петрович и с добродушной улыбкой приветствовал меня. Остальные мастера тоже поднялись и начали уходить из комнаты.

— Зачем же они уходят? — обратился я к Григорию Петровичу.

— А это уж они всегда так делают: как только кто-нибудь придет ко мне, они и уходят в другие мастерские, к кровельщикам, либо к «богозамам»... Ведь у нашего хозяина на одном дворе несколько мастерских.

— Значит, мы их стесняем? Лучше ж пойдемте ко мне, — предложил я.

— Какое там стеснение! Я им не раз говорил, чтоб оставались: зачем им уходить? Так нет: мы, говорят, из уважения... Да нынче и идти-то мне нельзя: у меня нынче собрание.

— Какое собрание?

— А так, наши соберутся.

— Кто это ваши?

— А те, кто по любви хочет жизнь устроить.

— И много ваших?

— Пока немного. Да вы сами увидите...

Действительно, чрез некоторое время в мастерскую начал приходиться народ. Здесь были самые разнообразные личности: отставной солдат, торговки сальниками, мещане-огородники и, к моему удивлению, портной Василий Петров. Всех было двенадцать человек. Из них только один старик, а все остальные в возрасте от 20 до 30 лет.

Каждый входивший в комнату здоровался с Григорием Петровичем, приветливо кланялся мне и шепотом спрашивал:

— А насчет кассы сейчас?



— Можно и сейчас, — отвечал Григорий Петрович. Спрашивавший лез в карман, доставал оттуда деньги и отдавал их Григорию Петровичу, приговаривая улыбкой:

— Сорок копеек! — или: — Полтина!

Оказывалось, что вновь образовавшаяся «братия» имела уже кассу.

Приходившие рассаживались как кому было удобнее — на верстаках, на недоделанной мебели, а то и просто на досках — и вступали в разговоры друг с другом. Тем временем Григорий Петрович устраивал на одном из верстаков чай.

Мало-помалу разговор сделался общим. Предметом разговора служило происшедшее за несколько дней перед этим убийство. Жертвою убийства был немец, бывший пастор. Убийцы подвергли сперва его пытке — поджигали подошвы, а потом отрезали ему голову. Все удивлялись жестокости убийц и делали догадки, кто бы они могли быть.

— Непременно солдаты, — говорил один мещанин.

— Ну уж солдаты, — обиделся отставной солдат, — то же и из мещан есть...

— А ты, Ильич, не обижайся: теперешние солдаты-то не вам, старикам, чета — сушая дрянь... И из мещан — это ты верно — есть такие ухаи, что просто от них житья нет.

— Да, нынче народ, — заметил солдат, — нечего сказать, охулки на руки не кладет. В старину-то, когда я еще не служил, живали в нашем же городе не так, а тихо, смирно, по-божески: не нужно было ни замков, ни собак злых. Одно слово — жили хорошо, по-дружески, по-соседски... Ну и насчет франтовства, или там фанаберии какой — тоже ничего не было: у нас, у троих братьев, одни штаны были... Да, — подтвердил солдат, видя, что все улыгнулись, — истинно говорю, что одни штаны были — по очереди надевали... А чтоб насчет выпивки или табаку молодые баловались — этого и в помине не было: бывало, пойдет по городу какой-нибудь старый солдат, вот как я теперь... ну, идет он и трубку курит, а мы, уж большие ребята были, целою гурьбою бежим за ним: так нам табак-то в диковинку был... Ну, и соседство, тоже было настоящее, а не то что бы так себе: случись какая беда, сейчас помогут. Да что: колодцы копать — никогда не нанимали, а все соседскою помощью; крышу крыть — тоже... А теперь-то... Эх!..

— Это верно: теперь скорей с несчастного еще что-нибудь сдерут, чем помогут ему, — отозвалась торговка сальниками.

— А молодые-то ребята теперь какие: идет парнишка лет пятнадцати, курит папироску, за барышнями ухаживает — настоящий франтик...

— А воровство-то теперь пошло, грабеж какой...

— Совесть за деньги продают...



— Да что и говорить: хороши нынче все, — заключил Василий Петров. — Взять хоть меня! Как подумаю, до чего было я дошел, если б не Григорий Петрович, дай Бог ему...

— А вот что, братцы, — перебил Григорий Петрович, видимо боявшийся похвал, — отчего же это нынче люди так дурно живут?

— Отчего? — повторил вопрос Василий Петров. — А от нужды, верное слово, от нужды. Я это дело вот как знаю: все сам испытал. С чего я пить-то начал? С хорошей жизни, что ль? Бывало, сидишь, сидишь целый день согнувшись, а вечером разогнешь спину, оглядишься кругом — нужда: жена сидит измученная, какие-то тряпки чинит; девочка булочки просит, а ее нет; квартира хуже всякого погреба; поужинал бы — да нечего... Такая тоска возьмет, что схватишь шапку, да в кабак: там и светло, и тепло, и разговор веселый...

— Нужда, что и говорить, всему корень...

— Голод не тетка: и грабить заставит...

— Ну, не всегда нужда-то виновата: у иного и в кармане густо, а он все норовит какую ни на есть пакость выкинуть, — возразила торговка сальниками.

— Ну, а я думаю, что и здесь виновата нужда, — отвечал Григорий Петрович, — ведь если разобрать такого человека, кто при густом-то кармане живет не по-божески, да подумать, отчего он стал дурным человеком, так и окажется, что опять-таки нужда... Либо он сам нужду терпел, да остервенел, либо его отец с матерью испортили — не досмотрели, а иной раз и просто учили грабить; бывает ведь и так...

— Чего не бывает, бывает... Грех так-то поминать родителя, а все-таки скажу: покойник, бывало, нарочно посылал к соседям в огород капусту промышлять, или картошку, или там редьку, бураки... Только тут уж подлинно нужда причиною была...

— Да, всюду нужда, — горячо заметил Григорий Петрович.

— Это, что ж, верно! — отозвался солдат.

— Это верно, это так, — раздалось со всех сторон.

— Ну, а если это так, — продолжал Григорий Петрович, — так и давайте нужду-то эту искоренять... Отчего нас нужда подoleвает? А оттого, что мы живем врассыпную: всякий, кто сильнее нас или хитрее, и грабит сколько его душевненьке угодно. А попробовал бы кто-нибудь нас тронуть, когда мы все вместе, небось, осекнулся бы... Или случится с кем-нибудь несчастье — погорел, деньги потерял или заболел — ну и беда, и пропал человек: ложись в гроб да умирай. А как мы вместе, так нам всякое несчастье наплевать... Вот слушайте, как жили первые христиане.



И Григорий взял Евангелие, раскрыл «Деяния апостолов» и прочитал:

«Не было между ними нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного, и полагали к ногам Апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду» (глава 5, страницы 34 и 35).

— Хорошее это дело, — произнес доселе молчавший огородник, — много я думал об нем... Хорошее дело, и вся душа лежит к нему... Только мы-то годимся ли? Ведь дрянь мы, страшная дрянь... Уживемся ли?

— А вот посмотри ты на нашу мастерскую, — отвечал Григорий Петрович, — согнал нас сюда хозяин — кто с сосенки, кто с бору, а посмотри, как мы живем: дружно, честно, по-товарищески. В других мастерских, хоть у «богомазов», каждый божий день драка, а у нас бранного слова не услышишь. А прежде-то что было, не приведи Господи!.. Вот ты и смотри...

Воцарилось молчание. Все задумались.

— Трудное это дело, — начал опять Григорий Петрович, — это что и говорить! И делать это дело нужно не сразу, а нужно друг к дружке присмотреться: сойдемся ли?..

— Это так, — заметил солдат, — семь раз примерь, а один раз отрежь.

— Вот мы и будем понемногу примерять: сперва касса, потом братские обеды, а там еще кое-что... И увидим, годимся ли мы...

— Так и нужно, так и будем, — подтвердили со всех сторон.

— Ну, теперь у кого мы соберемся следующий раз?

— У меня, други, у меня, — сказал один из огородников, — больно уж охотятся соседи мои побывать у нас на собрании, ведь про нас говорят бог весть что...

— Да, уж языки-то насчет нас чешут, это верно, — заявила одна из торговки.

— Пускай чешут, — ответил солдат, — почешут и перестанут.

Все распрощались со мною и Григорием Петровичем. Я спросил его:

— И вы надеетесь довести дело до конца?

— Непременно.

— А слухов не боитесь?

— Я ничего не боюсь...

V

Судьба заставила меня оставить родной город, и скоро, увлеченный вихрем жизни, я совсем забыл о Григории Петрови-



че. Только через два года я получил от сестры известие о его судьбе.

И как-то странно было среди известий о свадьбах, крестинах, похоронах и других событиях в жизни родных и знакомых, среди рассказов о театре, балах и гуляньях, среди жалоб на недостаточность средств, не хватающих на «приличную» жизнь, читать следующие строки:

«Недавно в нашем окружном суде судился какой-то сектант, Григорий Востряков. Он обвинялся в том, что смеялся над церковью, отвергал таинства и, наконец, завел какую-то секту. Говорят, что в секте этой богослужение совершалось таким образом: становили среди комнаты кадушку и плясали вокруг нее. Простонародье верит, что из кадушки вылезал черт и давал пляшущим деньги. Рассказывают еще такие мерзости про этих хлыстов или шалапутов (их так зовут), что мне просто стыдно про это писать. На суде, однако, Востряков держал себя гордо и с достоинством, говорил, что мир полон зла, что все — мошенники, забыли правду и что он и не ждет справедливого суда. Его приговорили к ссылке на поселение...

P.S. Да, и забыла сказать: Востряков обвинялся еще в том, что, пользуясь невежеством своих последователей, обирал их в свою пользу».



МОЙ УТРЕННИЙ ГОРОД

Помню одно особое ставропольское утро в студенческую пору. Впереди всех нас ждал выходной день – суббота перед Светлым Христовым Воскресением. Колокольный раскатистый звон разбудил меня чуть свет. Необоримо захотелось пройтись по безлюдным улочкам, озвученным лишь веселыми трелями синичек.

Стрелки на циферблате городских часов неумолимо бежали куда-то, но улицы и земля продолжали хранить шаги всех ушедших навек. Многие дома в исторической части города мне знакомы и памятны, будто бывала в них и знала их жителей.

В то субботнее утро сначала дошла по улице Пушкина, именовавшейся когда-то давно Семинарской, до особняка с мезонином, где жил прославленный на Кавказе военный деятель, генерал Мачканин, зверски убитый большевиками во время Гражданской войны. Где-то неподалеку квартировал композитор Бевенский с семьей. Я постояла немного. Воображение живо начало рисовать, как достопочтенный генерал с удовольствием возился в своем палисаднике, сажая нежно-лиловые и белые розы. А из открытого окна доносилась песня детско-хора его семьи:

«Не скажет ни камень, ни крест, где легли,

*Во славу мы Русского флага,
Лишь волны морские прославят одни
Геройскую гибель «Варяга»!*

По пути моего следования, среди неприметных строений, притаился краеведческий музей имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. Ещё с детства в древнегреческом названии города чудилась мне сокрытая тайна, сродни потерянной Атлантиде. В Ставрополе издавна слились восток и запад. Через эти земли проходил когда-то Великий Шёлковый путь.



**ЛИЛИЯ
ЖИДКОВА**

НОВОЕ ИМЯ





Отчаянно отстаивали своё городище племена медно-бронзового века, а позже киммерийцы, скифы, сарматы, аланы и гунны, хазары и половцы. Широко были распахнуты врата Кавказа – археологи по сей день находят сокровища на территории Ставрополя и его окрестностей: от наконечников стрел, бусинок из драгоценных камней, знаменитых «половецких баб», встречающих у входа в краеведческий музей, до древнегреческих амфор со средиземноморского острова Родос. Ускользающая красота прошлого входит в современную жизнь только тогда, когда люди сами искренне хотят её увидеть: не только глазами, но и сердцем.

Начал сонно шептать мелкий грибной дождик. Он исподволь придавал ярких красок крышам и стенам домов, тротуарной плитке, первой в этом году, невысокой салатовой ещё траве. Из-за низких сероватых туч проблескивали лучи солнца. «Эх, Царевна плачет», – улыбнулась я и побрела дальше к Крепостной горе.

Многие знают, что вблизи захоронения генерала Апанасенко есть крошечная смотровая площадка. Немало в жизни у меня связано с этим местом: первое свидание, любовь, последняя встреча... Не раз ноги сами приводили меня сюда... И так было хорошо стоять на площадке, оглядывая панораму города и осозная: вот она я – живая, а сколько поколений приходило до меня и сколько придёт после просто взглянуть: каков он наш красавец Ставрополь! Вокруг не было ни души, но искренне ощущалось, что пожившие вечным сном горожане здесь, со мной любят утренняя городом. Внизу виднелась долина Ташлы, вдоль которой тянулись улицы. А сойдя со смотровой площадки на лестницу, я замерла от неожиданности! В южной стороне на чистом бирюзовом горизонте проступил величавый Эльбрус. Казалось, он был так близок! Да. Недаром Ставрополь называют связующим мостом между центральной Россией и её южными рубежами. Город-крепость, героический форпост!

Оглянулась, и пока никто не видел, прижалась ладошкой к крепостной стене: «Ну, здравствуйте, мои родные, мои близкие, мои прародители – покорители земли кавказской. Я чту и помню Вашу пролитую кровь, все Ваши невзгоды и подвиги!»

Воодушевленная размышлениями, вспоминая семейные истории и легенды, я спустилась по каменной лестнице. Кругом, ароматом кленовых почек, желанно и немного робко входила в свои владения весна. Озябшую землю пробирало дрожью, но в стволах деревьев уже струился солнечный живой сок, значит – скоро придёт тепло. А вот и он, – дом, где жил писатель Илья Дмитриевич Сургучев. В его «Китеже» и «Губернаторе» я нашла разгадку своей любви к Ставрополю. Купеческому, немного скрытному, с хитрым прищуром, непонятному



приезжающим, но такому родному, такому моему... В этом многонациональном и разносословном городе можно было встретить и зажиточного купца первой гильдии, и бывшую разорившуюся помещицу, и дворянина, только что прибывшего из Тифлиса, и архиерея, спешащего на службу...

В граде Креста церкви, разумеется, занимают особое место. Андреевский храм, Собор Казанской иконы Божией Матери и, конечно, самый близкий, пришедшийся мне по душе Крестовоздвиженский храм, по соседству с которым скорбело когда-то Варваринское кладбище. Подошла к нему. Несмотря на ранний час, в церкви шли приготовления к великому торжеству. На подворье хлопотали женщины, преисполненные близким таинством праздника. Они усердно мели, чистили, белили. Рядом сновали по дорожкам, охотно помогая, дети и подростки, и на их бледных сосредоточенных лицах проступало особое радостное волнение. А внутри храма – горят свечи, спокойно и как-то по-весеннему благостно. Служки и прихожанки украшали храм кипенно-белыми цветами, расставляли корзинки с крашеными яйцами и куличами, увенчанными сахарной глазурью. Через несколько часов начнется торжественная служба. Днем в далеком Иерусалиме по милости Божьей снизойдет Благодатный огонь и его доставят в Москву, откуда он разлетится по всей стране. День угаснет. И наступит ночь. А в светлую заутреню разлетится весть о том, что Господь, Иисус Христос Воскрес, смертью смертью поправ... Вышла со светлым сердцем, ощущением приближения необъяснимого, но великого и сокровенного...

На обратной дороге повидалась со старым «знакомым», – домом на Комсомольской улице, в народе прозванным «Замок с призраком». Не знаю, были ли там приведения, но сам дом с каждым днём ветшает, и лишь недавно стало известно, что нашелся человек, желающий отремонтировать замок. Все-таки хранит Ставрополь традиции меценатства!

Неподалеку в проеме под аркой виднелся небольшой уютный двор. Внутри его располагалось несколько совмещенных квартир. Сквозь мелкий гравий дорожкой пробивалась молоденькая травка. На крылечке у голубой крашеной двери, как поплавок, торчал маленький веник. Я не сдержала вздоха: когда-то давно такие крошечные веники вязал для меня мой дедушка, которого уже нет с нами... В какой-то момент почувствовала его незримое присутствие рядом. Наши близкие живы, пока мы помним о них.

Я возвращалась домой и на разные лады твердила про себя: Ставрополь, Град Креста... Город, где я родилась. Куда приезжала в детстве как гостя и с упоением смотрела на парад духовых оркестров. Окунаясь в атмосферу далеких веков, представляла, как по Воронцовской роще прогуливались Пуш-



кин, Лермонтов, декабристы. Как отец Сургучева открывал лавку колониальных бакалейных товаров, и крестьяне подъезжали к Базарной площади в поисках гостинцев к Пасхе. Как долго до этого аланы в городище разводили огонь, и их старожилы, всматриваясь в искры, вспоминали про давние времена, когда в здешних местах можно было встретить носорогов-эласмотериев, а в водах Сарматского моря дельфинов и китов. Связующая ниточка прошлого и настоящего – не кончалась...

Моё сердце навсегда принадлежит Ставропольской Атлантиде.

ПОЛОЗ

«Боже, как славно возвращаться из города в хутор! Петлять знакомыми огородами, садами, где грядки соседствуют с цветами. Их целые протоки: и домашние ирисы, и разнообразные полевые. А какой аромат! Как всё благоухает, радуется...», – с радостью думал Юрка, идя к бабушкиному дому. Он уже поднялся было на крыльцо, взялся за дверную ручку, как вдруг его остановил глуховатый старческий голос:

– Погодь, милоч!

Это оказалась соседка, Клавдия Никитична. Никто здесь не помнил точно, сколько ей лет. И все относились к ней со снисходительным пониманием, которым обычно одаривают маленьких детей. Юрка улыбнулся, увидев Никитичну.

– Здравствуйте! Опять телевизор не показывает? – с усмешкой осведомился юноша.

– Ой-ёй-ёй, внучок! Тут дело куды серьёзней! – неожиданно запричитала хуторянка. – Покуда тебя не было, тут такое творилось... Ко мне ясный свет вернулся, разум... Ты понимаешь?

– Пока не очень, – Юрка пожал плечами. – Пойдём, баб Клав, к нам. Чайку с бабулей попьете. Там и расскажешь.

– Хорошо, милый, хорошо, – унимая одышку, согласилась старуха.

Они вошли в дом, где хозяйка, Ульяна Тимофеевна, жарила кабачки.

Всё здесь было неизменным испокон веку. Русская печка, шкафчики, стол, потертые стулья да небольшой баракановый диванчик. На досках пола пестрели круглые половики. Холодильник с запасом корвалола на пластиковой стенке. Но какая-то особенная атмосфера старого дома, обстановка, добрый его уют необъяснимо умиротворяли Юрку. Потому так охотно и забирался сюда, подальше от городской суеты. К тому же, настоящей его страстью, привитой дедом, стала рыбалка. Поэтому, с наступлением лета, почти все выходные Юрка проводил в Авросьевке. Его, будущего филолога, очень интересовал (как говорили в старину казаки, – «дюже» интересовал) и местный



диалект. Он даже курсовую работу в университете писал по материалу, собранному в хуторе, откуда пошел их род, где родилась мама.

Ульяна Тимофеевна, атеистка до мозга костей, (хоть и названа была по святцам), в сказки своей стародавней подруги не верила, но в этот раз не на шутку обеспокоилась. Слушала ее внимательно.

– Прозренье ко мне пришло! Что ж я, не ведая, натворила-то! – сокрушалась Никитична. – Приехала давеча ко мне дочка с ейным сожителем. Мол, в городе работы нет, кризис, мы у тебя поживём. Здесь огород держать можно, какой-никакой... И что? Кабы огород посадили, – так пили безбожно. Кажин божий день! – Клавдия Никитична пошамкала губами и вздохнула, – Видать, позарились на мой дом, а давай на меня воровжбу нагонять. Тут разум мой и померк. Повезли они меня в райцентр к нотариусу! Как в тумане была, – уже плачущим голосом добавила гостья. – Ихнюю бумагу и подмахнула...

– Завещание? – уточнил Юрка и твердо сказал: – Его можно переделать.

– Внучок, меня добры люди-то просветили уж пося... Где я остановку-то сделала?

– Там, где бумажку подмахнула, – подсказала Ульяна Тимофеевна.

– А, да, да, вот потом они на радостях опять напились, и тут дочке плохо стало. Вызвали «скорую». Увезли в больницу, не знаю куда, и сожитель с нею. Тут ко мне разум и вернулся! Смекнула, зачем етот шельмец перед глазами моими часами крутил...

– Гипноз, – предположил Юрка. – Хотя, вряд ли... Просто в наглуу решил дом отнять. Не волнуйся, Никитична. У меня есть знакомый юрист. Он посоветует, что делать.

– Вот как? – как будто заинтересовавшись, спросила гостья и снова зачестила. – Ну и вспомнила, как у нотариуса была. Как меня спрашивали, а я будто не своя отвечала. А потом и затвердила бумагу. Это самое завещание... Тут добры люди-то и надумили, что надо отмену делать – глупости моей. Я поехала, нотариус меня вспомнил, надоумил. Только боюсь я тепереча. А коли проведает про то дочка? Ой-ёй-ёй... Изведут же...

Ульяна Тимофеевна озабоченно поглядывала на простофилю. Действительно, с детства зная дочку Никитичны, Таньку, бывшую продавщицу на рынке, можно было предположить, что она мать в покое не оставит. Жалости и заботы от такой мегеры не дождешься. «И маленькая была, – шкодила. А выросла – в дурную компанию влипла в городе, начала пить, да воровать, – размышляла хозяйка. – А Никитична верила ее жалобным письмам, последние денежки посылала. А потом Танька техникум бросила, уехала на Север за длинными рубля-



ми. Мать, считай, бросила. Бывало, идём в Дом культуры – петь в казачьем хоре, вроде как душа её воспрянет. Денёк, другой, – опять тоскует. Дочка-то родная кровь, не чужая, щемит в груди...».

– Ты, голуба, успокойся. Утро вечера мудренее. А чтоб извести... Подсудное это дело. Да против родной матери? – засомневалась Ульяна Тимофеевна, поглядывая на внука, который в знак согласия кивал. – Если опять начнут обижать, нам жалеться. А хочешь, заночуй тут.

– Чи я бездомная? К себе пойду, а то последнее утащат, хоть и брать-то нечего...

Юрка вызвался проводить Никитичну. Безветренная июньская ночь была светла от луны. Чудесным духом молодого пшеничного колоса и разнотравьем тянуло из-за околицы. Где-то в заречье допевал последний в этом году соловей. И лишь лай собак нарушал глубокую тишину.

– Ну всё, Никитична, пришли. Ты сны видишь? Пусть тебе приснится кинокомедия.

– Ой, Юрочка! Комедий и в жизни хоть пруд пруди... Спасибочки, что проводил до дому. Сейчас вот замкнусь и – лягу.

Дня через три, ранним утром, в окно тревожно постучали.

– Иду я, иду! – Ульяна Тимофеевна поднялась, с трудом переставляя затекшие ноги, как была в ночной рубашке вышла из спаленки в прихожую. Сдернула со спинки стула косынку и стала повязывать. Крашенные буровато-седые волосы не слушались, то и дело вырываясь наружу.

– Ой, Ульянушка, дай сяду, а то силов нету, – войдя в дом, Никитична сразу опустила на стул.

Юрка, проснувшись, перевернулся на другой бок, и не стал слушать сбивчивый разговор подруг.

И вдруг прямо над его головой раздался вкрадчивый голос бабушки:

– Юрик, вставай! Помощь твоя нужна.

Парень, зевая, поднялся.

Оказалось, что вечером вышла Никитична во двор, чтобы собачку покормить, и чуть было не наступила на огромную змею. Побежала к ближнему соседу. Федотыч хатенку обследовал, но «ирода окаянного» не нашёл. А Никитична всю ночь провела с включённой лампочкой, боясь внезапного нападения.

– Пройди с ней, проверь. Глаза у тебя молодые, – Ульяна Тимофеевна похлопала сонного внука по плечу.

– Так точно, – шутиливо отозвался Юрка. – Постараюсь оправдать высокое доверие!

Тропа к подворью Никитичны вилась вдоль зарослей лопухов. Хата её, обшитая досками, покосилась и выглядела не-



казисто. Шиферная крыша от старости кое-где зеленела мхом. Щелястые ступеньки, отделяющие крыльцо от сеней, поскрипывали при каждом шаге. Юрка вслед за хозяйкой нырнул в сени, где развешены были пучки трав, собранных на Троицу, которыми Никитична лечилась. В сам дом вела когда-то крашенная, в белой шелухе дверь. Тесную горницу чуть ли не наполовину занимал пыльный сервант, в стеклянной дверце которого желтели нечеткие фотографии минувшего столетия. И овальный раздвижной стол, под одной ножкой которого плющилась коробочка спичек, и маленькие часы на подоконнике, чьё тиканье отдавалось эхом, напомнили музей древности. Дальше располагалась спальня Никитичны с домоткаными ковриками, железной кроватью и незатейливыми занавесками на окошечке. Над кроватью красовалась выцветшая почётная грамота, заключенная в рамку.

– Ету награду мне в Кремле сам Калинин вручал, – простодушно похвалилась старушка. – Сначала я в бригаде работала, а потом на птичник перевели. С Ульяной там и сдружались.

Обследовав все углы и закоулки, Юрка змеи не обнаружил.

– Можешь спать спокойно, баб Клав. Проверено – мин нет! – обнадежил Юрка.

– Ой, чую я, тут ета зверина.

– А что ей в доме делать? Серилы с тобой смотреть? – возразил Юрка.

– Дай-то Бог, – перекрестилась хозяйка.

Никитична как будто успокоилась. Управилась по хозяйству и уже шла в дом, как услышала писк мыши. Её преследовала большая змея. Стремительным броском мышь оказалась повержена. Хозяйка не успела опомниться, как большой желтоватый полоз уже проглотил добычу. Аспид скользнул по спорышу к сараю и там затаился.

– Кажись, ужака... Слава богу, неядовитая... И умная... – прошептала старуха и облегченно вздохнула. Знала она с детства, что в степи водятся такие особые гады, которые на хвосте имеют утолщения, вроде каменюки. И могут сбивать с ног не только людей, но и лошадей. Сами по себе они не вредные, но их лучше не трогать. До невозможности умные и мстительные.

Ей вспомнилось, что давно хотела завести кота вместо пропавшей Мурки. Особенно сейчас, осенью, от грызунов не было никакого спасения. Из сараюшки они таскали зерно, а на кухне хозяйка то и дело портили, грызли продукты. Поэтому, первый страх перед полозом у старой казачки прошёл: «Нехай вместо кошки остается». С того дня стала она о змее заботиться. Каждый вечер ставила под крыльцо миску с молоком и, привыкнув к такому соседству, шла спать уже спокойно.



Приближались первые морозы. И как-то выйдя во двор и не найдя змею, Никитична не на шутку расстроилась. Долго искала, но так и не обнаружила. Видимо, уполз или спрятался в нору. В тот же день негаданно приехала дочь со своим мил-дружком.

– Ты мамка, как хочешь, но мы с Жориком пока с тобой проживем. Квартуру свою в городе продали. Может, что подходящее в райцентре подберем. – Танька бросила на верхнюю площадку крыльца две большие клетчатые сумки.

– Если б не брала кредит, не пришлось бы крышу над головой терять и тащиться в эту дыру, – проворчал сожитель.

– Помолчал бы! От тебя-то какой прок? Я хоть какую-никакую копейку в дом несла, а ты с друзьями только пиво глушил! – обозлилась Танька. – Мячик чертов!

Заросший, неопрятный мужик и впрямь походил на спортивный снаряд: низенького роста, с отвисшим животом, и короткими ногами.

– Коли так, то живите, – Клавдия Никитична недоверчиво оглядела обоих. – Только пить прекращайте. Перед богом грешно, а перед людьми совестно.

– Твои понятия, мамаша, устарели на хрен! Сейчас каждый живет, как хочет, – возразил хмуроглазый мужичок. – Вот ты, например, крестьянка, мелкая буржуазия. Имеешь участок, держишь кур и козу. А мы – люди вольные, живем, как душа велит. Вот перебьемся у тебя как-нибудь, похороним, а там видно будет.

Танька в это время обшаривала глазами материнский дом, в котором выросла, подбирая подходящие вещи, которые можно продать.

Клавдия Никитична посмотрела на дочь с горечью и обидой. «Где же я тебя упустила-то, милая? Во всём тебе отказу не было. За что заслужила такую худую старость?»

Терпеть ругань дочки с «зятком» больше не хватало сил. Однажды утром она вышла и присела на спиленный ствол ореха, засохшего от старости, и стала греться на осеннем солнышке. Незаметно ее разморило, она уронила на грудь голову и задремала. Разбудил поднявшийся ветер. Открыла глаза и увидела чуть поодаль, на пожухлом спорыше, свернувшегося в кольцо своего охранника: «Ну, значит, вернулся, мой крысолов».

Жорка вышел на крыльцо. Прикуривая сигарету, он скользнул взглядом по двору и вздрогнул. Испуганно уставился на полоза и шагнул к открытой двери:

– Танька! Слышь! Проснись, там змеюка, метра три будет!



– Допился?! Уже змеюки мерещатся, алкаш! – донесся из прихожки сердитый голос подруги. – Завтра еще белочка явится. Ожидай!

– Дура! Иди, сама погляди. Я этих тварей, в натуре, ненавижу! – от злости у «зятка» задрожал голос. – Шчас я приголублю этого чувака!

Коротышка, в трико с отвисшими коленями и тельняшке, схватил швабру, висевшую на балясине крыльца, и воинственно спустился на землю. С разбега замахнулся на змею, – и вдруг размашистый желтоватый жгут, мелькнув в воздухе, стегнул его по ногам, сбил на спину. Став на карачки, Жорка хватил к крыльцу, забыв швабру. Никитична ахнула, наблюдая, как полз расправился с напавшим на него человеком.

– Ай да, орел! – воскликнула она одобрительно. – Постоял за себя...

Невероятно, но почему-то дочь с хахалем в тот же день собрались и умотали на первом автобусе в город. Только их и видели. «Из огня да в полымя. Только что же плохого я им сделала?» – не понимала Клавдия Никитична. После отъезда громких домочадцев в хате воцарилось безмолвие.

Опомнившись, старушка поспешила во двор: «Не воротился ли полоз?» Обошла двор, огород, вышла за калитку, но змея как в воду канула. Временами Никитична слышала частые удары своего сердца: «Опять, кажись, таблетки забыла принять. Подводит память». Пришлось вернуться в дом.

Все следующие дни начинались для нее одинаково. Поохав, надевала старенькие, но опрятные калоши и пускалась в обход своих и соседских владений: «А вдруг мой желтобрюхий вернулся?» Клавдия Никитична тщательно проверяла: не появился ли полоз под крыльцом, в сенях или в сарае. Подливала свежего молока в блюдо, но оно так и скисало нетронутым. В результате перестала заходить на воскресные посиделки к Ульяне Тимофеевне. Забросила занятия в казачьем хоре. Длинными вечерами, вплоть до заморозков, сидела во дворе и всё ждала: «Может быть, сегодня воротится. А меня дома не будет. Худо получится, коли хозяйка не встретит долгожданного гостя».

– Федотыч, ты моего полоза не видал? – с надеждой старая казачка спрашивала ближнего соседа.

– Не видал, – получала она один и тот же угрюмый ответ.

«Вот и первый снег. Значит, больше ждать толку нет, уполз в норку, да там в спячку и впал», – решила она, встав с орехового бревна и тихо побрела в свою хатёнку. Она уже отворила дверь в сени, немного замешкавшись в проёме, оглянулась и с тоской посмотрела на белые снежные хлопья: «Нет. Всё-таки заведу по весне Мурку. Дуже одиноко...».

То была последняя зима в жизни Клавдии Никитичны.



Заоблачный фронт. Бои за перевалы Кавказа

В суровых зимних условиях высокогорья сражения шли на отметках до 4500 метров над уровнем моря. Так высоко война ещё не поднималась

В битве за Кавказ прекрасно подготовленные и экипированные егеря вермахта не устояли перед волей, мужеством и героизмом советских горных стрелков

Продвижение немцев было стремительным

Гитлер рвался к нефтепромыслам Закавказья. Имея превосходство в людях и технике, враг продвигался молниеносно. Немецкое командование рассчитывало с ходу преодолеть Главный Кавказский хребет, выйти в районы Тбилиси, Кутаиси, Сухуми и овладеть источниками нефти.

В августе 1942 года 49-й горнострелковый корпус генерала Конрада из района Невинномысска и Черкесска двинулся к перевалам Главного Кавказского хребта. Разбившись на группы, немецкие горные стрелки шли в направлении перевалов Санчаро и Псеашха, по долинам рек Марух и Большой Зеленчук - к перевалам Наурский и Марух, а по долине реки Теберда - на перевалы Клухорский и Домбай-Ульген. Еще одна группа направилась по долине реки Кубань к перевалу Хотю-тау. Этому направлению противник придавал особое значение: путь вел к Эльбрусу в тыл наших частей, отходивших вверх по Баксанскому ущелью. Именно в этой группе находился отряд альпинистов капитана Грота, впоследствии занявший «Приют одиннадцати», метеорологическую станцию на южных склонах Эльбруса, и установивший на его вершинах флаги.

Заняв горный массив Эльбруса, противник мог господствовать над Баксанским ущельем и ставил под удар пути,



**АЛЕКСЕЙ
КРУТОВ**

**ОЛЕГ
ПАРФЁНОВ**

КРАЕВЕДЕНИЕ





ведущие на перевалы Донгуз-орун и Бечо, а также получал возможность пройти по ущельям рек на Ингурскую и Военно-Сухумскую дороги, в глубокий тыл наших войск.

Между тем по ущельям в сторону хребта отходили отрезанные от основных сил разрозненные части Красной армии. Одни бойцы гибли от вражеской пули, другие - от лавин, камнепадов, в бездонных трещинах. Из неглубоких трещин вытаскивали, в глубоких исчезали навек. Погибших хоронить было негде, их просто обкладывали кусками льда или камнями.

С тех пор прошло уже много лет, но и сейчас находят останки красноармейцев, пытавшихся пробиться к своим через суровые заоблачные выси.

Обстановка становилась все более напряженной, и Ставка Верховного Главнокомандования специальной директивой потребовала от Закавказского фронта немедленно принять меры по укреплению обороны перевалов, в особенности Военно-Грузинской, Военно-Осетинской и Военно-Сухумской дорог, «исключив всякую возможность проникновения противника на этих направлениях».

По всем частям Красной армии для Закавказского фронта стали подбирать альпинистов, однако командный состав, как правило, не имел опыта боевых действий в горах, о чем впоследствии писал Маршал Советского Союза А.А. Гречко. Вместо того чтобы выносить огневые средства на ближние и дальние подступы к перевалам, оборону старались организовать непосредственно на них. Ряд направлений, допуская подход к перевалам целых подразделений противника, вообще не оборонялся. Детальная рекогносцировка районов, примыкающих к перевалам, не производилась, на позициях выставлялось лишь наблюдение, а сами гарнизоны располагались далеко на южных скатах хребта.

Перевалы немецкие егеря знали отлично

К середине августа противник достиг Клухорского перевала, обороняемого подразделениями 1-го батальона 815-го полка 394-й стрелковой дивизии. Гитлеровцы наступали несколькими колоннами. Преодолев скалистые склоны, они обошли с флангов наши части, атаковали и захватили перевал.

Важным опорным пунктом Эльбруса считалась построенная в 1930-е годы гостиница для альпинистов «Приют одиннадцати» на высоте 4130 метров над уровнем моря. Именно сюда направился Хайнц Грот, который до войны под видом инженера-горняка несколько раз был в этих местах. Пятерых сотрудников метеорологической станции немцы взяли в плен, а потом отпустили с наказом известить советское командование о захвате Кавказа.



21 августа группа горнострелковых егерей во главе с капитаном Гротом подняла на вершине Эльбруса флаги со свастикой. Берлинское радио сообщило:

«Флаг великой Германии гордо реет над высочайшей горой Кавказа. Символ доблести немецкого оружия водрузили на Эльбрусе герои из 1-й горнострелковой дивизии «Эдельвейс» генерал-лейтенанта Губерта Ланца, кавалера рыцарского железного креста с бриллиантами».

1-я горнострелковая дивизия («Эдельвейс») была укомплектована коренными жителями районов Южной Германии, Баварии и Австрии, для которых горы были родным домом. В дивизию набирали солдат не моложе 24 лет, с опытом ведения боевых действий в условиях высокогорья. Еще перед войной немецкие горные стрелки прошли подготовку в Альпах, о чем писала немецкая пресса: «Тысячи туристов бродили по горам, не замечая войск, ибо оставаться незаметными - важнейшее правило альпийского стрелка...

Имея хороший бинокль, вы могли с какой-нибудь вершины наблюдать за тактическими занятиями: дерзкие маневры, захваты важных пунктов, молниеносные отходы следовали один за другим. Егеря, как кошки, взбирались на неприступные вершины диких скал, на секунду прилипали к острым карнизам и бесследно исчезали где-то в темных расселинах. В самые холодные зимние дни в засыпанных снегом горах можно было видеть белые фигуры лыжников с тяжелым грузом на спине. Они неслись с отвесного склона, внизу стряхивали снег и снова пускались в бешеное преследование невидимого противника: на глетчерах они преодолевали глубокие овраги, на вершинах гор устанавливали орудия и минометы, искусно строили изо льда и снега теплые убежища».

Солдаты «Эдельвейса» были обучены всем видам боевых действий в горах. Экипировка личного состава состояла из удобной крепкой горной обуви, функциональной одежды, темных очков, палаток, спальных мешков, походных спиртовых индивидуальных кухонь и примусов. В снаряжение входили ледорубы, «кошки», веревки, скальные и ледовые крючья и карабины, спасательные средства. Горные части вермахта обеспечивались даже специальным высококалорийным питанием. При сохранении стандартных калибров стрелковое вооружение было предельно облегчено, прицелы рассчитаны с учетом угла возвышения вплоть до ведения огня вертикально вниз или вверх. Боекомплект и провиант были приспособлены для вьючной транспортировки. По воспоминаниям немецких ветеранов, для оборудования долговременной обороны в горах Кавказа они тащили с собой даже стройматериалы.

К сентябрю немцы захватили ключевые точки хребта и стали укрепляться. Наши подразделения были разбросаны на



широком фронте, иногда одно из них оказывалось в распоряжении чужого полка и на ходу передавалось ему. Связь между штабами частей была настолько неустойчивой, что о боях на перевалах командование узнавало спустя несколько дней. Не удавалось наладить снабжение отрядов на перевалах боеприпасами и продовольствием. На передовую грузы доставляли за 80 километров из Захаровки, что недалеко от Сухуми. Еще труднее обстояло с эвакуацией тяжелораненых в тыл.

«Нам на Эльбрусах не воевать!»

Александр Михайлович Гусев – один из защитников перевалов Кавказа, оставивших воспоминания о тех боях. В горы начал ходить в юности, и вся его альпинистская жизнь связана с Кавказом. Прошел Клухорский, Твиберский и Бечо перевалы, совершил восхождение на восточную вершину Эльбруса, зимовал на высоте 4250 метров. В качестве руководителя участвовал в восьми летних и одном зимнем массовых восхождениях на Эльбрус.

На Кавказе воевал с осени 1941 года, будучи начальником горной подготовки 9-й горнострелковой дивизии 46-й армии Закавказского фронта. В 1942-м - командир отряда альпинистов 194-й стрелковой дивизии на Клухорском направлении, в 1943-м - начальник отделения альпинистов опергруппы Закавказского фронта по обороне Главного Кавказского хребта.

Среди наград - два ордена Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды и четырнадцать медалей, в том числе «За оборону Кавказа», «За оборону Москвы», «За отвагу».

В конце войны Гусев был отозван для работы по специальности в Государственном океанографическом институте Главного управления гидрометеорологической службы армии и в Беломорской военной морской флотилии. Завкафедрой физики моря и вод суши физического факультета МГУ, доктор физико-математических наук, профессор. Участник первой (1955) и четвертой (1958) советских антарктических экспедиций, автор около ста научных работ. В мирное время был награжден орденом Ленина, медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», золотой медалью Академии наук СССР имени адмирала С.О. Макарова. По свидетельству Гусева, в Красной армии горнострелковые части были всегда, причем полки делились на роты. Автомобильный транспорт дополнялся вьючным, в том числе для горной артиллерии, вместо фуражек бойцы носили панамы. На этом, правда, и заканчивалось отличие обычных стрелковых соединений от горных. Специальная горная подготовка не проводилась, не имели они ни горного снаряжения, ни обмундирования. Бойцы и командиры носили сапоги или ботинки с обмотками, брюки и шинель.



ли, что в условиях высокогорья было практически непригодно. Самым обычным было стрелковое вооружение с прицелом, рассчитанным для стрельбы под небольшим углом к горизонту, что снижало его эффективность, - в горах часто приходилось вести огонь вдоль крутых склонов, а порой отвесно. Хотя перед войной в горнострелковых войсках проводились учения, вспоминал Александр Гусев, бойцы тренировались в несложных предгорных районах и лишь изредка совершали походы через перевалы и на вершины. Альпинизм в армии носил чисто спортивный характер, тогда как горная подготовка для горнострелковых соединений является одним из элементов боевой подготовки. Ориентировка, ведение разведки, применение различного рода оружия, правила ведения огня - все это в горах имеет свою специфику. Трудно представить горного стрелка, не владеющего лыжами и не умеющего ходить на снегоступах. Знание гор позволяло уменьшить потери от мороза, лавин, камнепадов, закрытых трещин. Однако ничего этого в подготовке горных соединений Красной армии предусмотрено не было. «Почему так слабо готовили у нас войска для горной войны, объяснять не берусь, - размышлял Александр Гусев. - Возможно, кое-кто считал, что война в горах для нашей страны маловероятна. Мы, альпинисты, еще до войны не раз обращались в управление горной, лыжной и физической подготовки Красной армии с предложением использовать наш опыт для горной подготовки войск. Но нередко слышали в ответ: «Нам на Эльбрусах не воевать...»

От «белой смерти» спасения не было

Из донесений начальника штаба 242-й горнострелковой дивизии в штаб 46-й армии: «20.11.1942. К перевалам Донгуз-Орун и Басса выдвинулся спасательный отряд - 150 бойцов. Эвакуированы 125 тяжело обмороженных бойцов и командиров. Откопаны из лавин 59 человек, из них 6 мертвых. 48 человек не нашли - остались в лавине».

«01.12.1942. Подразделение 897-го горнострелкового полка в количестве 205 человек к 12.00 достигло подножия перевала Донгуз-Орун. Бойцы двигались вверх на расстоянии одного метра друг от друга. Продвижению мешала сильная метель, ограничивая видимость».

В 12.30 с двух высот северо-западнее перевала сошла снежная лавина шириной 70-80 метров и протяжением свыше одного километра. Она шла навстречу с громадной скоростью и застигла всех идущих врасплох. Засыпано было 172 человека, из которых 49 откопали тут же, из них 5 тяжелораненых и 2 мертвых. Остальные не найдены. Видимо, были снесены в трещины и засыпаны снегом».



Малейшая оплошность при движении по склонам вызывала осыпи и камнепады, а в зимнее время - снежные лавины, ставшие для защитников перевалов настоящим бедствием, вспоминал в прошлом старший инструктор 5-го отдельного горнострелкового отряда Михаил Михайлович Бобров. Если противника можно было подстеречь и уничтожить, перехитрить и уйти от преследования, то от лавин спасения не было. Сотни тонн снега, срываясь со склонов гор и ледовых карнизов, вбирая в свой поток камни и обломки скал, скатывались вниз с огромной скоростью, сокрушая все на своем пути. Осень и зима 1942-1943 годов на Кавказе, как никогда, выдались снежными, лавины грохотали повсюду. Сотни бойцов попадали в снежные обвалы. Одних удавалось спасти, пусть искалеченными и обмороженными, другие навсегда оставались под снегом, который превращался в лед.

*Вечная слава и память им!
Мерцал закат, как блеск клинка.
Свою добычу смерть считала.
Бой будет завтра, а пока -
взвод зарывался в облака
и уходил по перевалу.
Отставить разговоры!
Вперед и вверх, а там...
Ведь это наши горы,
они помогут нам.*

Владимир ВЫСОЦКИЙ

Кто никогда не был в горах, невозможно даже представить, насколько тяжело приходилось неподготовленным и плохо экипированным советским солдатам. Разреженный воздух затрудняет дыхание, кислородное голодание приводит к горной болезни. Человек становится либо излишне возбужденным, либо, наоборот, сонным и утомленным. Многие из-за отсутствия темных очков страдали снежной слепотой, что мешало ведению прицельного огня. Снежная слепота, по сути, это ожог роговицы глаза под воздействием ультрафиолетового излучения и отраженного яркого света. Получить такой ожог можно даже в туман. Страдающий снежной слепотой уже не боец. От полы шинели солдаты отрезали полоску ткани, продевывали гвоздем в ней отверстие для рассеивания света и повязывали глаза. Пока не случалась возможность добыть трофейные очки, воевали в повязках. Любое ранение приводило к большой потере крови - в условиях высокогорья она плохо свертывается. Иногда гибли от простуды или ангины.



«Бой в горах ведется в сложном трехмерном пространстве, - писал в своих мемуарах Михаил Бобров. - Обычное представление о фронте, флангах, тыле только мешало. Важнее было знать, что происходит над и под тобой. У кого имелось преимущество в высоте, тот и диктовал условия боя. «Кто выше - тот сильнее!» - вот главный закон войны в горах». Инструкторы из альпинистов водили группы, эвакуировали раненых и обмороженных. Боевое охранение на перевалах солдаты несли вахтовым методом, по 7-10 дней. В дозоре на перевале оставалось от отделения до взвода, остальные от взвода до роты располагались значительно ниже перевальной точки в удобных для размещения складках местности. В случае опасности основная группа занимала оборону. На больших перевалах, как Клухорский или Санчарский, шли бои, в которых участвовали от двух рот до батальона. Только на боевом опыте наши бойцы и командиры постигли, что лучше снайперской винтовки в горах оружия нет. Но винтовок с оптическим прицелом не хватало, и основным оружием красноармейцев были малоэффективные в горах автоматы и пулеметы, зарекомендовавшие себя лишь на постоянных огневых точках или в засадах.

«Когда ребята обнаруживали немецкого снайпера, то охотились за ним ради его «скрипочки» - винтовки с оптическим прицелом, - писал Бобров. - Большая часть оружия у нас была трофейной».

В бездну падали молча, не выдавая товарищей

В отрядах горных стрелков красноармейцев родилась «клятва молчания»: «Если со скалы сорвусь, в пропасть молча упаду, но отряд не подведу. Клянусь!» Бывший командующий Закавказским фронтом генерал армии И.В. Тюленев писал:

«Как не восхищаться подвигом молчания, который совершали защитники Наурского перевала! Сорвавшись темной ночью со скалы, они летели в бездну молча, не проронив ни слова, чтобы не выдать врагу своих боевых товарищей. Трудно даже представить себе это, как юноши, еще недостаточно закаленные войной и жизнью, нашли в себе силы не только преодолеть страх, но и стать выше человеческого инстинкта самозащиты».

Одна из скал у Наурского перевала сегодня называется скалой Молчания.Беспримерный подвиг на подступах к перевалу Аишха совершили минометчики 174-го горнострелкового полка: командиры расчета Виктор Шутков, наводчик Шарип Васиков и подносчик мин красноармеец Василий Семяков. Оказавшись оторванными от подразделения и не имея приказа на отход, они в течение нескольких дней отражали одну за другой яростные атаки гитлеровцев. Когда закончились бо-



еприпасы, последней миной бойцы подорвали себя и пытавшихся захватить их в плен немцев. Лейтенант Григорьянц с группой разведчиков численностью от 80 до 120 человек попытался с «Ледовой базы» приблизиться к «Приюту одиннадцати», чтобы уточнить расположение огневых точек врага. С ночи на плато опустился туман, но когда рота подошла на сотню метров к «Приюту», туман мгновенно рассеялся. Солдаты Григорьянца, до войны дамского парикмахера, не имевшие ни боевого опыта, ни альпинистской подготовки, вступили в схватку с элитой немецкой армии - «эдельвейсами». Рота легла почти полностью. Смерть плену предпочел и тяжелораненый командир.

Люди умирали от ран, замерзали в снегах, срывались в ледяные трещины, но не отступили: горы были последним рубежом. Упорные бои за перевалы шли в течение сентября, но ни одна из сторон перелома в свою пользу не добилась. С наступлением зимы оборона в горах стабилизировалась. Стало ясно, что задачи, которые ставило немецкое командование перед наступавшими через Главный Кавказский хребет войсками, решены не были. Профессионализм стрелков-альпинистов уступил мужеству и сплоченности советских воинов.

Немцам не удалось накопить достаточные силы, чтобы перевалить на южную сторону хребта и развить тактический успех в оперативный. Советские войска вынудили противника замерзать и гибнуть на скалистых перевалах. Маневренность и упорство наших войск заметно выросли, когда снабженческие базы были созданы в отдельно действовавших отрядах и подразделениях. Большую роль в обеспечении войск сыграли летчики, доставлявшие на высокогорные базы тонны жизненно необходимых грузов.

Преодолевая перекрестный огонь противника, наши летчики мастерски сажали У-2 на крохотные горные площадки. Обратными рейсами забирали раненых и обмороженных. Добрая слава ходила по фронту о летчиках 4-й эскадрильи спецназначения: И. Примове, И. Мариненко, К. Алдатове, Д. Гелашвили, А. Давтяне.

Пленные немцы рассказывали, что среди них поползли слухи о появившихся в горах «зеленых призраках», которые не дают покоя ни днем ни ночью. Так егеря прозвали бойцов отдельных горнострелковых отрядов - не столько за цвет костюмов, сколько за их дерзкие вылазки и отчаянную храбрость.

В ноябре наши горные стрелки перехватили инициативу у противника. Они уже ничем не походили на неопытных и плохо экипированных бойцов августа 1942 года - ни обликом, ни умением воевать. Пришла пора нам диктовать свои условия.



Помнишь, товарищ, белые снега...

Зима - самое тяжелое время для штурма Эльбруса. Редко кто рискует вступить с ним в единоборство, когда на перевалах бушуют ветры, морозы за 40 градусов, а склоны покрыты пятиметровым слоем сыпучего снега. Кругом неприступные ледники и коварно прикрытые снегом трещины. 2 февраля 1943 года из штаба Закавказского фронта начальнику альпинистского отделения военинженеру 3-го ранга А.М. Гусеву поступило предписание явиться из Тбилиси в Терскол для выполнения спецзадания в районе Эльбруса. Группе Гусева предстояло обследовать базы противника, снять нацистские вымпелы с горных вершин и установить советские флаги. Отряд формировался в основном из опытных воинов-альпинистов, прошедших школу боев в горах, имеющих 10-15-летний стаж альпинистской практики. Николай Афанасьевич Гусак готовился взойти на Эльбрус в тринадцатый раз, Александр Гусев - в двенадцатый; оба до войны покорили Эльбрус зимой.

На задание выступили тремя группами. Первые две вышли из Сванетии через перевалы Бечо и Донгуз-Орун под командованием лейтенантов Гусака и Николая Моренца. Третья группа Гусева отправилась через Крестовый перевал в Нальчик и далее в Баксанское ущелье. Местом общего сбора назначили «Приют одиннадцати». Именно в том походе родилась «Баксанская» песня, ставшая гимном участников штурма Эльбруса:

*Помнишь, товарищ, белые снега,
Стройный лес Баксана, блиндажи врага,
Помнишь гранату и записку в ней
На скалистом гребне для грядущих дней?*

В «Приюте одиннадцати» встретились 9 февраля. На Эльбрусе бушевала непогода. Пока пережидали, почти закончилось продовольствие. Положение становилось критическим. Гусев разделил отряд на две группы и решил начать штурм немедленно. Первая группа отправилась на западную вершину, поднялись за девять часов. Сорвали обрывки нацистских штандартов, установили советский флаг, оставив записку: «Восхождение посвящено освобождению Кавказа от гитлеровцев и 25-й годовщине нашей славной Красной Армии... Смерть немецким оккупантам! Да здравствует наш Эльбрус и вновь свободный Кавказ!..»

На коленях по-русски благодарил врачей

Только спустя четыре дня, 17 февраля, когда метель немного выдохлась, в дело вступила вторая группа под командованием Гусева. Вот как описала это восхождение Любовь Георгиевна Каратаева:



«Вышли в два часа ночи. Подниматься по отполированному ветром льду Эльбруса трудно. Да еще мороз. Порывистый ветер. Особенно трудно идти нашему кинооператору Петросову. Недавно он снимал подводников, а сейчас высота 5000 метров. Но он не хочет спускаться вниз. И вот вершина - мертвая, голая. Фашистских флагов мы не обнаружили. Ставим наш, советский флаг. Даем залп из пушечек. Обнимаемся, целуемся...»

...Летом 1960 года в Риме проходили XVII летние Олимпийские игры, куда съехались спортсмены из 84 стран. Среди гостей Олимпиады оказался и тренер сборной команды СССР по современному пятиборью Михаил Михайлович Бобров, в прошлом воин-альпинист, защитник Кавказа. В один из дней на футбольном матче к Боброву подсел тренер немецкой команды по академической гребле и угостил мороженым. Оказалось, немец неплохо владеет русским языком, который выучил в плену в годы войны. И начал рассказывать, как в середине декабря 1942 года он, молоденький обер-лейтенант, руководил группой разведки из пятнадцати егерей. Они шли из Кабардино-Балкарии в Сванетию через Местийский перевал... Стоило Михаилу Боброву услышать эти названия, как он сразу все вспомнил: перед ним был его знакомый Отто Бауэр. Эдельвейсовцы тогда словно выросли из-под земли, но проскочили мимо наших разведчиков, не заметив их. Владели лыжами уверенно, смотрелись красиво. Колонна их растянулась метров на двести. Когда до наших разведчиков оставалось метров пятьдесят, по ним открыли огонь. Немцы залегли и на предложение сдаться открыли ответный огонь. Бой длился минут пятнадцать. У немцев уцелели лишь двое раненых. Один из них - альпинист и горнолыжник Бауэр. Около месяца он пролежал в госпитале, и Бобров частенько навещал немца.

«Мне трудно объяснить почему, но я не чувствовал к нему никакой вражды: на больничной койке лежал раненый альпинист, которого наши военные медики старательно возвращали к жизни, - вспоминал Михаил Бобров. - Наверное, это и есть главное чудо человеческой души - врожденная потребность любить другого человека. После выздоровления обоих эдельвейсовцев отправили в лагерь для военнопленных под Тбилиси. Я хорошо помню, как перед отъездом Бауэр встал на колени и по-русски благодарил врачей за спасенную жизнь».

И вот оба сидели на трибуне «Стадио Фламинио», болея за немецкую команду. Расспрашивали за жизнь после войны, смеялись, шутили. Никто, глядя на них со стороны, и подумать не мог бы, что восемнадцать лет назад эти двое лежали в снегу под Местийским перевалом, поливая друг друга смертельным автоматным огнем.



МОЕ ВОЕННОЕ ДЕТСТВО

Весной 1942 года в станице Расшеватской появились беженцы из Ленинграда. В нашей небольшой комнате поселилась тетя Маруся, очень бойкая и добрая женщина. Она стала работать в колхозе, выполняла различные сельскохозяйственные работы. Во второй половине июля 1942 года в станицу прибыла какая-то воинская часть Красной армии. В помещениях нашей 10-й бригады колхоза им. К.Маркса размещался продовольственный склад этой воинской части. Но, вдруг красноармейцы так поспешно отступили, что в помещениях осталось много продуктов питания. Помню, что тётя Маруся вместе с мамой принесли домой мешок риса и полный таз мёду. С воинской частью, наверное, ушла и тётя Маруся, так как я её больше не видел. В апреле в станице появились и беженцы из еврейских семей. Часть из них успела уйти с бойцами Красной Армии, но некоторым не удалось.

В начале августа на восточной окраине станицы в полукилометре от нашего дома появились немецкие мотоциклисты. Они проехали по улице, а затем возвратились назад, и вскоре показались легкие танки (взрослые называли их танкетки). Мама кормила грудью сестру, а я выбежал со двора на улицу. И вдруг, мне захотелось перед танком перебежать дорогу, и если бы танкист резко не затормозил, то я вряд ли остался бы жив. Немец вылез по пояс из люка, что-то пробормотал и пригрозил мне пальцем. И это время моя мама выбежала с плачем из дома, взяла меня за руку и сквозь слёзы проговорила, чтобы никогда больше не появлялся на улице. Позже мама часто напоминала мне об этом случае.

За танками последовала вереница машин, в кузовах которых находились вражеские воины. Одна из машин остановилась у нашего двора, из кабины вышел немец и стал о чём-то спрашивать маму, но



**ПЕТР
ФЕДОСОВ**

КРАЕВЕДЕНИЕ





она ничего не понимала. Тогда он оттолкнул её и зашёл в дом. В единственной его комнате размещались кровать, сундук, металлическая кроватка сестрёнки и скамейка. Сундук у нас служил не только для хранения белья и одежды, но и использовался как обеденный стол. Чувствовалось, что фриц остался недоволен, вышел, сел в машину, и она поехала дальше по улице. По-видимому, этот немец поехал искать пригодные для размещения солдат другие дома.

Вскоре фрицы пригнали на территорию МТФ много наших военнопленных, как раз напротив нашего дома. Предварительно её огородили колючей проволокой. Мы с мамой одни из первых пошли посмотреть на пленных в надежде увидеть своего отца или родственников. До сих в памяти сохранились обросшие, грязные и измождённые лица пленников. Многие из них были ранены, головы и руки покрыты бинтами с запёкшейся кровью. Все они теснились к проволочному ограждению и просили принести что-либо покушать, табак. Слух о военнопленных разнёсся по улице в течение нескольких минут. Женщины вместе с детьми стали нести всё, что у них имелось. Немецкая охрана не препятствовала тому, чтобы узникам передавали передачи, но только в открытом виде. Мама принесла три больших домашних булки хлеба, большую кастрюлю вареного риса, заправленного сливочным маслом. С какой же жадностью набрасывались несчастные на еду! К вечеру их повели на железнодорожную станцию Расшеватка...

После размещения в станице немецкого гарнизона началось мародёрство. Через несколько дней и к нам во двор зашли два непрошенных гостя и стали гоняться за курами. Поймав две или три, они удалились. На следующий день фрицы вновь появились в нашем дворе. Помимо кур они потребовали «масло, яйцо, млеко». Мама сказала, что этого у нас нет. Тогда они зашли в сарай. В одном из углов они увидели солому, прикрывавшую свежую насыпь земли. Там мама ночью спрятала большую макитру топлёного сливочного масла. Солдаты раскопали и забрали её. Вместе с этим они нашли и утащили весь мёд и мешок риса, бидон растительного масла, которые мама также спрятала, изловили последних кур. Мама плакала, просила солдат, чтобы они оставили что-либо маленьким детям, но они оттолкнули её и ушли с награбленным. Соседка видела это и попросила маму пойти и пожаловаться коменданту. Комендант (немец) сносно говорил по-русски. Он вызвал к себе тех солдат и приказал вернуть нам всё. Но было уже поздно. В макитре и бидоне ничего не осталось. Позже соседи говорили, что мародерами были румынские солдаты, которые оказались самыми безжалостными к жителям станицы. Вскоре оккупанты стали разбирать на топку деревянный забор нашего подворья, по-



ставленным дедушкой Николаем из тёсаных досок. Через месяц наша усадьба превратилась в проходной двор.

После того как румыны вынесли все съестное, нам не легко стало жить. Напротив, на молочно-товарной ферме размещалась немецкая воинская часть, и мама нередко обследовала мусорные ящики, в которых можно было найти корки хлеба, объедки пищи, кожуру картофеля. Этот мусор она перебирала, промывала и варила бурду тёмного цвета. Между тем, несмотря на малую площадь нашей комнаты, нам подселили трёх солдат немецкой армии. Не могу судить об их национальности, но вели они себя нагло. Детская память сохранила то, как они обедали. Сидя за сундуком (обеденного стола у нас не было), вытаскивали банки с консервами, хлеб, сливочное масло, колбасу. Открыв банки, вытаскивали из них мясные консервы, подогревали на плите и ели. Затем намазывали хлеб маслом, накладывали сверху колбасу и запивали эрзац-кофе. Я с печки, куда нас с сестрой заставили переместиться, смотрел на них и только глотал слюну. Полторагодовалая моя сестричка Рая, глядя на немцев, громко плакала и просила «ням, ням». В это время мамы не было в комнате. Фрицам надоел просящий крик сестрички, один из них выхватил пистолет и направил на нас. В этот момент в комнату вбежала мама. Она бросилась на колени, умоляя немцев не трогать детей. Они уселись за сундук и продолжали обедать, как ни в чём не бывало. Нас мама вынесла во двор от греха подальше.

Но не все немцы были злыми. Были среди них и добрые. Вспоминается очень худой, невысокий и болезненный немец, который приходил в наш дом от соседей, где жила моя крёстная мама Нюра с дочкой Зинаидой. Он приносил кусочки сахара, угощал нас с сестрой, нередко сажал нас на колени, подзывал маму, доставал из кителя фотографии и на еле понятном русском языке рассказывал о своих троих детях, девочках. Помню хорошо, что он не раз произносил слова: «Гитлер капут». Однажды к нам в комнату внезапно вошёл другой немец, по – моему, фельдфебель. Он увидел своего подчинённого, у которого на коленях сидели дети, и закричал так, что наш добрый, маленький солдат резко встал по стойке «смирно» и стремглав выскочил из комнаты. К большому сожалению, больше мы его не видели.

Был на нашей улице и небольшой, как нам детям казалось, «праздник». В середине ноября 1942 г. на прекрасном коне приискал домой Поздняков Григорий Петрович (по прозвищу Егоян). Его семья жила через четыре двора от нас. Оказывается, что он попал в плен, а затем, послушав агитаторов, решил воевать на стороне немцев в одной из кавалерийских частей, которая располагалась в соседней станице Темижбекской. Запомнилось то, что он однажды заехал в нашу станицу и привёз



своим детям (трём дочерям) много гостинцев, а домочадцам различных тканей, платков. В один из дней дядя Гриша где-то приобрёл живого барана, приторочив его к седлу. На наших глазах он снял его с лошади, вытащил шашку и отсёк ему голову. Где-то был раздобыт большой котёл, и в нём сварили много наваристого супа (шулюма). Но это был лишь единичный случай, когда нам детям удалось досыта поесть баранины. Через два дня дядя Гриша уехал. По всей вероятности, он где-то погиб, потому что в станице он никогда не появлялся, а его жена и дети навсегда остались презираемы не только властью, но и многими станичниками. Жила эта семья в последствии в крайней бедности.

Не обошлось в нашей станице и без репрессий со стороны немцев. Занимаясь с архивными документами, мне удалось найти любопытный документ. Привожу его дословно: «Особо выдающиеся зверство было учинено немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками в станице Расшеватской, где изменники-предатели Родины, в прошлом раскулаченные и репрессированные советской властью: Дурнев Иван Степанович - старший полицейский, начальник полиции в станице, Квашнин Петр Ильич - полицейский, ставший атаманом Коптев Яков Михайлович, выполнили распоряжение гестапо об аресте коммунистов-активистов, руководящих работников станицы: тов. Жевтобрюхова Ивана Павловича - члена ВКП(б), председателя колхоза им. Карла Маркса, Гусева Павла - секретаря первичной партийной организации колхоза «Северо-Кубанский», Хорошилова Ивана Потаповича - учителя школы, Бондаренко Ивана Васильевича - секретаря первичной партийной организации колхоза «III-й Интернационал», Морева Андрея Михайловича, Новикова Федора Петровича, Корвякова Ивана Андреевича, Зайцева Николая, которые в октябре 1942 года в станице были осуждены гестапо с участием старосты (атамана) Коптева Я.М. и зверски замучены». В этом акте были также отмечены и беженцы еврейской национальности.

Все указанные товарищи, а также и неизвестная женщина с четырьмя детьми в возрасте от 3 до 10 лет 9 февраля 1943 года были извлечены из ямы в лесополосе колхоза «Ударник» в 10-ти километрах от станицы и похоронены в братской могиле ...».

Одному еврейскому мальчику по имени Юзик удалось избежать расстрела. Он жил у моего родного дяди Васи (инвалида с детства) через стену, который говорил немцам, что это его племянник Валентин, который приехал к нему из Баку. Осталась жить в станице, чудом спасаясь семья Муфеля Абрама Шмульевича, которую приютила семья родственника атамана станицы Якова Коптева.

В январе 1943 года захватчики вели себя крайне тревожно. Чувствовалось, что-то неприятное происходило в их воин-



стве. И действительно, некоторые наши жители передавали друг другу весть о том, что под Сталинградом окружена большая группировка фашистов. По лицам женщин можно было догадаться о какой-то хорошей вести, но вслух об этом боялись говорить. Морозы в январе и феврале этого года были незначительными. Выпадал снежок и сразу таял. На нашей улице появилось много грузовых автомобилей, которые с трудом передвигались по грязи. Напротив нашего дома (на территории МТФ) немцы выстроили площадку, при помощи которой шла загрузка больших лошадей, вещей и солдат в подходящие автомобили. В грузовые автомобили с высокими бортами грузили лошадей, а автомобили с невысокими кузовами быстро заполнялись обезумевшими от страха немцами. Они ругались, отталкивали друг друга. Когда загруженные до отказа автомобили отходили, то многие пытались на ходу попасть в кузов. Тех, кто даже пытался зацепиться руками за борта машин, сидящие били прикладами автоматов. Немецкие солдаты уехали раньше, а последними – румыны и венгры. Вот как раз среди них и были те, кто, пытаясь спасти свою шкуру, не жалели даже сородичей. Некоторые машины не заводились, и тогда под капот немцы бросали гранаты, а шины простреливали из автоматов. При отступлении из-за непролазной грязи вражеские части (особенно в балках Глубокой и Мысковой) оставили много своей техники, которую они подрывали. Отступая оккупанты подожгли МТС, много общественных зданий, в том числе и кирпичное добротное здание средней школы, которое построено в конце XIX века.

Фрицы оставляли не только технику, но много оружия, патронов, различных снарядов, игрушек, снабжённых взрывчатыми материалами. Все это послужило вскоре гибелью, особенно детей. Мы, мальчишки, находили, как нам казалось, хорошие «игрушки», тайком приносили их домой и прятали. Многие дети от таких «игрушек» гибли, а многие становились инвалидами на всю жизнь. Не избежал такой участи и я. В бывших коровниках МТФ, где размещали немцы лошадей, я нашёл красивый (как мне показалось) карандаш, разрисованный в конце различными тремя поперечными цветными линиями. Я его спрятал в карман втайне от своих друзей и принёс домой. Мама в это время пряла на прялке шерсть. Я сказал ей:

- Мама, посмотри, какой красивый карандаш я нашёл.

Мама мельком посмотрела на карандаш и ответила:

- Да, сынок, действительно красивый, - и продолжала прясть.

Я уселся рядом слева от неё на детскую металлическую кроватку и стал снимать блестящее кольцо с этого карандаша. Когда я его снял, то раздался взрыв. Мама вскочила и посмотрела на меня, моё лицо и руки были покрыты кровью. Маленькая



сестричка Рая сидела на печке, и у неё изо лба также выступила капельки крови. Мама не пострадала, потому что все осколки достались мне. В испуге она быстро вытащила нас с сестрой во двор. И через несколько секунд в комнате раздался ещё один взрыв. Этот взрыв услышали красноармейцы, которые находились в соседнем доме. Они прибежали, зашли в дом, а там, в деревянном полу образовалось большое отверстие и он начал гореть. Маленькое пламя быстро было потушено. Один из красноармейцев подошёл к маме (по её рассказу) и сказал, что, если бы мы находились в комнате при втором взрыве, то никого не осталось в живых.

Меня сразу же отправили в медсанбат, который располагался в 200-х метрах от нашего дома. Осколки «красивого карандаша» попали мне в лицо около правого глаза в переносицу, почти полностью оторвали верхнюю часть мизинца правой руки, Другие осколки впились во многие места лица и рук, особенно правой. Удачно то, что ни один из осколков не попал в глаз. В медсанбате зашили большую рану на переносице, вытащили все осколки и промыли раны спиртом, пришили палец, который хорошо сросся, но стал кривым. Шрамы от «адской» игрушки у меня остались на всю жизнь. Наверное, Господь Бог меня спас, а ведь мог бы лишиться и жизни. В тот день я также нашёл много различных патронов, которые спрятал в сарае. После выздоровления, не посвятив никого о такой опасной находке, тайком отнёс патроны к реке и забросил их в камыши.

Весна в этом году наступила очень рано. Сельскохозяйственную технику, которую эвакуировали перед приходом немцев, практически не вернули. Пахать землю было нечем. После долгих обсуждений в районе принято решение, выделить деланки колхозникам, чтобы они своими коровами и быками (у кого они были) их вспахали. Выделена деланка и моей маме. В памяти осталось то, как она с плачем одевала на нашу кормилицу корову Катьку специальную шлею, и стала пахать нашу деланку. Я вёл Катьку, а мама держала руками однолемешный распашной плуг, придавливая его книзу. Таким образом, мы работали несколько дней. Катька наша стала худеть, потому что работа для неё была непосильной, а кормов хороших не было, молока она также не давала. Женщины пошли жаловаться новому председателю колхоза Бабенко И.С., что, если так будет продолжаться дальше, то можем лишиться коров и детей, для которых в то время эти животные являлись единственными кормилицами. Наверное, это подействовало на него. Вскоре в МТС прислали несколько тракторов с трактористами из Азербайджана. Работники они были неважнецкие. Постоянно жаловались, что у них «курса́к» (живот) болит. В технике они, по-видимому, плохо разбирались. Трактора часто ломались, а «йилда-



ши» (юлдаш по тюрски – товариш) ходили по дворам, просили у наших мам еды, которой не было ни в одном подворье.

Каждая семья жила с большими трудностями. Женщин, практически на все лето, приглашали на полевые работы. Комбайнов не было, а если и были, то единицы, поэтому старые мужчины, инвалиды, женщины, малолетние дети косили косами ячмень, пшеницу, вязали снопы и складывали их в специальные крестцы. Позже снопы перевозили в колхозные бригады. В некоторых бригадах имелось по одному комбайну. После косовицы комбайнами оставалось много колосков, которые сбирались нами, малолетними детьми.

Бедные наши мамы! Сколько же нестерпимых трудностей выпало на их послевоенную долю. Они в это время хоронили стариков, ухаживали и воспитывали детей, пахали, сеяли, ухаживали за будущим урожаем, а затем убирали созревший урожай на колхозных полях, в то же время вели домашнее хозяйство. Только Бог, да тёмные ночи знали, сколько вздохов, слёз и скорби стоили им эти трудные и непосильные заботы. Но они держались изо всех сил. На отдых оставалось не более 3-х – 4-х часов в сутки.

Хорошо было ещё то, что в нескольких колхозных бригадах остались паровые двигатели (у нас их называли паровики). К их крутящемуся валу при помощи ремней передавалось вращение на молотильный агрегат комбайна. Таким образом, очень долго, вплоть до выпадения снегов, а нередко и до февраля, обмолачивали снопы. Но нередко снопы в сентябре-октябре обмолачивали старым дедовским способом – ребристым катком из известняка и цепями. Каток таскали по разложенным снопам лошади, быки или коровы, а нередко и наши мамы. Молотьба цепями требовала умения, сноровки и силы. Работали, как правило, тоже женщины, инвалиды и старики. Две пары становились напротив друг друга. При этом один работник поднимал цепь, а другой в это время сильно ударял по разложенному снопу зерновых, практически, по тому же месту. Учили этому ремеслу и нас мальчиков, изготавливая для нас цепи небольших размеров. Так день за днём в трудах и заботах проходило наше детство. Да его, практически, у нас и не было. В любое время года, в той или иной мере, нас привлекали к различным посильным, а нередко и тяжёлым сельскохозяйственным работам.

Когда матерей направляли на полевые работы, дети оставались дома одни. Мне, как старшему, приходилось доить корову Катьку, ухаживать за ней, косить сено, кормить кур, пропалывать огород, варить суп, борщ, выпекать пышки, оладьи. Этому кухонному ремеслу я научился быстро, и до настоящего времени неплохо готовлю для семьи разнообразные блюда. Когда Катька под конец зимы одаривала нас телёнком, мама затаскивала его в комнату. Он был таким маленьким ещё не-



обсохшим и беспомощным, не мог даже подниматься на ноги. Но через несколько часов самостоятельно, хотя и трудом, поднимался на тонкие ножки, а через сутки подпрыгивал в комнате и заигрывал со мной и сестрой. Через десять дней мама переводила малыша в сарай, где Катька своим дыханием согревала холодный воздух. После отёла Катька стала давать молоко. Его хватало и для телёнка и нам, детям. Вначале молоко было таким густым (мама называла его молозивом), что при нагревании становилось похожим на омлет, но недели через две-три всё приходило в норму. Телёночка мама не допускала к корове, приучая к самостоятельному питью молока из маленького ведёрочка, разбавляя его кипячёной водой. Повзрослевших годовалых телят мама продавала. Денег в колхозе не выдавали, а надо было покупать что-либо из одежды, ситец на бельё и др.

Не лучшим был и 1944 год. Шла война, Голод и бедность ощущалась в каждой семье. Вдобавок ко всему ежедневно в дома почтальоны приносили извещения о гибели родных и близких. Мы писем не получали. Вдруг, в конце апреля этого года мама получила письмо от нашего отца. Он описал причину своего долгого молчания. Мама была безграмотной, поэтому письма читала, а затем и писала ответы, моя двоюродная сестра Зина. Радовалась мама, радовались мы с сестрой и все родственники, что наш дорогой и любимый папа жив.



ПОДСНЕЖНИКИ ДЛЯ «КУРСИСТКИ»

За картину «Невский проспект ночью» ее автора – русского живописца и портретиста Николая Александровича Ярошенко – в 1876 году единогласно приняли в члены Товарищества передвижных художественных выставок. Затем его избрали в состав правления. А через два года художник написал своего знаменитого «Кочегара», вслед за ним из-под его кисти вышел «Заключенный».

Картину «Курсистка» Николай Ярошенко писал на взлете своей творческой карьеры – художнику было 34 года. Написана картина в 1880 году. А через три года ее впервые увидели посетители одиннадцатой выставки художников-передвижников.

Выставка открылась 2 марта в здании Петербургской Академии наук. Закрылась 10 апреля. После закрытия она переехала в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, которую с 16 апреля по 29 мая посетило несколько тысяч москвичей. «Московские ведомости» писали об одиннадцатой передвижной выставке, что «...толпа тенденциозных бездарностей» обращает искусство в «орудие живописного либерализма». «Толпа бездарностей» – это Илья Репин, Василий Суриков, Николай Ярошенко, а «живописный либерализм» – это «Крестный ход в Курской губернии», «Меншиков в Березове», «Курсистка»...

На картину Николая Ярошенко «Курсистка» реакция была неоднозначной: российские периодические издания печатали отзывы, как восторженные, так и гневные. «Таких девушек «с книжкой под мышкой», - размышлял на страницах «Отчественных записках» русский писатель Глеб Успенский, - в пледе и мужской крулой шапочке, всякий из нас видал и ви-



**НИКОЛАЙ
БЛОХИН**

КРАЕВЕДЕНИЕ





дит ежедневно и уж много лет подряд... И вот художник, выбирая из всей этой толпы «бегущих с книжками» одну самую ординарную, обыкновенную фигуру, обставленную самыми ординарными аксессуарами простого платья, пледа, мужской шапочки, подстриженных волос, тонко подмечает и передает вам, «зрителю», «публике», самое главное... Это главное: чисто женские, девичьи черты лица, проникнутые на картине, если можно так выразиться, присутствием юношеской, светлой мысли... Главное же, что особенно светло ложится на душу, это нечто прибавившееся к обыкновенному женскому типу – опять-таки не знаю, как сказать, – новая мужская черта, черта светлой мысли вообще (результат всей этой беготни с книжками)... Вот это изящнейшее, не выдуманное и притом реальнейшее слитие девичьих и юношеских черт в одном лице, в одной фигуре, осененной не женской, не мужской, а «человеческой» мыслью, сразу освещало, осмысливало и шапочку, и плед, и книжку, и превращало в новый, народившийся, небывалый и светлый образ человеческий».

Но были и другие рецензии. Редактор газеты «Берег» П.П. Цитович обрушился со всем своим гневом на «Курсистку» Николая Ярошенко, а в ее лице на тысячи юных девушек, мечтавших о самостоятельной жизни, об образовании, не согласных со «взглядами общества», выступавших против предрассудков сословий и семейств, произвола родителей, против травли, сплетен и клеветы: «Полюбуйтесь же на нее: мужская шляпа, мужской плащ, грязные юбки, оборванное платье, бронзовый или зеленоватый цвет лица, подбородок вперед, в мутных глазах все: бесцельность, усталость, злоба, ненависть, какая-то глубокая ночь с отблеском болотного огня – что это такое? По наружному виду – какой-то гермафродит, по нутру подлинная дочь Каина. Она остригла волосы, и не напрасно: ее мать так метила своих Гапок и Палашек «за грех»... Теперь она одна, с могильным холодом в душе, с гнетущей злобой и тоской в сердце. Ее некому пожалеть, об ней некому помолиться – все бросили. Что ж, быть может, и лучше: когда умрет от родов или тифа, не будет скандала на похоронах». Было от чего злиться рецензенту: на картине впервые в русской живописи изображена русская женщина-студентка. «Курсистка» Николай Ярошенко, по оценке искусствоведов другого, XIX столетия, – это «отражение борьбы лучших сил российского общества за женское образование». Известные политические и общественные деятели России того времени активно выступали за предоставление женщинам права на образование. Среди них русский химик, ученый Д.И. Менделеев, композитор, член «Могучей кучки» А.П. Бородин, создатель русской физиологической школы И.М. Сеченов, профессор анатомии из Военно-медицинской академии В.Л. Грубер, без-



возмездно читавшие лекции на женских курсах, они были покорены любознательностью и трудолюбием слушательниц.

Как известно, начало женскому образованию в России положила Екатерина II. Открывая в 1764 году Смольный институт благородных девиц, императрица полагала, что «Императорское воспитательное общество благородных девиц» даст «государству образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества». Принимали в Смольный институт девочек только из дворянских семей. Образование было 12-летним. Попытки расширить женское образование на другие слои населения в XVIII веке результатов не дали.

Пройдет еще 94 года, и в России в 1858 году откроются первые училища для девочек из незнатных семей. В середине 50-х годов XIX века женщинам разрешили посещать лекции Петербургского университета, а в 1859 году их лишили этого права. Через десять лет, в 1869 году, в Москве начали работать Лубянские высшие женские курсы. А спустя девять лет, в 1878 году, – Бестужевские высшие женские курсы, получившие наименование по фамилии учредителя и первого директора, профессора, русского историка Константина Николаевича Бестужева-Рюмина. Обучение шло на трех факультетах: историко-филологическом, юридическом и физико-математическом. Решение Министерства народного просвещения о Высших женских курсах сломало прежние устои.

«Не женское это дело – учиться», – говорили в народе, с опаской и недоброжелательно поглядывая в сторону курсисток. Немного смущенная, но уверенная в своем решении девушка на картине Николая Ярошенко, стала олицетворением нового поколения. Ее милое светлое лицо и композиция картины, как отмечали искусствоведы прошлого, дают понять зрителю, что в этом «новом» нет ничего страшного и угрожающего.

На Высшие женские курсы принимали девушек не моложе 21 года. Героине художника Николая Ярошенко как раз 21 год. Лицо реальное: на полотне изображена Анна Константиновна Дитерихс из известного в русской истории рода военных, в будущем – детская писательница, мемуаристка, единомышленница Л.Н. Толстого, сотрудница просветительского издательства «Посредник», сделавшего доступным художественную и нравоучительную литературу для народа. Но на картине 1880 года она пока – студентка Бестужевских высших женских курсов, первого в России высшего учебного заведения для женщин. И девушка в темном платье, с пледом на плечах и в маленькой круглой шапочке без полей, с книжками под мышкой, бодро шагающая по мокрой мостовой большого города, едва различимого в густом, сыром тумане, стала еще и олицетворением российского женского образования XIX столетия. А годом



раньше ярошенковский «Этюд» с портретом молодого человека в широкополой шляпе и наброшенном на шею шарфом, которого посетители передвижной выставки 1882 года окрестили сразу «Студентом», стал символом российской учащейся молодежи.

Но «Курсистка» для Николая Ярошенко – это еще и личная тема, выношенная и выстраданная. Жена художника Мария Павловна – курсистка «первого бестужевского набора». И опекаемые ею девушки в пледах и круглых шапочках, постоянно бывавшие в квартире Николая Александровича и Марии Павловны, их разговоры и споры за чаем; и добрая приятельница их семьи Надежда Васильевна Стасова, вошедшая в историю как деятель русского женского движения, сестра Владимира Васильевича Стасова, активного участника творческой жизни «Могучей кучки» и Товарищества передвижников; и жена Василия Ярошенко, брата художника, Елизавета Платоновна, окончившая Бернский университет по юридическому отделению; и, наконец, встреча с Анной Константиновной Дитерихс, которая училась на словесном, а позднее на естественном отделении Высших женских курсов, – такой путь художника к картине «Курсистка».

Николай Ярошенко познакомился с Анной Дитерихс в Санкт-Петербурге. Анна довольно часто бывала в петербургской квартире Николая Александровича и Марии Павловны на Сергиевской улице, 63. В этой квартире художник поселился в 1879 году и проживал в ней до весны 1898 года. На «ярошенковских субботах» в Петербурге бывали художники, писатели, артисты, ученые и слушательницы Высших женских курсов.

С 1878 года Ярошенко много времени проводил в Кисловодске, пытаясь излечить прогрессирующий у него туберкулез. Как и художник, Анна Дитерихс тоже страдала туберкулезом. По приглашению Ярошенко она не раз приезжала в Кисловодск. Анна Константиновна останавливалась в доме, построенном по эскизу самого художника на земельном участке, который Николай Александрович и Мария Павловна приобрели в ноябре 1885 года. Приезжавшие в Кисловодск гости называли дом Ярошенко «Белой виллой». Дом четы Ярошенко в Кисловодске навещали Дмитрий Менделеев, Федор Шаляпин, Илья Репин, Сергей Рахманинов, Константин Станиславский...

Ярошенко запечатлел Анну Константиновну еще на одной картине. В 1890 году, через десять лет после создания «Курсистки», он изобразил ее на картине «В теплых краях». Картина написана в Кисловодске: Анна сидит в кресле на веранде «Белой виллы», укрыта теплым пледом, под ногами немного смятый ковер.



Кроме работы «В теплых краях», Ярошенко написал в Кисловодске картины «На качелях», «Проводил», «Девушка-крестьянка». Лучшим жанровым полотном этих лет искусствоведы называют картину художника «Хор». Долгие годы эта картина находилась в рабочем кабинете физиолога, академика И.П. Павлова. Вот уже более пятидесяти лет это выдающееся полотно, подаренное потомками ученого, украшает музей Н.А. Ярошенко в Кисловодске.

Помню, как трогательно рассказывал мне об этой находке и приобретении основатель музея Н. Ярошенко в Кисловодске Владимир Вячеславович Секлюцкий: «С трепетом и волнением я прошел в кабинет Ивана Петровича Павлова. Он был закрыт для посторонних. И мне довелось первым войти в эту обитель после кончины ее хозяина. Запомнил очень деловую обстановку комнаты – ничего лишнего. Старинная, строгая резная мебель, а над письменным столом висела картина «Хор». Художник написал картину с чувством большой любви к детям. Глядя на группу поющей детворы под руководством сельского дьячка, невольно появляется улыбка на лице. Картина писалась ласковой и заботливой отеческой кистью. Когда снимали картину со стены, Татьяна Николаевна [Павлова, жена сына академика И.П. Павлова, наследница и владелица замечательной коллекции картин. - Н.Б.] села в кресло и, закрыв глаза, заплакала. Для нее это была не просто картина, но дорогая и близкая ей память о Павлове, она расставалась с ней как с близким другом. Но человек большой культуры и ума, она понимала значение этого художественного произведения для русского искусства, для народа».

В Кисловодске Ярошенко занимался в основном пейзажной живописью. Николай Александрович объездил и побывал в таких уголках Кавказского хребта, куда в те времена «еще не добирался ни один становой». К лучшим живописным работам следует отнести полотна «Шат-гора – Эльбрус на рассвете, освещенный лучами восходящего солнца», «Тебердинское озеро», «Эльбрус в облаках» и «Красные камни». Про последнюю, небольшую по размеру работу, современники отзывались, что написана она «очень сочно, смело и красочно».

Но вернемся к героине картины «Курсистка». В 1885 году Анна Константиновна стала сотрудником издательства «Посредник», организованного годом раньше в Санкт-Петербурге по инициативе Льва Николаевича Толстого. Вдохновителями создания издательства выступили И.И. Горбунов-Посадов, П.И. Бирюков, В.Г. Чертков. Иван Иванович Горбунов-Посадов (настоящая фамилия Горбунов) родился 4 (16) апреля 1864 года в посаде Колпино Санкт-Петербургской губернии. Вошел в историю отечественной литературы как русский и советский писа-



тель, просветитель, педагог, редактор и издатель книг и журналов для детей. Известен в России прежде всего как один из ближайших сподвижников Льва Толстого. Иван Иванович познакомился со Львом Николаевичем в 1884 году. И стал последователем его учения. Принимал активное участие в деятельности издательства «Посредник» (брошюры-листочки для народа). К концу 1880-х годов Горбунов-Посадов – один из главных работников издательства, а с 1897 года – его руководитель. Горбунов-Посадов расширил деятельность издательства: выпустил новые серии «Библиотека для детей и юношества», «Библиотека для интеллигентных читателей».

О Павле Ивановиче Бирюкове – одном из самых первых друзей-единомышленников Л.Н. Толстого – известно, что родом он был из костромских дворян, служил морским офицером. В начале 80-х годов, оставив службу, увлекся толстовским учением, стал одним из руководителей издательства «Посредник». Лев Николаевич долгие годы работал вместе с Бирюковым, искренне любил его, знал, что «Поша», как ласково называл его Толстой, влюблен в его дочь Марию. Молодые люди готовы были вступить в брак, Лев Николаевич желал видеть Павла мужем своей дочери, но против этого брака категорически возражала Софья Андреевна. Несмотря на это, Павел Иванович навсегда сохранил добрые чувства к Марии Львовне, Льву Николаевичу, к его семье.

Владимир Григорьевич Чертков был полной противоположностью Бирюкову. По отзывам современников, Чертков был «замкнут, недоверчив, неловок, подозрителен, упрям, горд и требователен в отношениях с людьми». В 1883 году – год знакомства Черткова с Львом Николаевичем – Владимиру Григорьевичу исполнилось 29 лет.

Чертков родился в богатой аристократической семье. Его мать Елизавета Ивановна Черткова происходила из рода декабриста З.Г. Чернышева. Она была дочерью героя Отечественной войны 1812 года графа И. Чернышова-Кругликова, то есть родной племянницей декабриста Захара Григорьевича Чернышева (1796–1862), а также племянницей Александры Григорьевны Муравьевой – жены декабриста Никиты Михайловича Муравьева, последовавшей за мужем в Сибирь. После приговора декабристам титул и состояние З. Г. Чернышева перешли к его сестре, матери Е. И. Чертковой. Его отец Григорий Иванович Чертков был весьма состоятельным помещиком, владел богатыми черноземными землями на юге Воронежской губернии и немалым количеством крепостных крестьян, среди которых был и Егор Михайлович Чехов – дед знаменитого писателя.

Сын четы Чертковых Владимир Григорьевич в юности служил в конно-гвардейском полку, получил офицерское звание.



Выйдя в отставку, поселился в степном имении своих родителей – в Лизинке Острогожского уезда Воронежской губернии. В этом имении Чертков и разместил издательство «Посредник». Оно ставило своей целью выпуск дешевых книг для народа, но поначалу реализовать свой замысел не удавалось, если бы не случайная встреча Владимира Григорьевича Чертова с известным в России издателем Иваном Дмитриевичем Сытиным. Чертков познакомился с Сытиным в 1884 году. При первой же встрече Чертков признался Сытину, что обращаясь ко многим, но его предложение никого не заинтересовало – много ли заработаешь на издании дешевых книг? А Иван Дмитриевич, вспоминая Чертова, просто загорелся этой идеей. «Это была не работа, а священнослужение, – писал Сытин, – Л. Н. Толстой принимал самое близкое участие в деле печатания, редакции и продажи книг». Содружество это продолжалось пятнадцать лет.

В переписке Льва Толстого нередко упоминается фамилия Дитерихс, и, как оказалось, не случайно. Толстовские Дитерихсы имеют прямое отношение к боевому генералу времен Гражданской войны в России Михаилу Константиновичу Дитерихсу. Толстовские Дитерихсы – это Ольга Константиновна Толстая, которая была замужем за Андреем Толстым, сыном Льва Николаевича Толстого, и детская писательница Анна Константиновна Чертова, которая в 1886 году вышла замуж за Владимира Чертова, ближайшего сподвижника Толстого. Это о нем Лев Николаевич как-то сказал: «Бог дал мне высшее счастье. Он дал мне такого друга как Чертов». К тому же, Ольга и Анна (обе урожденные Дитерихсы) – родные сестры упомянутого генерала Михаила Константиновича Дитерихса. Генерал Дитерихс оказался в родстве не только с великим русским писателем, но и в родстве с ближайшим другом писателя. Дитерихс был также в родстве и с русским поэтом Сергеем Есениным. Племянница генерала и родная внучка писателя, причем самая любимая, Софья Андреевна Толстая – последняя жена Есенина. В 2010 году Издательский дом «Ясная Поляна» выпустил в свет документально-художественное повествование (так определила жанр книги сама автор) научного сотрудника Государственного музея Л.Н. Толстого в Москве Л.Ф. Подсвировой «Софья Толстая-Есенина. Семья. Окружение. Судьба» с предисловием В.И. Толстого, праправнука Л.Н. Толстого. А в 2011 году Л.Ф. Подсвирова подготовила второе, исправленное и дополненное, издание книги. Первая часть этой книги так и называется «Из рода Толстых и Дитерихсов».

Но более всего исследователей истории картины Николая Ярошенко поражает то, что, вот уже много лет, в знакомом до боли образе – идущей из петербургского тумана по мокро-



му тротуару курсистке – художник увековечил образ человека, столь дорогого сердцу Льва Николаевича Толстого. В 1885 году Анна Константиновна стала сотрудником издательства «Посредник». Лев Николаевич познакомился с ней в Москве. Их первая встреча состоялась зимой 1886 года. Увидев впервые Анну Константиновну, он скажет ей: «А вы такая, как на картине Ярошенко». Со своим мужем Владимиром Чертковым Анна Константиновна гостила и у Толстого в Москве, и у Ярошенко в Кисловодске.

Однажды Лев Николаевич приехал к Чертковым в Воронежскую губернию. Было это так. Светлые краски весны 1894 года, как писал воронежский исследователь Г.В. Антюхин в книжке «Друзья Л.Н. Толстого Г.А. Русанов и В.Г. Чертков», изданной Воронежским университетом в 1983 году, «не радовали обитателей хутора». В середине февраля 1894 года Чертков написал Толстому о своем мучительном состоянии и о болезни Анны Константиновны. 18 марта Чертков послал Толстому телеграмму о том, что Анне «сегодня было совсем плохо. Думали, что умирает. Теперь немножко ожила, но очень плоха. Хотела видеть вас».

Получив телеграмму Чертова, Толстой заволновался. В это время в его доме в Москве, в Долгохамовническом переулке, лежал больной сын Лев. В ответной телеграмме Толстой написал, что приедет, но не сейчас. 24 марта в Лизиновке Острогожского уезда Воронежской губернии получили телеграмму следующего содержания: «Завтра курьерским выезжаем; есть ли проезд? Отвечайте. Толстой». На железнодорожной станции Ольгинской Льва Толстого и сопровождавшую его дочь Марию Львовну встретил бывший в ту пору на хуторе П.И. Бирюков. По пути Лев Николаевич расспрашивал Павла Ивановича о Чертковых, о болезни Анны Константиновны, о жизни на хуторе. Проселочные дороги еще не просохли: то и дело встречались глубокие лужи и ямы. Да и мосты в губернии еще не успели починить после зимы. Толстой видел, как по обочинам дороги уже пробивалась зеленая травка. Весенний воздух, солнечное тепло делали поездку приятной. Возможно, эту весеннюю картинку, увиденную Львом Николаевичем по дороге к Чертковым, писатель запечатлел позднее в начальных строках романа «Воскресение»: «Солнце грело, трава, оживая, росла и зеленела везде...»

В Лизиновке Толстой увидел дорогих ему ее обитателей – Владимира Григорьевича и Анну Константиновну Чертковых. Анну Константиновну он нашел и жалкой, и милой, и все же твердой духом. Толстой смотрел на ее исхудавшее, бледное лицо. И, наверное, вспоминал ее молодой девушкой, какой он впервые увидел Анну, почти такой, какой изобразил ее художник Ярошенко. Возможно, Толстой вспоминал в те нерадостные



дни и встречу с Анной Константиновной в его московском доме. «Зимой 1886 года (в половине декабря), - писала Анна Константиновна, - мы с Владимиром Григорьевичем выехали из деревни Воронежской губ. в Петербург и по дороге решили остановиться в Москве. Лишь только мы приехали в меблированные комнаты (на Страстном бульваре), как явился Лев Николаевич и настоятельно просил переехать к ним в дом...»

Эти дни жизни под одной крышей с великим писателем Анна Константиновна помнила всегда. Они были наполнены незабываемыми событиями, встречами, разговорами о литературе. «Самым ярким моментом стоит в памяти тот день, - вспоминала Анна Константиновна, - когда меня, захворавшую... и оставшуюся в постели весь день, посетил Лев Николаевич и просидел у меня довольно долго...»

Лев Николаевич принес в тот день гранки своей драмы «Власть тьмы» и читал Анне Константиновне некоторые сцены из нее. Особенно усилились симпатии писателя к Анне Константиновне после того, когда он узнал о ее серьезном отношении к классической и народной музыке. В тот день в доме у Льва Николаевича был Павел Иванович Бирюков, хорошо знавший ее по работе в издательстве «Посредник». В присутствии Толстого он попросил Анну Константиновну спеть романс П.И. Чайковского на слова А.К. Толстого «Благословляю вас, леса...» Исполнив его, Анна Константиновна почувствовала, что такая музыка не очень нравится Льву Николаевичу. И тогда она решила исполнить «Я ли в поле да не травушка была...» Лев Николаевич был в восторге: «Вот это совсем другое дело! Это прекрасно, очень хорошо...» А через несколько дней в присутствии всей семьи Толстого и гостей дома Анна Константиновна снова пела, а аккомпанировал ей Лев Николаевич. Писатель был возбужден и обрадован: после каждой песни он весело приговаривал: «Вот мы как!»

Теперь же, когда Анна Константиновна была так тяжело больна, Лев Николаевич искренне сочувствовал ей. Чертков верил, что приезд Толстого в Лизиновку поможет Анне Константиновне одолеть болезнь. О своей встрече с Чертковыми, о беседе с Анной Константиновной писатель рассказал в небольшом письме Софье Андреевне, которое отправил из Ржевска: «Я очень рад, что приехал: и он, и, главное, она так искренне рады и так мы с ними душевно близки, столько у нас общих интересов, и так редко мы видимся, что обоим нам хорошо. Она очень жалка и мила и тверда духом. Я сейчас с ней поговорил с полчаса и вижу, что она уже устала. Приподняться на постели она даже не может сама».

Льву Николаевичу понравилось у Чертковых все: и жилье, и хутор, и природа вокруг него, о чем он писал Софье Андреевне:



«Я смущался сначала мыслью, что нас слишком много вдруг наехало, но тут столько домиков, что все разместились, и всем, кажется, удобно, а нам слишком хорошо. Место здесь очень красивое, постройка на полугоре, вниз идет крутой овраг и поднимается на другой стороне, поросшей крупным лесом. Я сейчас ходил один гулять и набрал подснежников».

Я вдруг на миг представил, как после прогулки Лев Николаевич вернулся в дом, попросил разрешения войти в комнату к Анне Константиновне и протянул ей подснежники со словами: «Самой великой «Курсистке» России». Возможно, Толстой и не говорил ей этих слов. Но мне хочется верить, что он мог сказать ей именно так.

Картина Н.А. Ярошенко «Курсистка» вот уже много лет находится в постоянной экспозиции Калужского музея изобразительных искусств, второй вариант этой картины (авторское повторение) представлен в Киевском музее русского искусства. «Курсистки» очень похожи по композиции, о у них разные цветовые решения. Калужский вариант (по месту хранения) более темный, киевский - более светлый. Кстати, киевский (его считают основным) воспроизводят чаще. Оба варианта специалисты считают завершенными.



**РАБОЧИЙ, РЕВОЛЮЦИОНЕР,
ПИСАТЕЛЬ**

(Из воспоминаний радиожурналиста)

В октябре 1972 года исполнялось 95 лет со дня рождения Алексея Павловича Бибика - старейшего русского пролетарского писателя, который последние годы своей долгой жизни доживал у нас на Ставрополье, в городе Минеральные Воды.

Официальных мероприятий по этому поводу не предполагалось. Очевидно, из-за особых обстоятельств в биографии писателя, сидевшего в тюрьмах и отбывавшего ссылки как при царе, так и при советской власти.

Да, после 20-го съезда КПСС в нашей стране произошли большие перемены: осуждён культ личности Сталина, возвращены из лагерей и амнистированы политические заключённые, приоткрыт железный занавес, отделявший СССР от всего остального мира. Но все эти меры проводились под лозунгом борьбы за «чистоту» ленинизма. Инакомыслие по-прежнему подавлялось. До признания принципа многопартийности оставалось еще более 30 лет. Бывшие соратники большевиков по РСДРП – меньшевики, воспринимались, как враги народа, наравне с эсерами, кадетами и т.п.

А Бибик с самого начала своей революционной деятельности вошёл именно в это течение русской социал-демократии и никогда не раскаивался в своих убеждениях.

Тень меньшевистского прошлого продолжала тяготеть над ним. Какие уж тут торжества?

Но не откликнуться на юбилей писателя, который в молодости встречался с легендарной Верой Фигнер, наряду с Лениным был делегатом 6-го съезда РСДРП и о котором сам Горький, после прочте-



**МИХАИЛ
ПЕТРОСЯН**

КРАЕВЕДЕНИЕ





ния его первых рассказов, сказал: «Нашего полка прибыло», было бы несправедливо.

Передо мной, в ту пору редактором художественных программ краевого радио, встал вопрос: как быть?

... И вот я перед небольшим особняком из белого силикатного кирпича с мансардой на улице Пролетарской.

Знаменательно: добившись, наконец, освобождения благодаря заступничеству Михаила Шолохова, после нескольких лет скитаний, Алексей Павлович поселился на постоянное жительство не в Кисловодске, излюбленном курорте российской художественной интеллигенции с дореволюционных времён, и не в Пятигорске, а именно в рабочем городе.

Это ли не свидетельство его неразрывной связи с рабочим классом по жизни и в литературном творчестве!

Не без волнения стучался я в дом человека, которого так ломала жизнь, а он с достоинством выдержал выпавшие на его долю испытания и дожил до преклонных лет!

Открыла мне пожилая женщина, дочь Алексея Павловича – Ольга Алексеевна.

В небольшой гостиной навстречу нам поднялся с кресла маленький сухонький старичок, лишь отдалённо напоминавший того полного сил человека, который видится нам на фотографиях Алексея Павловича в возрасте сорока-пятидесяти лет.

Одет по-домашнему, в выцветший байковый лыжный костюм с свернувшимся в комочки ворсом.

Протянул для пожатия руку.

Сухая старческая кисть вся в узлах выступающих синих вен и в коричневых пигментных пятнах.

Говорит тихо, слабым голосом.

Я назвал себя. Алексей Павлович кивнул головой, как бы подтверждая, что знает о цели моего приезда, опустился в кресло и пригласил последовать его примеру.

Присев на стоящее напротив кресло, я поставил на колени неизменный спутник радиожурналистов в командировках – портативный магнитофон «Репортёр».

- Собираетесь писать меня на эту штуку?..

По неписаным правилам радиожурналистики, прежде чем приступить к записи, следует разговаривать собеседника, настроить его на доверительную волну.

Ухватившись за брошенную Алексеем Павловичем реплику, скорее утвердительную, чем вопросительную, я принялся с воодушевлением рассказывать, какие неограниченные возможности открыла перед журналистами новая звукозаписывающая техника. Раньше мы были привязаны к студии, к громоздким стационарным магнитофонам. А теперь можем делать репортажные записи где угодно: в заводском цехе и на колхозном поле, на борту воздушного лайнера и в угольном за-



бое, на праздничной демонстрации и на спортивных состязаниях.

- Вот это кассетный аппарат венгерского производства. Недавно получили взамен катушечных. Работает на аккумуляторных батареях. Подзарядка с обычной электророзетки через выпрямитель. Одной кассеты хватает на час записи с обеих сторон.

- А начиналось всё с фонографа Эдисона,- раздумчиво произнёс Алексей Павлович. -Да что там... Возьмите железнодорожный транспорт. Я начинал учеником токаря в Харьковских паровозных мастерских. Допотопные паровозы. Дым, копоть. А сейчас электрическая и тепловозная тяга. Все основные магистрали электрифицированы. У нас тут чуть ли не каждый час электрички бегают.

Обстановка гостиной, где протекала наша беседа, скромная. Внимание привлекали лишь густо развешанные по стенам семейные фотографии да картины в простеньких самодельных рамках, судя по почерку принадлежащие одному и тому же художнику. В основном, ландшафтный и городской пейзаж.

Чем-то знакомым повеяло от этих небольших по размеру живописных работ.

- Гречишкин?

Алексей Павлович оживился.

- Он самый, Павел Моисеевич. Вы знакомы?

Незадолго до того мне довелось побывать в мастерской художника на одной из тихих улочек Старого форштадта в Ставрополе. За крохотным жилым домиком, где Павел Моисеевич обитал вдвоём с женой, в глубине сада большой красивый финский дом, перепроектированный под мастерскую с широким стеклянным потолком. Простор, море света. Все условия, чтобы перейти от малых форм к большим монументальным полотнам... То, что имелось у Бибика, давно прошедший этап в творчестве талантливого ставропольского пейзажиста. Но какое чутьё! В числе первых угадать в начинающем художнике большой талант и материально поддержать в начале пути – это дано не каждому.

Самое памятное, что я вынес из той встречи с Гречишкиным, был его мгновенный ответ на вопрос, кого из русских пейзажистов он ставит выше всех?

- Левитана. Но... Левитан –бог. Ему подражать нельзя. Учителем своим считаю Василия Поленова.

Алексей Павлович согласно кивнул седой головой.

- Наверное, он прав... В своё время имел я неплохую коллекцию картин русских художников. И Левитан, и Шишкин, и Поленов. В подлинниках. Всё пропало в 38 –ом: картины, книги, рукописи...



Почему пропало, спрашивать я не стал. Не трудно было догадаться.

Ну что ж, контакты установлены. Пора переходить к цели моего приезда.

Магнитофонную запись tet-a-tet, опять-таки по неписанным законам радиожурналистики, желательно вести в укромном уголке, куда не проникают посторонние шумы и звуки.

Алексей Павлович предложил подняться в мансарду, в его рабочий кабинет. На лестнице он пошатнулся. Я хотел было поддержать его. Но он как-то грозно глянул на меня, и мне стало стыдно за эту мою неуклюжую попытку.

Расположились за его письменным столом, тоже простеньким, без намёков на антиквариат.

Алексей Павлович с интересом наблюдал, как идёт подготовка к записи: извлекается из чехла микрофон, устанавливается на небольшую подставку, подключается соединительным шнуром к аппарату. Затем - проверка на запись и воспроизведение. Установка соответствующего уровня записи.

Всё это я делал не спеша, раздумывая, как быть дальше. Ну, запишу, как было договорено заранее, Слово к молодым литераторам. На это уйдёт три - пять минут. И всё: распрощаться и уйти?!

Представится ли ещё такой уникальный случай? Не стану ли сожалеть, что в своё время не воспользовался им?

По дороге в Минеральные Воды я принял решение: если удастся вызвать Алексея Павловича на доверительный разговор, не затрагивать перепитий его «хождения по мукам» в советское время. Хотя именно этот период как раз и был наименее освещён в тех биографических материалах, которые мне удалось просмотреть, готовясь к встрече.*

Не хотелось проявлять бестактность по отношению к этому старому заслуженному человеку.

Да и будет ли он до конца откровенен при включённом микрофоне?

Беседа с глазу на глаз - одно, а магнитофонная запись - другое. Распорядиться ею можно по-всякому.

Поэтому торопиться с включением магнитофона не следует.

- Давайте сделаем так, - предложил я. Сначала поговорим без микрофона.

И отодвинул «репортёр» в сторону.

* К тому времени в печати можно было найти значительно больше материалов к биографии А.П. Библика, включая его собственные заметки и воспоминания. Но они были разбросаны по разным периодическим изданиям. И только спустя время собраны вместе в одной книге. «Сквозь годы и бури». Ставрополь, 1975 г



С основными вехами жизни и деятельности Бибика, рабочего, революционера, писателя, я был знаком.

Хотелось узнать больше подробностей о начале его литературного пути. Что побудило молодого рабочего, имея за плечами церковно-приходскую школу да несколько лет работы токарем в Харьковских паровозных мастерских, взяться за перо?

Первую ссылку, рассказывал Алексей Павлович, он отбывал в Вятской губернии, куда был сослан в 1900 году на три года под гласный надзор полиции за организацию первой вятской демонстрации. Местом пребывания ему определили село Вятские Поляны. Поселился в каком-то крохотном переулочке над крутым спуском к реке. Хозяйку звали Михайловной. Напротив через дорогу ютилась семья ссыльного Ивана Токарева... В Полянах пристроился письмоводителем у следователя. Первое время ходил, присматривался, обживался. Взялся за самообразование. Где ещё было учиться революционерам, как не в тюрьмах да в ссылках? Изучал работы Маркса, Плеханова... А сочинительством занялся как бы случайно. Однажды увидел, как грузчик на паровой пристани упал под непосильной для него тяжестью. И написал об этом рассказ. Товарищи одобрили, заставили послать в газету «Пермский край», где, к его удивлению, рассказ был напечатан (в 1901 году). Рукописи двух других ранних рассказов дошли до А.М.Горького и были им одобрены. Видимо, знаменитому писателю хотелось поддержать такого же, как он сам, самоучку из народа. Там, в ссылке, Бирик получил от него бодрящее письмо, а затем и посылку с книгами... Из присланных Горьким книг особенно приглянулся ему томик Писарева. Знакомясь с критическим разбором произведений Толстого, Достоевского, Тургенева, Помяловского, Алексей Павлович, по его признанию, впервые осознал, что такое писательское мастерство. В новом свете представилось ему творчество наших великих классиков.

На вопрос, чего больше всего не доставало ему и другим политзаключённым в ссылке, Алексей Павлович отвечал так: недоступность активного действия.

Глушь, темнота. Грамотных- раз-два и обчёлся. Единственными представителями культуры в Полянах были купцы Санниковы. Наверное, потому и зародилась у него мысль устроить там хотя бы маленькую библиотеку. Привлёк к этому делу двух Иванов – соседа Токарева и Сапожникова, из местных крестьян. Пытались приохотить молодёжь к чтению книг. Посылка Горького с книгами оказалась весьма кстати... Порой завязывались разговоры о происходящих в России событиях. Назвать это настоящей революционной пропагандой было бы большим преувеличением, но именно в этом Бирика и его товарищей обвинили. Снова тюрьма и новая ссылка – на этот раз на пять лет в Архангельскую губернию. Там-то и произошла его встреча с



Верой Николаевной Фигнер, которая тоже отбывала ссылку в тех суровых северных краях после многолетнего заключения в Шлиссельбургской крепости за участие в организации убийства императора Александра второго.

Алексей Павлович вместе с двумя другими ссыльнопоселенцами следовал на новое местожительство – из городка Кемь в Шенкурск. Остановились передохнуть в Онеге. Местная колония обогрела товарищей по несчастью, напоила чаем. А провожая, попросила выполнить почётное поручение: передать Вере Николаевне приветственный адрес. Оказывается, им было по дороге – она отбывала бессрочную ссылку в посаде Нёнокса в 70 километрах от Архангельска.

Говорил Алексей Павлович тихо, как бы выдавливая слова из старческой впавшей груди.

Порой слабый голос терялся среди хрипов и вздохов, и тогда речь становилась неразборчивой.

Но рассказывая о встрече с Верой Николаевной Фигнер, он как – то приободрился, даже щёки его порозовели. Рассказ его был рельефен и красочен, каким и должен быть у настоящего мастера слова.

Ехали с разрешения начальства без сопровождающих в двух кошевах – широких и глубоких дорожных санях с пологом. Кругом, куда ни глянь, снега и снега. Белое безмолвие. Мороз до косточек пробирает. А на душе праздник.

Понятно, марксисты принципиально против индивидуального террора. Но как ни восхищаться народольцами – бесстрашными борцами против царского самодержавия?!

Они радовались предстоящей встрече с женщиной из легенды. Одно только беспокоило и тревожило: не ждёт ли их разочарование? Как может чувствовать себя человек, отсидевший в одиночной камере более 20 лет без какой – либо связи с внешним миром? Не помрачился ли у него разум, не угас ли интерес к развитию революционного процесса в России?

Нет, худенькая, растерявшая в заточении своё здоровье женщина встретила их сердечно, пригласила в избу, угостила морковным пирогом, расспрашивала, удивлялась тому, что в революционный процесс включается всё больше и больше сознательных рабочих. Такого во времена «Народной воли» не наблюдалось.

Увлёкшись, Алексей Павлович приводил всё новые и новые подробности.

Я слушал и ...внутренне трепетал.. Подумать только: через моего собеседника, представителя третьего пролетарского этапа русского освободительного движения, я как бы связывался живой нитью с героями второго, народнического этапа. Не чудо ли это !

Нет нужды пересказывать всё мною услышанное.



В уже упомянутом сборнике «Сквозь годы и бури» можно найти полный рассказ о той незабываемой встрече, написанный им самим.

А тогда я делал беглые записи в блокноте, стараясь зафиксировать всё самое главное в памяти.

Сколько раз при этом меня подмывало украдкой включить микрофон.

Радиожурналисты нередко прибегают к такому приёму. Бывает, иной собеседник при включённом микрофоне буквально немеет, а сделаешь вид, что выключил микрофон, снова обретает дар речи.

Но в данном случае я не мог себе этого позволить.

Хотелось пойти дальше - расспросить Алексея Павловича о ещё более интересных фактах из его биографии. О 6-ом (объединительном) съезде РСДРП в Стокгольме, где меньшевики во главе с Плехановым яростно спорили с Лениным о путях дальнейшего развития революционного процесса в России. Эту тему в 70-х годах прошлого столетия полагалось трактовать в том плане, что, и там, на 6-ом съезде, как всегда, правда была на стороне большевиков, настаивавших на продолжении курса на вооружённое восстание и обвинявших своих оппонентов в предательстве интересов рабочего класса. И только так.

Однако после событий Пражской весны 1968 года в СССР быстро набирало силу диссидентское движение, положившее начало четвёртому этапу русского освободительного движения - за права человека. (Справедливость требует дополнить известную ленинскую периодизацию русского освободительного движения новым этапом).

Множилось число сторонников западной модели «социализма с человеческим лицом». И я решился затронуть эту тему, полагая, что при выключенном микрофоне меня не заподозрят в злом умысле.

На этот раз Алексей Павлович был немногословен.

На 6-ой съезд РСДРП в Стокгольме он был послан от Харьковской городской организации РСДРП (меньшевиков). Простым рабочим нелегко было разобраться в теоретическом споре между «беками» и «меками» (так он называл большевиков и меньшевиков). Слушаешь Плеханова - кажется он прав. Выходит за трибуну Ленин - и этот прав. На самом деле на 6-ом съезде РСДРП, именуемом в Истории КПСС Объединительным, никакого объединения не произошло. По причине неуступчивости «беков», которые и слышать не хотели о парламентском пути борьбы за власть. Партия осталась расколотой на две непримиримые части.

- Какими запомнились вам Ленин, Плеханов?

- Оба они точно описаны Горьким. В Плеханове, действительно, было что-то от барина. Ленин проще, доступней... Он



производил впечатление человека убеждённого в своей правоте... Можно любить или не любить Ленина. Но нельзя не признать: из всех вождей социал-демократии один Ленин смог на практике осуществить свои идеалы.

За беседой незаметно бежало время. Алексей Павлович утомился. И я, наконец-то, включил микрофон.

Не скрою, мне было чрезвычайно любопытно: как маститый писатель построит своё Слово к молодым.

По сути дела это было его последнее публичное выступление. Мне кажется, он сам отчётливо осознавал, что именно последнее.

Потому-то, живя отшельником, принял корреспондента и хорошо подготовился к встрече.

Казалось бы, что такое краткое выступление для писателя – пустяк!

На самом деле это далеко не так.

Недаром есть такая журналистская притча. Одного маститого учёного пригласили выступить на радио. «Когда будете готовы?» спрашивают его. – «А сколько даёте мне времени? Если полчаса, то хоть сейчас. А если 5 минут, мне надо подготовиться».

Вот что такое настоящий профессионализм!

Алексей Павлович придвинул к себе исписанные рукой листки.

Начал он со своих встреч с членами литобъединения «Современник» при Минераловодской районной газете – «авторучниками». Один из них, начинающий поэт, жаловался, что на подобных встречах больше говорят о задачах коммунистического строительства, чем непосредственно о поэзии. Разделяя это справедливое замечание, говорил в микрофон Алексей Павлович, я всё-таки не мог не напомнить молодым литераторам, желающим воспарить на крылах поэзии в заоблачные небеса, завет Николая Алексеевича Некрасова:

Поэтом можешь ты не быть,

Но гражданином быть обязан.

Далее привожу обращение старейшего русского писателя к молодым литераторам слово в слово по сохранившейся магнитофонной записи.

Отталкиваясь от этого завещания великого, а, может быть, величайшего нашего поэта, мне бы хотелось привести два примера из истории отечественной литературы, иллюстрирующие его мысль.

Первая иллюстрация. Это поездка Антона Павловича Чехова, болевшего туберкулёзом, на Сахалин, чтобы выяснить очень тяжёлое положение с отбывающими там свой срок ссыльными и каторжниками. И вот замечательный писатель бросает своё золотое перо и на тряской те-



леге, больной туберкулёзом, едет через огромные расстояния на далёкий Сахалин.

Что же побудило его на такой подвижнический поступок?

Несомненно, осознание своего гражданского долга.

Алексей Павлович не читал по бумажке. Только изредка поглядывал на лежащие перед ним листки. И мне припомнилось признание Ираклия Андроникова, непревзойдённого мастера устного рассказа, что каждый раз собираясь выступить по телевидению, он пишет текст. Но этот заранее написанный текст остаётся у него в кармане. Казалось бы, зачем ему мастеру лишний раз утруждать себя? Но он не отступал от своего принципа. Потому что предварительная кропотливая работа над текстом концентрирует мысль.

А вот вторая иллюстрация,- продолжал Алексей Павлович. – **Писатель Владимир Галактионович Короленко.**

Тихая Полтава. Насиженный угол. Скромное, но вполне обеспеченное писательское существование. Да и здоровье его уже было тоже неважное. И потом друзья его не раз говорили, убеждали, чтобы он не разменивался на общественные дела, а сидел бы себе в тишине и покое и писал свои талантливые книги. А он, беспокойный такой человек, сорвался с этого уютного места и помчался и куда... в далёкую Вятскую губернию, где реакционными силами было развязано так называемое мултанское дело - о жертвоприношениях вотянским богам человеческой. Ложно обвинённым в этом крестьянам грозила суровая кара. И вот с этим не мог примириться Владимир Галактионович. Помчался в Вятскую губернию, принял участие в судебном процессе и добился оправдания группы мужиков.

Вот, по-моему, яркий пример гражданской обязанности настоящего писателя.

Алексей Павлович умолк. В ответ на его вопросительный взгляд я перевёл магнитофон в режим воспроизведения, чтобы проверить качество записи, и подтвердил: всё в порядке, запись состоялась.

Нередко в таких случаях наши визави просят прослушать всю запись от начала до конца.

Алексей Павлович не попросил, а я не стал предлагать. Над ней надо будет ещё хорошенько поработать звукооператорам. Убрать частые довольно продолжительные паузы, вздохи и выдохи. Ясные мысли этого человека находились в жутком несоответствии со всей его брэнной физической оболочкой. Такое ощущение не покидало меня в продолжении всей нашей встречи.

В дверь постучали. Зовут обедать. Переходя в другую половину дома - дочери с зятем Алексей Павлович снова пошатнул-



ся и я снова инстинктивно хотел поддержать его лёгкого, как пушинка. Но, как и в первый раз, он решительно пресёк мои поползновения.

Каким же сильным и гордым был этот человек в своей прошлой жизни!

Нас посадили за стол и оставили одних. Обед был самый неприязнительный - без деликатесов и вина.

Чувствовалось, что Алексею Павловичу требуется отдых, и сразу, встав из-за стола, я поблагодарил гостеприимных хозяев за радушный приём и распрощался.

Всю дорогу назад, в Ставрополь, меня не покидало ощущение некоторой неудовлетворённости.

Наверное, можно было извлечь из этой встречи значительно больше. За «бортом» остались целые пласты жизненной и творческой судьбы писателя, причём самые трагические. Станут ли они когда-нибудь достоянием общечеловеческим?

Впрочем, мои опасения оказались беспочвенными.

За прошедшие полвека появилось немало новых публикаций, проливающих свет на белые пятна биографии А.П.Бибика. И мне кажется, следует остановиться на них подробнее. Иначе образ этого человека –отшельника, доживавшего свои дни в Минеральных Водах, будет недостаточно полон.

Три жизни прожил Алексей Павлович Бибик, отмечает литературный критик Татьяна Батурина.*

Первая – безрадостное детство, революционер-подпольщик, объявленный в розыск, скитающийся по фальшивым паспортам; тюрьма и ссылки.

Вторая – с 1911 года, когда он вдруг «вынырнул» в Риге под своим собственным именем. Теперь он, имеющий за плечами всего лишь церковно-приходскую школу да опыт работы токарем в паровозных ремонтных мастерских, на инженерной должности на Русско-балтийском заводе. У него respectable квартира в центре города. Жена-врач из семьи известного харьковского юриста, дочь.

Эта жизнь обеспеченного человека и пользующегося успехом писателя их рабочих продолжалась далее в Петербурге и Ростове.

И третья жизнь - после Октябрьской революции – теперь он подозрительный для Советской власти человек, бывший меньшевик-плекхановец. Из партии вышел в 1918 году. В 1920 году арестован по делу Донского комитета РСДРП. Освобождён по личному распоряжению Дзержинского – за спасение группы большевиков, оказавшихся в плену у оккупационных войск Германии. В то время (зимой 18 года) А.П. Бибик занимал выборную должность помощника городского головы Нахичевани. После освобождения отошёл от активной политической деятельности.



В 1924 году снова арестован и выслан на три года в Свердловск.

С 1927 по 1937 год живёт в Ростове –на-Дону. Это самое счастливое и плодотворное десятилетие в его жизненной и писательской судьбе.

В 1928-1929 годах в Москве выходит его собрание сочинений в 6 томах.

В 1934 году принимает участие в работе первого съезда Союза писателей СССР, встречается с Горьким.

Летнее время проводит на собственной даче на черноморском побережье близ Сочи.

И снова крутой поворот в его судьбе.

В ночь с 17 на 18 февраля 1938 года новый арест. А.П.Бибик объявлен троцкистом. Сослан на Урал в «Ивдельлаг» на строительство таёжного городка, а затем осуждён на 8 лет лагерей строгого режима.

Вскоре та же участь постигла его жену Зинаиду Ивановну и дочь Ольгу Алексеевну, оставшихся без работы и каких-либо средств к существованию.

Об их судьбе Алексей Павлович узнал только после освобождения.

Этот самый трагичный период жизни А.П.Бибика подробно изучен ростовским журналистом и краеведом В.Котовским.*

Разумеется, Алексей Павлович не мог смириться с проявленной по отношению к нему несправедливостью. С самого начала рассылал по вышестоящим инстанциям письма с просьбой пересмотреть его дело. Безрезультатно. Тогда решил обратиться к Михаилу Шолохову, с которым был знаком ещё с 20-годов. Незадолго до того автору «Тихого Дона» удалось вырвать из «ежовских рукавиц» вешенских районщиков. Об этом знали в ростовских литературных кругах.

Письма пересылал тайком, не веря до конца, что дойдут. Одно письмо отправил через артиста Большого театра, освобождённого досрочно, с тем, чтобы тот в Москве передал письмо в Союз писателей. В начале 1943 года Бибика вызвали к лагерному начальству. Зачитали ответ из Москвы, из бериевской конторы: так, мол, и так; пока идёт война, советский человек на любом участке трудится во имя победы, а когда закончится, разберёмся в вопросе освобождения.

Пришла долгожданная Победа.

Но власти не торопились отпустить на волю бывшего меньшевика.

И всё-таки заступничество Шолохова помогло.

*Т.П.Батурина. «Тайны писателя Алексея Бибика». Санкт-Петербург, 2001г.



Ранней весной 1947 года семидесятилетний А.П.Бибик без приключений (в дороге его обокрали) добрался, наконец, до Ростова.

У него «волчий» паспорт, по которому запрещалось жить в крупных городах. Но ему не терпелось узнать о судьбе жены и дочери.

Постоял возле своей старой квартиры, откуда его 9 лет назад увезли в «чёрном» вороне. Куда идти? Как встретят его старые знакомые?

Первым делом побывал в семье С. М. Гурвича, тоже бывшего меньшевика. Жёны их – Зинаида Ивановна и Татьяна Соломоновна были знакомы ещё по Харькову, дружили со студенческих лет. Здесь его накормили, приодели, но ночевать не оставили. Самое главное – Татьяна Соломоновна сообщила ему радостную весть: Зинаида Ивановна уже тоже на свободе. Но где именно находится в данное время, ей неизвестно.

От Гурвичей, жены и сына, Алексей Павлович отправился к старому знакомцу – писателю Виталию Закруткину. Тот тоже не миновал ареста в 38 году, но вскоре был освобождён. Вспомнили былое. Хозяин накормил-напоил опального гостя. Но ночевать тоже не предложил.

После новых злоключений Алексей Павлович нашёл себе временное пристанище у других собратьев по перу- ростовских писателей Г.Ф. Шолохова-Синявского и П.Х.Максимова. Особо помог Шолохов-Синявский, постоянно проживавший в одной из донских станиц между Ростовом и Таганрогом. Через знакомого начальника милиции, заплатив штраф за якобы утерянный «волчий билет», он выхлопотал для Бибика паспорт обычного образца и устроил сторожем в местный рыбхоз.

Теперь можно было придти в себя после непрерывных мытарств. Алексей Павлович снова взялся за перо. Так возник рассказ «В займище Дона».

Вскоре разыскались жена и дочь. Обе оказались в Пятигорске. Уехал к ним.

Вместе возвратились в Ростов. Дочь Ольга Алексеевна получила направление на работу в сельскую больницу на хуторе у станции Степная.

На этом их странствия не окончились. Летом 1950 года Бибики переехали в станицу Константиновскую на Кубани, где Алексей Павлович приобрёл дом на деньги писателя Николая Ляшко.

В 1953 году умерла Зинаида Ивановна. Отец с дочерью жили вдвоём, пока через год к ним не присоединился Александр Петрович Гольшенко, лагерный муж Ольги Алексеевны, бывший офицер, фронтовик- штрафник. Он забрал в жену и уе-

*В. Котовсков. «Наш современник».№6, 2005г.



хал в Минеральные Воды. Вскоре дочь с зятем забрали к себе отца.

В новый дом на улице Пролетарской они вселились в ноябре 1956 года, уже после того как на 20-ом съезде КПСС был развенчан культ личности Сталина и в московском издательстве «Советский писатель» вышел в свет однотомник А.Бибика «Избранное».

Да! Если бы не моя излишняя деликатность, много интересного мог бы узнать я в тот давний визит к старейшему советскому писателю – от самого А.П. Бибика и от его дочери и зятя, которым тоже довелось сполна испить свою горькую чашу.

Впрочем, не забывайте, что это было за время!

1972 год. В СССР ужесточается преследование за любое проявление инакомыслия. Диссидентов начинают сажать в тюрьмы. Солженицын в опале. За распространение в списках «Архипелага Гулаг» и другой «антисоветской» литературы можно схлопотать срок.

Не самое подходящее время разбираться в перепитиях хождения по мукам старейшего русского писателя, полностью реабилитированного, но так и не раскаявшегося в меньшевистских грехах!

В позднейших автобиографических очерках и воспоминаниях А.П.Бибика порой (очень редко) промелькнёт что-то вроде: «Великий Октябрь потряс весь мир», «Время утвердило новый строй –власть рабочих и крестьян». Это была дань конъюнктуре. Не более того. Он был очень осторожен в оценках так называемой Великой Октябрьской революции. А его отзыв при мне о В.И. Ленине в ту самую встречу (можно не любить, но нельзя не признавать) не мог тогда восприниматься иначе, как что-то святотатственное!

Всё говорило о том, что он не стыдится своего политического прошлого.

И как бы порадовался бы он сегодня, когда в обновлённой России право на инакомыслие подтверждено Конституцией.

Сегодня размышляя о яростной полемике между меньшевиками и большевикам на 6-ом съезде РСДРП, начинаешь понимать: исторически правы оказались всё-таки меньшевики.

Курс на вооружённое восстание и насильственное насаждение социализма в отдельно взятой, экономически слабо-развитой, отсталой неграмотной стране оказался ошибочным.

Конечно, большевики руководствовались благими намерениями. Но на деле они обернулись жестокой братоубийственной Гражданской войной и последующими репрессиями против своего собственного народа. Ради воплощения в жизнь надуманных политических теорий сталинское руководство вступило на путь прямых нарушений законности.



А ведь это предвидели 100 лет назад меньшевики. И не только меньшевики. И другие здравомыслящие люди, не менее большевиков озабоченные судьбами России.

Возьмём письма упоминаемого Алексеем Павловичем Бибиком в Слове к молодым литераторам, замечательного русского писателя Владимира Галактионовича Короленко, которые вошли в историю русской литературы под названием «Писем к Луначарскому».

Писатель-демократ, смело обличавший произвол царских властей, с такой же страстностью и непреклонностью боролся с разгулом красного террора. В 1920 году в Полтаве, как и в других городах, проводились массовые расстрелы противников советской власти. Короленко публично протестовал против казней без суда и следствия, чего не допускалось даже при царском режиме. Спас немало невинных жертв, обращаясь то в Полтавскую ЧК, то непосредственно в Совет народных комиссаров. Так завязалась его переписка с Луначарским, который высоко ценил Короленко как писателя и гражданина. Короленко предложил наркому изложить в ряде писем своё видение положения в стране, поскольку, как он писал Луначарскому: «высказывать откровенно свои взгляды о важнейших моментах общественной жизни стало для меня, как и для многих искренних писателей, насущной потребностью. Благодаря установившейся ныне «свободе слова» этой потребности нет удовлетворения. Нам, инакомыслящим, приходится писать не статьи, а докладные записки».

Далее в шести письмах Короленко дал блестящий анализ ситуации, сложившейся в стране после Октябрьского переворота.

Основной мотив писем: большевики поторопились с социалистической революцией. Надо было дать капитализму поработать в России, чтобы созрели условия, необходимые для социалистических преобразований и передачи власти народу.

Не на этом ли настаивали меньшевики!

Впрочем, переосмысляя события 1917 года с позиций сегодняшнего дня, не будем забывать об одном непреложном требовании: события прошлого следует рассматривать в той конкретно-исторической обстановке, в которой они протекали, а о заслугах отдельных исторических личностей судить не по тому, что они не сделали с позиций сегодняшнего дня, а по тому, насколько дальше продвинулись по сравнению со своими предшественниками.

Тогда, в обстановке всеобщей нищеты и разрухи, люди думали и чувствовали иначе, чем мы сегодня. Не так уж трудно было увлечь их за собой лозунгами: «Долой войну!», «Мира и хлеба!»



Бывает так, что одни документы, прежде высоко ценившиеся, вдруг обесцениваются, а те, которым не придавалось особого значения, вдруг резко поднимаются в цене.

Так случилось с записанным мной 45 лет назад Словом к молодым литераторам Алексея Павловича Библика.

Год назад телерадиокомпания «Ставрополье» решила отметить 90-летие начала регулярного радиовещания в крае специальным циклом передач «Слово, неподвластное времени».

Нам хотелось показать, как в передачах краевого радио отразилась вся история Ставрополья за минувшие 100 лет.

Такая возможность имелась.

Хотя современные средства звукозаписи появились лишь в конце 50-х – начале 60-х годов прошлого столетия, наши предшественники- журналисты Ставропольского радио успели записать воспоминания непосредственных участников революции и гражданской войны, индустриализации и коллективизации, послевоенного восстановления народного хозяйства, солдат Великой Отечественной войны.

Надо было только хорошенько разобраться в фондах нашей фонотеки.

И вот тут обнаружилось, что события революции и гражданской войны представлены у нас односторонне: как революционер, так большевик, как участник гражданской войны, так красный кавалерист. А где же противоположная сторона?

Но где могли мы найти хоть одного живого белогвардейца или меньшевика?

Иные расстреляны, иные в эмиграции, кто-то погиб в лагерях. А если кто и остался жив, стал бы он признаваться о своём прошлом?

Так и получилось, что в золотом фонде фонотеки Ставропольского радио хранится голос одного – единственного члена Российской социал – демократической рабочей партии с 1900 года - не большевика, старейшего советского писателя Алексея Павловича Библика.



ПУСТЬ ЖИЗНЬ МОЮ ВЕТЕР ЛИСТАЕТ...

Видимо, права поговорка «Большое видится на расстоянии». Нужны годы, чтобы понять и оценить творческое наследие, которое оставила нам минераловодская поэтесса Раиса Котовская. Не теряет художественной ценности то, что создается не ремесленником от пера, а большим художником. Время, словно скульптор, высекающий статую из камня, оно удаляет все лишнее, лживое, надуманное, сиюминутное, оставляя только талантливое и правдивое. Настоящие стихи - это летопись эпохи, по ним потомки будут судить о том, чем мы жили и была ли у нас душа. Стихи Раисы Котовской прошли проверку временем, они не потускнели, не устарели, - спустя десятилетия они заиграли новыми красками. В этом и есть тайна настоящей поэзии.

Вчитываясь в строчки ее стихов, видишь и чувствуешь, что они написаны сердцем.

Пусть жизнь мою ветер листает
С начала, а после с конца!
Работа, любовь....

Облетают

Цветы у родного крыльца.

Эти талантливые строчки - как будто сжатая история всей ее жизни.

В далекие 70-е, когда Котовская начала свой путь в литературу, оценить ее дар по достоинству люди не смогли, хоть даже в первых, полудетских своих стихах, она проявила всю силу своего таланта. Это отмечали многие маститые литераторы того времени, такие как А. Михайлов, Н. Сидоренко и др. Р. Котовская создала в поэзии свой мир, в котором жили ее герои, цвели сады, вставало солнце, колосились поля, убегала до горизонта южная степь широкая, раздольная, с ковыльями, васильками и расцветающими весной на склонах балок тюльпанами. Она делилась всем этим с нами,



**ЮРИЙ
СЕЛИВАНОВ**

ЛИТЕРАТУРО- ВЕДЕНИЕ





отдавая все сокровища своей широкой, как поле, русской души. Дороже, чем эта степь, река и небо у нее ничего не было.

Степь. Знакомые сердцу могилы.

Вся еще золотая стерня.

Память детства и родины милой

Незаметно обнимет меня.

Кто-то не понимал этой ее щедрости, не замечая сказочного мира ее поэзии, и равнодушно проходил мимо. Кто-то ждал ее стихов, и каждая встреча с творчеством Котовской была для него радостью прикосновения к прекрасному.

Котовская Раиса Николаевна родилась 6 января 1951 года в городе Бельцы Молдавской ССР. В 1952 году ее семья вернулась в г. Минеральные Воды, этот город она до конца дней любила и считала своей родиной. В семье было пятеро детей, сестры: Вера, Надежда, Любовь, Рая, - и брат Владимир, который впоследствии стал офицером и служил на Балтийском флоте. Детство было трудным, многодетная семья жила скромно, считая каждую копейку. В 1958 году семилетняя Рая пошла в первый класс в новую, красивую, с белыми колоннами на входе, школу № 27 (сейчас это лицей № 3). После окончания 8-го класса учебу пришлось на время оставить - семья нуждалась в деньгах. Раиса пошла работать на стройку, выбор был очевиден - туда брали всех, даже без специальности, да и заработки у строителей были повыше, чем в других местах. Тогда же поступила в школу рабочей молодежи. За несколько лет она сменила не одну профессию, увидела жизнь не с парадного входа, а изнутри, набралась жизненного опыта, который, переплавившись в душе, вылился в строчки лирических стихов. Первому сборнику своих стихотворений она дала название «Станция формирования», отдавая дань тому времени, когда работала проводницей. Окончив в 1969 году вечернюю школу, или, как ее тогда называли, школу рабочей молодежи, Раиса успешно сдала экзамены и поступила на заочное отделение филологического факультета Ставропольского государственного педагогического института, где проучилась до 1974 года. Поработала и проводницей, и чертежницей, и сапожником, и санитаркой в больнице, всякое повидала. Она и сама тогда, наверное, не понимала, что она ищет себя - впитывает как губка жизненные ощущения. Ее прямой, беспокойный характер мешал счастливому течению ее жизни, но она не могла по-другому. Раиса очень тонко чувствовала несправедливость, любые ее проявления и оттенки, как по отношению к себе, так и по отношению к другим. Может, именно по этому не ладилась личная жизнь, за творческими удачами наступали периоды разочарований и неудовлетворенностью собой, жизнью. Слишком высоко была поднята планка, слишком требовательна она была к себе и к близким. У нее было три



мужа, осталось двое сыновей. Последний муж Н.П. Ляшенко - ставропольский писатель, прозаик, автор книг «Здесь их судьба», «Камерный концерт», «Приснилась первая любовь». Вместе они выпустили книгу «Судьба», посвященную писателю А.П. Бибику.

Раиса входила во взрослую жизнь, полная надежд на женское счастье и благосклонность судьбы. Она ощущала в себе талант и хотела, чтобы та «музыка», которая жила в ее душе, была услышана всеми.

1964 год - опубликовано первое стихотворение в газете «Коммунист».

В 1967 году писатель Игорь Романов, работавший в альманахе «Ставрополье», публикует несколько ее стихотворений.

В 1968 году вышел сборник молодых поэтов Ставрополя с 18 стихотворениями Раисы Котовской. Это был прорыв. О ней всерьез заговорили в профессиональных кругах ставропольских литераторов. Главное, что подкупает в ее стихах, это душа - открытая душа поэта, обращенная к читателю, словно одиноко стоящий дом в поле с распахнутыми навстречу степным ветрам окнами.

Можно сказать, что поэзия Раисы Котовской исконно русская. Это не лубок, не частушка, не копирование фольклора. Стихи ее глубоки, может быть, даже глубже стихов известных поэтов, ее столичных современниц, которые блистали благодаря своей академичности, мастерству и часто забывали о душе. Стихи Котовской другие - они живые, с подробностями быта, переживаниями. Именно в правде факта главная ценность ее стихов. Каждое стихотворение - это маленькая история. Вот пришел фотограф в дом, казалось бы - рядовое явление, спросил бесцеремонно: «Нет ли у вас покойников или невест?» Вроде бы ничего страшного, вопрос как вопрос. Но Котовская увидела за этим незначительным событием социальное явление - появление в обществе людей, которым хочется погреть руки на чужом горе. Она выводит его портрет и становится ясно, что этот человек - бездушный мерзавец, которому все равно, кого «грабить», живого или покойника, он везде и всегда ищет свои деньги, у него и туфли «проворные, как тараканы». Другое стихотворение и другая история: отец возвращается из поездки и привозит детям гостинцы. Дети радуются, для них конфеты - праздник. Да, мы так жили. Мало в те далекие 60-е годы наше поколение ело конфет и разносолов - хлеб белый не каждый день видели, в очередях за обыкновенными булочками стояли. Когда читаешь строчки этого стихотворения, сжимается от боли душа.

В стихах Р. Котовской есть то, что присуще всем русским людям - искренность и бесконечная любовь к родным местам



и отчизне. Русский человек не может жить без родины. Она много пишет, учится работать со словом, чувствовать строку, ритм, рифму. Ее рифмы насыщены и разнообразны, а язык богат местными наречиями. Котовская печатается в газетах, периодических изданиях. В 1975 году она поступает в Литературный институт имени Горького, успешно пройдя творческий конкурс. Этот институт был популярен не меньше, чем ВГИК, МГИМО или МГУ, учиться в нем было престижно и почетно. В то время говорили, что легче вступить в союз писателей, чем поступить в Литературный институт. Котовская с головой ушла в учебу. Сбывалась ее мечта - стать профессиональным писателем.

К слову, русскому слову, тянуло ее всегда. В статье «Слово друг - слово враг» Котовская пишет: «Пришло время говорить об ответственности за сказанное слово перед Богом. Что же делает наши слова «мертвыми», а нас повинными в грехе празднословия? Это утрата высшей идеи жизни, одухотворяющей слово». Она приводит слова Ф.М. Достоевского, который так формулирует высшую идею жизни: «Основная и самая высшая идея человеческого бытия - необходимость и неизбежность убеждения в бессмертии человеческой души». В этой же статье, говоря об ответственности настоящего писателя за слово, она цитирует св. о. Иоанна Кронштадского: «Нынче люди поставили огромного идола и велят всем ему кланяться. Этот идол есть отрицательная литература. Писатели наши и сотрудники газет не живут у себя дома (в душе своей), а обращаются только во внешнем мире: судят, рядят обо всем окружающем, а о том, что делается в душе их, какие в ней болячки и недостатки, какие страсти овладели ими самими, в чем им надо покаяться перед Богом и перед людьми, в чем исправиться, - этим они не занимаются и покаяния не признают. Но какая польза человеку, что он весь мир приобретет, а душе своей повредит?» «В XX веке», - продолжает развивать свою мысль о языке Котовская, - «вслед за упадком православной духовности произошла окончательная девальвация слова». Котовская не случайно приводит эти цитаты в своей статье. Душа и слово - их единство и связь волнуют ее. Она старалась жить в ладах с совестью и с Богом в душе, чувствуя в себе призвание писать, именно этой дорогой она хотела идти по жизни. Не за куском хлеба тянулась, не за престижем и конъюнктурой - за правдой, за возможностью рассказать людям о той жизни, которую видела она, о том мире, который жил в ее вышней, устремленной в небо душе. Ее стихи перекликаются с русским фольклором: «речка-реченька», - уменьшительно называет она Куму.

Молча вслушаюсь в крик петушиный,
Или вчувствуюсь в крик соловья -



Всюду пахнет дождем и крушиной.

И волнуется память моя.

Многие стихи Р. Котовской воспринимаются как народные. Она чутко улавливает пульс родной земли, чувствует ее жизненную силу, обожествляет природу, любя до последней травинки весь этот мир.

Рябина красная,

златолистянная,

Зачем в пустом лесу

одна горишь?

Что под ветрами ты

теперь как пьяная.

Все сокровенное

мне говоришь?

Слепы, глухи давно

леса стоят стеной,

Зимой напугана,

слегла трава...

Не спи, рябинушка,

поговори со мной,

Пока горишь еще,

пока жива.

Природа для нее - храм, где нет мертвого и живого. Все живое - и река, и лес, и рябина на лесной опушке, и облако, и дождь.

Руководители семинара молодых писателей, в котором Котовская приняла участие во время учебы в литературном институте, учитывая самобытность и мастерство молодого автора, ходатайствовали перед московским издательством о выпуске ее стихотворений отдельной книгой. Ждать выхода книги пришлось два года.

В 1979 году в Ставропольском книжном издательстве вышла тонкая книжечка стихов «Отчий дом». В этом же году в московском издательстве «Современник» выходит еще одна ее книга «Станция формирования».

В 1982 году выходит новый сборник стихотворений Р. Котовской «Ночной дождь». Известный критик А. Михайлов, возглавлявший в то время отдел поэзии журнала «Юность», писал в предисловии к книге: «Чем привлекают стихи Котовской? Прежде всего, правдой пережитого».

В том же 1982 году Р. Котовская переезжает жить в Ставрополь, где ей, молодой поэтессе, доверяют должность ответственного секретаря альманаха «Ставрополье».

1983 год знаковый в судьбе Котовской - ее принимают в союз писателей СССР. Впереди годы плодотворного труда, поездки по родному краю, встречи с читателями, и много-мно-



го новых стихов, где самое главное место отведено, конечно, любви.

В конце 90-х годов в жизни Котовской наступил период, который можно назвать поворотным в ее творчестве. Поиски счастья, справедливости, истинного неразменного слова привели ее к Богу. Эта тема прослеживается теперь во всех ее стихах, очерках, выступлениях. В 2001 году она выпускает книгу «Россия граничит с небом».

У Раисы Котовской не так много книг: «Станция формирования», «Уроки пения», «Переменная облачность», «Ночной дождь», «Снеговица», «Судьба» и др. В книге «Судьба» Котовская выступает как философ и публицист. В статье «За что боролись» она обозначает два истока русской души - христианство и государственность, заставляя читателей по-новому взглянуть на роман А.П. Бибика «К широкой дороге». «Автор книги «К широкой дороге» настойчиво, последовательно и сознательно показывает нам как Россия восстала, подстрекаемая иноверцами, против своего Бога», - пишет она. - «Перед Богом у человека нет прав, есть лишь обязанности, общие всем, - и это объединяет народ в одну соборную личность». «Пламенные революционеры», - продолжает развивать свою мысль Котовская, - «были прежде всего богоборцами, все они любили называть друг друга «чертушками» и определяли принадлежность людей к своим и чужим только по тому, есть в их доме иконы или нет».

В 2004 году за вышедшую в Москве книгу стихов «Судный день» она была выдвинута на Губернаторскую премию. Финансирование издания сборника взял на себя поэт П. Косяков. Книга стала событием в литературной жизни края.

В 2007 году Раиса Николаевна Котовская скончалась. Ей было всего 56 лет. Похоронена она в г. Минеральные Воды. В память о поэтессе, нашей землячке Минераловодской городской думой было принято решение назвать городскую библиотеку ее именем.

Мне посчастливилось встречаться с Р. Котовской - это были встречи в кругу друзей в начале 80-х. Наша маленькая поэтическая группа: Николай Бондаренко, Павел Косяков, Виталик Жандаров, - тесный круг единомышленников, людей, влюбленных в поэзию. Я помню встречу в квартире Николая Бондаренко. В большой комнате с уходящими под потолок книжными полками было накурено и многолюдно, обсуждали последние поэтические новости. Окуджава, Вознесенский, Ахмадулина - слышались фамилии маститых поэтов. Кто-то декламировал свои стихи. Раиса больше молчала, внимательно слушала, пытаясь в этом гвалте уловить логическую нить, курила, держа сигарету в тонких красивых пальцах, иногда вступала в разговор, вставляя точные и меткие слова, улыбалась



шуткам. Черное строгое платье, как будто из шестидесятых, было ей к лицу. Мне казалось, что сейчас заиграет музыка и она начнет танцевать твист. Потом она размышляла о том, зачем человек пишет стихи, говорила очень тихо, взвешивая каждое слово, замолчав, задумчиво посмотрела в темное, с каплями дождя, осеннее окно. Такой Раиса запомнилась мне.

В городской библиотеке книги Раисы Котовской на самом почетном месте, они всегда востребованы читателями.

Последний год жизни Котовская работала учителем в г. Минеральные Воды. Характер не позволял ей сидеть сложа руки. Она работала с одаренной творческой молодежью, проводила литературные конкурсы, писала статьи, боролась с бездуховностью, выступала против засилья западных ценностей в нашей культуре. В сборнике «Снеговица» в одном из стихотворений она писала, метко подмечая всю двусмысленность нашего времени:

Метя в души глумливым словом,
Пораженья равняя с победами,
Натравили детей на отцов,
И отцов перессорили с дедами.

Тонко подмечено. В этих поэтических строчках заключена глубокая мысль - мы не случайно пошли по этому пути. Нас туда сознательно направили, выдав черное за белое, поменяв местами добро и зло, воспользовавшись русской доверчивостью и фальсифицируя нашу историю. Как еще разобщить народ, посорить поколения, разрушить связь между людьми, сделать их слабыми? Только натравив детей на отцов, вбив между ними клин, который потом расколется и страну.

Тема казачества не могла не найти отражения в творчестве поэтессы - выросла она в казачьей стороне с укладом и обычаями, передававшимися из поколения в поколение.

Я здесь себе построила жилье,
Сюда я с полдороги возвращалась.
Здесь детство неразумное мое,
Когда-то, как ребенок, потерялось.
Хожу, ищу по ближним хуторам,
Зову его - ни отклика, ни плача.
И только песни слышу по дворам.
И новые и старые - казачьи.

Часто так бывает, что поэты предугадывают свою судьбу в стихах.

Птичьим гомоном даль говорила,
Таял лед и помалкивал сад.
Я какую-то дверь отворила
И уже не вернулась назад.



Безусловно, речь здесь идет о любви. Но так получилось в судьбе Раисы Котовской, что она однажды отворила дверь в еще один мир - поэзии и уже не вернулась оттуда, до последнего дня оставаясь тем, кем создал ее господь - поэтессой. У нее был редкий талант - идти от конкретного факта и через него выходить на бескрайние просторы человеческой души. Кто мы такие? Куда идем? Что такое любовь? Это те вопросы, которые она задавала сама себе, порой долго, мучительно ища ответ и не находя его.

В начале 80-х она пишет:

Пора погодить, оглядеться,
Где солнце, где лес голубой...
Любовь пробралась в мое сердце,
Еще до знакомства с тобой.

Эти нежные строки о любви трогают за душу своей девчоночьей искренностью. Жизнь в ожидании, в предчувствии любви - это как ожидание нового дня, как рождение новой жизни.

Ее светлый талант продолжает дарить радость. Раиса делила свою любовь на две равные части - любовь к людям и любовь к поэзии, к слову.

Не говори, что я сурова,
Что ожидаю я другого...
Не жду я нынче ничего
Помимо маленького слова
Но в целом свете - одного.

Она несла по жизни свой крест - неустроенность, непонимание, несбывшаяся любовь, одиночество. В одном из последних стихотворений «Эпитафия» поэтесса подводит итог своей жизни.

Я уже спокойна и свободна,
От всего с названьем «се ля ви»
От ревливой дружбы подколодной,
От земной припадочной любви....

И, своя для нищих и убогих,
Об одном лишь думаю пути,
Лишь бы не загинуть по дороге!
Лишь бы крест до места донести!

Она ничего не просит для себя, ничего не хочет от жизни, с грустью и нежностью прощаясь с любовью земною и уходя по дороге другой любви, небесной и вечной, - бесконечной дороге к Богу.



ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ

*В. Бутенко «Девочка на джипе» //
Наш современник. – 2011. – № 10.
Девочка на джипе. Повести. Рассказы.
Стихотворения.
Ставрополь, 2017.*

Повесть Владимира Бутенко открывается без затей, без какой-либо предварительной экспозиции, я бы даже сказал: по-деловому – с сообщения о письме из Ростовской области, которое и служит завязкой произведения: оно определяет дальнейший ход повествования, все последующие события так или иначе сопряжены, связаны с ним и восходят к нему. Написанное почти телеграфным стилем письмо Ивана Аржанова довольно скупо сообщало о смерти тетушки, о трагической судьбе ее сына Виталика, спившегося и замерзшего «натурально под забором», о снохе Зинуле, «бухавшей по-черному», укатившей с каким-то сектантом в Сибирь, о внуке Ромке, связавшегося с урками и попавшего в тюрьму. По всему выходило, что наследниками «каменного куреня о трех комнатах, времянки и сарая саманного, огорода и старого сада» являются двоюродные братья по материнской линии: Иван, доглядывавший с женой за тетей, справивший похороны, и Андрей Петрович, давно с родных краев уехавшего и более десяти лет на родине не объявлявшегося. По этой последней причине, а вдобавок и потому, что Андрей Петрович тетку свою помнил плохо, Ивану можно было бы и не сообщать ему обо всем, а спокойно прибрать к своим рукам теткино наследство, но совесть не позволила. Вот эта субстанция – совесть, – упоминаемая в письме, становится одной из главных мотивов повести.

Отношение к письму и его содержанию во многом определяет жизненные



**ПЕТР
ЧЕКАЛОВ**

**ЛИТЕРАТУРО-
ВЕДЕНИЕ**





и нравственные принципы супругов Баклановых. Нельзя сказать, что смерть тетки Андрея Петровича сильно расстроила и огорчила: он уже находился в таком возрасте, когда такие неотвратимые несчастья воспринимаются смиренно, как объективная неизбежность. Но жена его радости не скрывала и с улыбкой сообщила вернувшемуся с дачи мужу неплохую новость.

В повести даже не акцентируется внимание на том, что Алла без спроса вскрыла и ознакомилась с содержанием письма, адресованного мужу. Вероятно, это стало настолько привычным, что и сам Андрей Петрович не заостряет внимания на этом факте и никакого значения ему не придает. Но главное не это: Алла радуется смерти другого человека, как будто не догадывается, что это не совсем прилично. Было бы понятно, если бы усопшая Татьяна Фоминична как-то досаждала ей при жизни и радость Аллы явилась бы следствием каких-то мстительных чувств. Нет. И причина радости банальна и корыстна: ее муж может получить часть наследства в забытом богом хуторе Майском. Именно это определяет ее приподнятое настроение. Для Андрея же Петровича вопрос даже не заслуживает обсуждения: «Конечно, откажусь» – первое и, как выяснится впоследствии, окончательное решение, которое он принимает сразу же. Реакция на мнение мужа вскрывает душевную глухоту супруги: «Да ты чо, чокнулся? Деньги не нужны?...» Для нее смерть человека уж тем хороша, что от него перепадает часть наследства.

Вообще об Алле Ивановне мало сказать, что она недобра, она откровенно агрессивна, о чем свидетельствует резко неприимимая тональность ее вопросительных предложений, категоричность суждений, преимущественно повелительное наклонение коротких фраз: «На твою пенсию и таракан не проживет. (...) Так бы и дала по башке! Только книжки читаешь! Тебе семья не нужна. (...) Если откажешься, я с тобой разведусь! (...) Жили! Хуже цыган! (...) Нищий! И я с тобой нищая...» Об ограниченности ума, отсутствии культуры говорит и предпочитаемая ею лексика: «Сидим с голой задницей. (...) Тю-тю на Воркуту. (...) Уколами шабашку сбиваю...»

Речевую характеристику персонажа дополняют элементы портрета, телодвижения, жеста, взгляда: «зыркнула через плечо», «громыхнула шумовкой по кастрюле и с не свойственной ей летам легкостью повернулась к мужу», «выпученные глаза подернулись зловещим блеском, шумовка в руке качнулась», «распахнула дверь, запальчиво докричала», «лоснящееся от пота ее лицо было настолько отталкивающим...»

И сказано немного, но суть персонажа схвачена и выведена точно. Ничего и дополнять не нужно. До конца повести она такой и останется. Алла Ивановна статична не столько пото-



му, что в ее годы прогрессировать больше некуда, а потому что такие люди в какой-то срок обретают органично свойственную их мироощущению манеру речи, поведения и не только не испытывают желаний развиваться дальше, но и не имеют к тому способностей.

Смеем предположить, что такими скуными средствами столь объемно воссоздать образ персонажа с доминирующими в нем внешними и внутренними чертами может только мастер.

Итак, письмо выступило средством завязки, вынудившим героя наведаться в родные места. Жена была не против, так как, по ее разумению, отказаться от наследства можно было и телеграммой, а раз муж собрался ехать, значит, – за причитающейся долей. Она и напутствовала его повелительно, как старшая в семье по званию: «Оборвешь айву, слышишь, и – дуй!» Он и пустился в путь... Но тут нам впору, ненадолго отвлекшись от сюжетного повествования, представить нашего героя.

Родился Андрей Петрович на Дону. Здесь он рос, бегал босиком, учился крестьянскому труду, пас хуторских коров, слагал стихи, в юности причесывался «под Есенина», чтобы нравиться девушкам... Встреча с Михаилом Ефимовичем, учителем истории, определила его дальнейшую жизнь: он полюбил историю, участвовал в школьных, районных, областных олимпиадах, а затем поступил в пединститут, окончил, учительствовал, храня просветительский запал и по мере возможности отстаивая справедливость, стал отличником просвещения Российской Федерации. Перестроечные события и последовавший за ними развал СССР учитель истории воспринял как личную драму, перенес инфаркт, выкарабкивался долго, с помощью укрепляющей физкультуры, диеты, и в свои 65 лет чувствовал себя довольно сносно. Правда, из школы пришлось уйти, но устроился в поликлинике на полставки электриком, попутно выполняя всякую хозяйственную работу: косил траву, ремонтировал мебель и установки...

Это, так сказать, общественная линия жизни героя. Естественно, была у него и личная, главную роль в которой сыграли две женщины. Первую свою жену, Марину, Андрей встретил в пору первых лет учительствования. Молодые люди полюбили друг друга, поженились, родили девочку, и Андрей «сразу, всем нутром полюбил этот тепленький комочек, завернутый в пеленки», всячески помогал жене, катая, купая, укачивая дочурку. Особенно грело душу то, что первым словом, которое она произнесла, было «папа». Через многие годы, беспристрастно оценивая прожитое, Андрей Петрович убедился в том, что «Марина была женщиной, предназначенной ему богом». Но в идиллическую жизнь молодой семьи бесцеремонно



вломилась бойкая медсестра Алла и переиначила жизнь Андрея по своему усмотрению. Хваткая, не отягощенная нравственными тормозами, она увлекла молодого учителя в постель, потом упорно напоминала о себе, добиваясь новых встреч. Когда же связь стала постоянной, она однажды воинственно изрекла: «Заберу тебя, милый, у Маринки». «Я вещь, что ли?» – только и нашелся женатый любовник, и на большего протеста у него духа не хватило. Бесстыдная уже в пору молодости Алла сама же раскрыла глаза своей замужней сопернице, вероятно, психологически рассчитав дальнейший ход событий. «Разрывный разговор» Марины и Андрея характеризуется лишь двумя краткими, но содержательными, психологически точными прилагательными: «был мучителен и негромок». На вопрос жены: «Почему ты предал меня?» горе-любовник, не смея оправдываться, казнясь и сознавая, что не заслуживает прощания, ничего не смог ответить. Так они и разошлись, два богом предназначенных друг другу человека.

Не то удивительно, что Андрей сник под укорительным взглядом любимой и любящей жены (в отличие от Аллы совесть у него была жива), а то, что после этого он счел возможным жить с Аллой! Это ничем не оправданная слабость духа, интеллигентщина в самом худшем смысле слова. Он был достаточно умен, чтобы понять: Алла, годясь для постельных забав, никак ему в жены не годилась, они совершенно разные люди!.. Впрочем, в молодости все это не столь очевидно...

Так или иначе смиренность героя в роковую для него минуту оказалась судьбоносной: всю последующую жизнь ему пришлось провести с безлюбой женщиной, с которой не гармонировала ни единая клетка души. Положение вечно ведомого усугублялось непониманием, некой закабаленностью.

Нельзя сказать, что совместная жизнь с Аллой представляла собой сплошную душевную муку. Нет, конечно. В повести общается, что была она неплохой хозяйкой и заботливой женой, и жилось с ней, хотя и малорадостно, но надежно. И «привычной проторенной тропой следовал он за своей Аллой: дом, работа, дача».

От второго брака у Андрея Петровича появился сын. О нем в повести только упоминается, а вот Наташа, первая дочь, в сюжетной линии произведения играет важную роль. В принципе, сюжет и сводится к восстановлению потерянных родственных связей между отцом и дочерью, вследствие чего необходимо остановиться на том, как сложились в дальнейшем их взаимоотношения.

И тут нужно отметить, что герой повествования сменил место жительства: он стал ставропольчанином. Когда и в связи с чем – не объясняется. Возможно, в этом месте литературный персонаж в какой-то мере повторяет личный опыт ав-



тора, который в свое время, окончив школу в Ростовской области, поступил и отучился в Ставропольском медицинском институте, вернулся на родину, семь лет проработал стоматологом в поселке Целина, а затем навсегда поселился в Ставрополе. О географии проживания мы упоминаем в связи с тем, что поддерживать постоянные отношения с дочерью герой не мог по объективным причинам, но регулярно высылал алименты несмотря на то, что у дочери со временем объявился отчим. Когда Наташа достигла совершеннолетия и прекратились выплаты, интерес дочери к отцу стал пропадать, хотя и потом она иногда обращалась к нему за поддержкой. Андрей Петрович помогал по мере возможности, скрывая от жены, не одобрявшей такую щедрость.

Выход Наташи замуж совпал с пребыванием Андрея Петровича в кардиоцентре, и ее письмо с сообщением о предстоящем замужестве и цене свадебного платья Алла от него скрыла. После того, как все обнаружилось и отец попытался связаться с дочерью, у него ничего не вышло: дочь затаила обиду. Когда он в очередной раз послал ей деньги на день рождения, та позвонила и заявила: «Мне больше не надо ваших подачек. Отцом я считаю Сергея Васильевича, который вырастил меня вместе с мамой. А вам желаю не быть скупым...» В тексте эта фраза сопровождается авторским комментарием: «Так мог сказать только несправедливый человек». Андрей Петрович действительно скупым не был: несмотря на то, что жил он в ту пору без особого достатка (в повести упоминается: «У самих не было ни гроша»), он все-таки высылал деньги, занимая у приятелей необходимую сумму. Но так или иначе отношения разладились окончательно, и поездка в Ростов, встреча, попытка объясниться с дочерью запомнилась только грубостью с ее стороны. И вот прошло с тех пор двадцать два года. Он с дочерью больше не встречался, не знал ничего о ее жизни. И, когда пришло письмо от брата и представился повод посетить родные места, первое, что пришло ему на ум – дочь повидать... Благо, у него оставалась неделя отпуска, он подремонтировал свой «жигуленок» и – отправился в дорогу.

Все эти сведения в повести представлены ретроспективно отдельными фрагментами, рассыпанными по всему тексту. Мы их собрали воедино, изложили в хронологической последовательности для того, чтобы у читателя сложилось какое-то представление о человеке, который оказался в центре повествования.

По пути на родину Андрей Петрович решил завернуть к Лукьянченко, другу детства, бывшему коллеге по школе, во время сменившему педагогическую деятельность на партийную работу: начинал инструктором, стал завотделом, в годы перестройки дорос до первого секретаря райкома партии. А



потом с ним произошла метаморфоза, которую И. Губерман воплотил в две гениальные строки:

Заходят в кантору товарищи,

Выходят – уже господа!

Из кресла первого секретаря Лукьянченко удалось перебраться в кресло банкира: двенадцать лет «денежками в банке ворочал». Не все было просто и в его жизни: то полтора месяца скрывался у дяди в Батайске, то со всякой нечистью являлся, «в клюв по куску сыра давал», но – остался на плаву! А потом преуспел еще больше, чем в социалистические времена: «Живу в условиях, близких к коммунизму», – с легкостью скажет он своему другу.

Когда настал срок, вышел на заслуженный отдых, но не жалуется, так как его персональной пенсии хватает на то, чтобы безбедно существовать с женой. Благо, обе дочери обеспечены, чтобы не сказать богаты. У него дом – дворец, в доме – прислуга, жена с внучкой разъезжает по Италии, звонит с площади Сан-Марко из Венеции, и Василий Ильич беспечно дознается: корм для голубей все еще по евро или подорожал?

Выглядит он рослым, вальяжным, бриоголовым – «точно босс из «энтэвэшного» телесериала». Он не идет, а шествует, спортивный костюм на нем – мягко струится, басок – начальственный, но он не мешает ему чеканить фразы, а при случае и рывкнуть с начальнической вибрацией в голосе, а потом строго наблюдать за тем, как домработница выполняет его указание...

Его образ сопровождают золотые дужки очков, бутылка виски с черной наклейкой, беседка-ротонда, обвитая виноградными лозами, от чего в ней устоялся запах изабеллы и муската («Элитный. Сладше, чем у персидского шаха»), машина «БМВ», дом-дворец... Одним словом, – «коммунизм в отдельном взятом дворе». Все это бывшего партработника нисколько не смущает, и он при случае продолжает позиционировать себя коммунистом без какой-либо самоиронии: «Мы, большевики...» При этом ему же с высокой колокольни плевать на распад огромной страны («Хрен с ним, с Союзом!»)... Андрею Петровичу, к слову, крах бывлой державы дался настолько тяжело, что оказался с инфарктом в больнице, а потом по инвалидности пришлось уйти из школы...

Но все же Василий Ильич помнит былую дружбу, искренно рад другу, передает ему свою визитку («На территории района ни один гаишник не тронет»), способен на широкий жест – подарить «Ниву» в хорошем состоянии, с импортной резиной. И здесь никакой роли не играет словесное сопровождение: «С царского плеча». Это приятельская шутка, которая, он уверен, будет воспринята и истолкована другом правильно. И когда Андрей Петрович отказывается от подарка, находя в этом



«что-то холопье», Василий Ильич говорит просто: «Ты Андрюшка, не выкаблучивайся... Я тебе не милостыню даю. (...) Никогда не просил. А сейчас прошу поклонно! Это мне нужней, чем тебе. (...) Если считаешь меня настоящим другом, то любой подарок твое самолюбие задевать никак не может. Если, конечно, считаешь...»

Василий Ильич – продукт переходной эпохи, человек, с легкостью поменявший политические убеждения, духовные ценности, считая, что суть не в смене формации, но в ком еще окончательно не выветрился дух породившей его эпохи. Он не лишен добрых чувств и качеств, умеет трезво рефлексировать над тем, что происходит в стране: «До сих пор номенклатуру ругают за привилегии. Но сравни, как тогда жили и что теперь! Прежде справедливость хоть как-то соблюдалась. Опора была на человека труда. А сегодня? Два полюса: олигархи и презренная чернь». Не уловить в этих словах затаенной боли невозможно. Эта колоритная (в художественном смысле) фигура, на наш взгляд, очередная удача писателя.

Если с образом Аллы были связаны вопросы нравственности, то образ Лукьянченко в первую очередь актуализирует проблему мимикрии, приспособления человека власти к изменившимся общественно-политическим условиям. То, что Василий Ильич оказывается болен раком, можно было бы трактовать как расплату за предательство, измену идеалам юности, но, по всей вероятности, это уже отдавало бы метафизикой: вон Андрей Петрович ничему не изменял, однако инфаркт перенес.

Образ Лукьянченко в основной сюжетной линии никакой роли не играет, он с ней вообще никак не соприкасается, как не соприкасаются с ней ни Алла, ни девочка-замарашка, ни «плечевая», ни пастух, ни чета Самусенко, ни старик Аким, но все они придают повествованию объемность, полноту представленной картины жизни, и потому каждый из них на своем месте выполняет свою индивидуальную роль, работает на общую проблематику произведения, а она представлена довольно-таки широкоформатно.

Всю повесть пронизывает мотив малой родины. Уже в конце первой главы, когда герой выезжает на Донщину, об этом сообщается, казалось бы, просто и беспристрастно: «Дорога вела на родину». Но тут же прорывается ностальгически возвышенное: «И то, что потаенно хранилось в душе – самое заветное и святое, – исподволь воскресло. Выходит, неистребимо это ощущение сопричастности отчей земле, поколениям предков!» И потом, когда герой оказался в пределах Ростовской области: «Все вокруг сливалось в одно короткое слово: родина».



С образом родины переплетается образ матери – неизъяно дорогой, ласковый, озаряющий мир. Неслучайно ее образ всплывает в памяти именно в момент пребывания героя на родной земле: «Она помнилась и молодой красавицей, и сидящей, статной, с морщинками у глаз, и совсем старенькой, с палочкой. Материнская любовь, конечно же, Божья милость и благодать. И пока была жива мама, все у него, единственного сына, ладилось».

Образ родины смыкается и с родным подворьем, неузнаваемо преобразившемся после того, как было продано беженцам из Карабаха. Но, тем не менее, узнается дощатый забор, закрывший крыльцо, трава-спырьш, выщипанная утками, старая вишня-рогатуля, посаженная вместе с отцом... «Сколько раз уезжал отсюда и возвращался! Сколько пережито здесь и потеряно! Этот кусочек донской земли был для него центром планеты! Был... А сейчас раздавалась тут непонятная речь, плакал младенец. Разочарованно кольнуло сердце, точно ошибся адресом...»

Образ родины предстает не патетичным, не помпезным, а милым, дорогим, щемящим, вписанным в повествование на прочувствованно-лирической ноте. Эти фрагменты прорастают самопроизвольно, как естественный отклик на встречу с родной землей, и столь искренно, что не поверить, не принять, не сопереживать невозможно. Этот момент нам представляется чрезвычайно важным в период массового отчуждения людей от собственной отчизны, когда признаком хорошего тона повсеместно стал отзыв о родном отечестве – «эта страна». Ненавязчиво, исподволь, как само собой разумеющееся приобщает писатель своего читателя, как бы пафосно это ни звучало, к священному чувству патриотизма.

Андрей Петрович всю жизнь проработал учителем, и естественно, что психология педагога стала его второй натурой, и она проявляется уже помимо его воли. Так, например, покупая у кудрявой девчушки дыни, он попутно выговаривает ей: «А почему не расчесана, не умыта?» Эта же натура подводит его к стычке с пастухом, который древко с флагом Советского Союза превратил в сигнальный флажок: «Разворачиваю, когда стадо дорогу переходит». И обличительная речь героя натывается на гневную отповедь бывшего колхозника, 17 лет проработавшего механиком, а в новых условиях вынужденного «крутить коровам хвосты»: «Не бреюсь, чтоб не узнавали...»

Любопытным в психологическом плане предстает и восприятие героем сильной и красивой японской машины. Будучи автолюбителем со стажем, Андрей Петрович не мог не отметить про себя выверенность линий, ладность дизайна, не почувствовать мощь современной техники. И вот в эти ощущения эстетического характера вплетается социальная струя,



и общее впечатление от иномарки меняется кардинально: «Никогда не приобрести русскому учителю-пенсионеру такого автомонстра. Не заработал, не вошел в число избранных... И от этой мысли восхищение «хайлэндером» померкло». И здесь писатель оказывается психологически точным. Но полнота картины достигается еще одной деталью, когда к горечи героя добавляется забавляющая мысль о том, что при всей своей мощи зарубежная чудо-техника не смогла одолеть ветхого казачьего моста и беспомощно замерла на ней.

Психологически выверенной представляется и следующая деталь. После того, как Андрей Петрович расстался с полудночной спутницей, в которой разгадал собственную внучку, он «невольнo шагнул следом» за ней. В принципе, этого было достаточно для того, чтобы передать движение сердца немолодого героя, и не обязательно было дополнять этот емкий и верный штрих последующим уточнением: «остро ощущая миг разрыва, хотел окликнуть и остановить убегающую к машине родную душу».

Психологический шок, отрешенность, неадекватность состояния героя в тот момент, когда, казалось, он потерял новообетенную внучку, передается через описания изменившихся внешних примет окружающих: «Почему-то у всех лица и одежда были фиолетовыми. Трое гаишников, тоже странных внешне – с длинными носами и в огромных форменных фуражках, блокировав движение, шевелили синими губами».

Такие сцены и картинки с натуры важны не только тем, что живо фиксируют типичные черты переживаемой эпохи, но еще и дополняют психологический портрет героя, делают его живым, достоверным, убеждают: так поступать и реагировать может только учитель, чья профессия предопределила мировидение, мироощущение, оценку, взгляд, отношение ко всему, что происходит вокруг, соучастником – вольным или невольным – которого он вынужденно становится. И переживаемая жалость к оборванной девочке, и гнев за безразличное отношение к ней родных, и оскорбленное чувство за красный символ бывшего Союза, и боль за страну, ставшей такой, выдают нам не просто гражданина, а учителя с устоявшейся психологией и взглядом на вещи и события. Он не корыстен, не злонамерен и, хотя не безгрешен, но живет по правде, судит по справедливости. Откликнувшись на зов брата, он приехал к нему, преодолев несколько сот верст, чтобы официально подтвердить свой отказ от наследства. И уже в финальной части произведения, когда Иван станет полнокровным владельцем теткиного имущества, тот растроганно скажет: «Ты, Андрюша, по совести живешь. Ни у кого не крал, никому не завидовал». Образ героя еще раз подтверждает: человек живет не для радости, а для совести.



Хотя Андрей Петрович давно уже не работает в школе, но все, что происходит с ней и вокруг нее для него небезразлично, и он разделяет пафос физика-отставника: «ЕГЭ – диверсия. (...) Школьников превратили в придаток машины. Оценка зависит не от мыслительных способностей, а от зубрежки. Этот экзамен-представление практически не контролируем. Взятки из пединституты переместились в районе. Об этом знают все! Стопроцентные баллы в горных аулах...»

В связи с профессиональной принадлежностью главного героя проблемы современной школы в повести встают неоднократно и очень остро. Самусенко упоминает об избии учителей старшеклассниками, напоминает об основополагающем значении дисциплины в школе, которую отвергли «в угоду богатым маменькам и папенькам». Эту же линию продолжает старик Аким, наслышанный о школе от жены внука, учительницы химии: «Не детки пошли, а чертячьи выродки. Прямо на уроках матюкаются, дерутся, пиво пьют. А главное, к учебе без внимания! Оно и понятно, зачем голову ломать, коли ценят не по знаниям, а по доходному месту? Гибнет молодежь».

Проблемы школы – и не только современной, но и середины 1950-х, когда герой был школьником, и 60-х, когда он начал свою педагогическую деятельность – в повести занимают заметное место, но было бы непростительной ошибкой сводить всю проблематику произведения только к педагогическому вопросу. Нет, она гораздо шире. Вот герой оказался в родных пенатах, и с чем он сталкивается в первую очередь? Реестровыми казаками командует власть, и все войсковые атаманы пляшут под московскую дуду. Даже дед Аким понимает, что «властям это казачество без надобности», и именно поэтому у Аржанова ничего не выходит, как ни старается. О результате деятельности сына тот же Аким иронично замечает: «Форму себе пошил за три тыщи! Организовал казачье общество. А толку? Походили по хутору, поугали собак – и угомонились».

Эта проблема общего плана, предопределяющая многие частные. Глава хуторской администрации Васин поселенческий клин сдал в аренду некоему Марченко («Не за «спасибо», конечно!»). Марченко эту землю купил, а когда геологи открыли в ней циркониевую руду («Немереные залежи!»), перепродал москвичам, а те собрались строить комбинат, добывать руду, наживать капиталы. А казаки – истинные хозяева земли – остались в стороне, будто они ко всему происходящему никакого отношения не имеют. И теперь им предстоит через суд возвращать себе собственную же землю... Можно сказать: парадокс, можно – абсурд. И в этом вывернутом наизнанку мире вынуждены жить не только литературные герои Бутенко, но



и вполне реальные люди вполне реального, необъятного по своим масштабам государства.

От брата Ивана узнает Андрей Петрович об истории другого колхоза, в свое время гремевшего на всю область. И вот в новых условиях его «сперва налоговики обложили. Потом банкротили все, кому не лень. (...) Назначили управляющего. Он пригнал на уборку комбайны, знаешь, откуда? Из Турции! До слез горько... Федор поднял казаков. А ему из прокуратуры позвонили. Назвали закон и статью, по какой за экстремизм в кутузку». (Недаром один анонимный персонаж повести восклицает на собрании: «Для администрации теперешние законы – рай! Поэтому и называется: «райадминистрация»).

Тот же Иван обнажает другую проблему: «Деньги на развитие сельхозпроизводства выделяет государство, а где они? Попробуй, как фермер, возьми кредит! Там такие проценты, что без штанов останешься. Я-то знаю! Вот и прокручиваются несметные средства через банки, а оседают опять же в московских карманах. Факт!»

Но это не все проблемы. Поверх всех этих напастей накладывается еще одна: «С Кавказа люди власть берут. Всех себе подчиняют». Именно с этой криминальной линией поневоле приходится соприкоснуться Андрею Петровичу в ночь, когда он поехал на рыбалку. От непрошено вторгшейся в его машину юной девицы он узнает, что поздно вечером к ним в офис вломались гамадрилы в масках и камуфляжах. Схватив сумку и ноутбук, ей пришлось убираться через окно, пока офисные ребята вступали в рукопашный бой с незваными гостями. Потом она удирала на джипе: «Прикольно было, я без фар через поле. За мной две машины!» Когда Андрей Петрович выразил свое изумление: «Не казачий край, а дикий Запад», девушка поправила: «Хуже! Там законы. А у нас – понятия». Таким образом, современная эпоха в повести выступает важным закадровым действующим лицом.

И именно в эту ночь в кабине своей старой «пятерки», освещенной голубовато-белым светом раскрытого ноутбука, от этой «фитюльки», «полуночницы», девочки из серебристого джипа, невесть откуда свалившейся ему на голову, узнает Андрей Петрович, что она является его внучкой, а ее мама – «мадам Шацкая», известная на всю область руководитель агрохолдинга – его дочь! И он, не признаваясь, кем ей доводится, помог девушке вызволить застрявший на полуразрушенном деревянном мосту джип. Она уехала. А на следующий день на перекрытой улице райцентра он увидел ту же машину с продырявленным от пуль лобовым стеклом... Бандиты настигли-таки свою жертву и расстреляли среди бела дня, но от гаишника узнал Андрей Петрович, что Женя в реанимации.



Это несчастье и сводит на последней странице отца и дочь в станичной церкви. Первоначально цепкий, неприязненный взгляд Натальи сменился удивленностью и теплотой: «Прости... Сама хотела тебя разыскать. И мама перед смертью просила, чтобы мы помирились...»

Вопрос жизни / смерти внучки остается открытым, хотя поэтика последней фразы повести кажется довольно красноречивым: «Священник, перекрестив, проводил их к паперти и осторожно притворил дверь храма, озаренную последним закатным лучом».

Повесть Бутенко ориентирована на русскую классическую традицию, и она до конца остается в плоскости реалистического описания событий. Лишь однажды автор допускает мистическое вкрапление, когда в предзоревой дымке является Андрею Петровичу видение величественной странницы – Степовицы – хранительницы отчей земли и народа казахов. При ее движении «черные косоглазые призраки, напоминающие то ли зайцев, то ли пауков, то ли бесов, в ужасе шаркались от нее, а многие исчезали напрочь».

Впоследствии писатель переведет эту символическую картину в сновидение героя, но важно понять ее содержательно-смысловую подоплеку. Степовица появлялась только накануне грозных событий, неминуемых бед и наставляла на дела героические во спасение родины. И в данном случае она объявилась в донской степи не даром, ибо уже «изболелись казачьи души в печали и недоле». Может показаться несколько надуманной мысль увязывания образа святой с предупреждением о надвигающихся «грозных событиях» (революции?), но в контексте произведения образ Степовицы прочитывается именно в таком ключе.

Любопытно, что во всей повести самая разумная философия жизни оказывается у беззаботного цыгана Илюшки: «Птичка по зернышку клюет и сыта, а свинья жрет ненасытно и не остановится, пока не заколует. Всего золота не захватишь. (...) Главное, чтоб душа не горевала...»

Художественный язык повести Бутенко достаточно скром и скуп, он не блещет словесными изысками; как правило, автор выбирает самые простые формы, и слова означают то, что они и призваны означать. Каждый мало-мальски значимый персонаж обладает своей индивидуальной речью, говорит языком, не похожим на язык других действующих лиц. Чтобы убедиться в этом, достаточно сопоставить речь Аллы, Лукьянченко, Акима, Вали, Жени, бандитов. Язык – визитная карточка всякого человека. Писатель осознает это и с помощью речевой характеристики еще больше индивидуализиру-



ет своих героев. Если Алла предпочитает говорить короткими рублеными фразами, напоминающими стиль диспетчера таксопарка, то Василий Ильич вальяжен не только в манерах, но и в словах; Валя – легка, язвительна, речь деда Акима полна диалектных слов, у юной Жени преобладает молодежный сленг, у бандитов, естественно, – блатной жаргон. И все это накладывается на книжный стиль авторского повествования. В результате в повесть вовлекается сразу несколько пластов русского национального языка, отчего язык самого произведения становится многообразным, красочным, живым, точным. Остановимся на некоторых примерах.

О возвращении Андрея Петровича с дачи сообщается: «притащился». И уже не нужно объяснять, как он работал и насколько устал, все это емко вместились в один точно подобранный глагол. Об Иване, сопровождавшем брата на рыбалке сказано: «надергал десятка три нагуленной плотвы и карасей». Одно слово «надергал» раскрывает механичность действий, отсутствие удовольствия и эстетики в процессе рыбной ловли. Вот всего шесть слов: «Валюшка налилась вишневым соком, созрела в гневе», – и выразительный портрет готов. Вероятно, его можно расширить и другими словами, но ничего существенного не добавят они к тому, что уже выражено. Бутенко хорошо чувствует язык, ее строй, вкус, температуру. Об одном из трех бандитов, нагрянувших среди ночи на Андрея Петровича, говорится: «И в наклоне фигуры, в движении рук угадывалось агрессивно затаенное». Несколько слов всего, но сущностная доминанта персонажа схвачена и представлена отчетливо.

Отношение Марины к учителю истории представлено кратко: «Ответно была с Андреем дружественна». Просто, безыскусно и исчерпывающе представлено расположение девушки к молодому человеку. Но попробуйте поменять в этом предложении слова местами, и вы увидите, что фраза потеряет тепло и внутреннюю гармонию. В другом месте одним предложением выражено сохраненное через десятилетия чувство, накопившееся томление по первой любви: «И он, узнав любимую, бросился навстречу, обнял, ощутив ласково прильнувшее тело, которое выскользнуло из рук, истаяло...» Ощущение зыбкости, ирреальности происходящего, проявляющееся в заключительной части фразы, не оставляет сомнения в том, что действие происходит во сне, и символический подтекст финала – предварение – мы разгадаем только в конце повести, когда вместе с героем узнаем, что Марина уже умерла.

Думается, не нужно быть профессиональным водителем и иметь опыт общения с «плечевыми», чтобы оценить, насколько точно, верно и полно раскрыт образ девушки определенной профессии в мимоходом оброненной фразе: «Пота-



сканная, с ярко-рыжими волосами деваха курила, сидя на подножке. Очевидно, «плечевая». Она сузила заспанные глаза на «новенького» и тут же отвернулась, прикинув, что для клиента – староват».

Вообще взгляд писателя приметлив на детали: он умеет подмечать и умело, органично встраивать их в текст произведения. Дополнительным свидетельством тому выступают и лошади, привязанные к Доске почета, на которой «вместо фотографий пестрели объявления», и юная секретарша нотариуса, «одновременно болтая по телефону и печатая на компьютерной клавиатуре», составлявшая документ. Автор замечает преобразенно замершую воду пруда, слух его улавливает хлопанье ныряющей ондатры, а в вытягиваемой на берег резиновой лодке нос почувствует запах прикормки и лещевой слизи... Такие примеры убеждают, что писатель одновременно использует различные органы чувств, чтобы наиболее полно и зримо представить художественный образ.

Можно заметить, что у Бутенко функции выразительных средств чаще всего выполняют глаголы: «Плескались на ветру ветви деревьев», «рядом пульсировала транспортная жила», «тихонько рокотали подсохшей листвой клены». Олицетворение придает тексту тонкое лирическое начало, переносимое и на героя, чьими глазами эти картины воспринимаются. Особной поэзией наполняются пейзажные зарисовки, искусно воспроизводящие природную красоту целно и умильно: «И флейтовую свою песнь рядом, в кроне белоствольного осоко-ря, терпеливо допевала иволга»; «И показалось Андрею Петровичу, засмотревшемуся на закат с обрыва, что кто-то неведомый забросал плесы лепестками осенних ма-льв и радуется вместе с ним этой забаве».

Из простых, ничем непримечательных, на первый взгляд, наблюдений, умеет писатель выводить нетривиальные умозаключения. Вот герой идет по станичной улице и глаз произвольно отмечает странное соседство трехметровых, облицованных плиткой, похожих на крепостные стены заборов с частоколами, кованые железные ограды – с дощатыми изгородями, старинные каменные валы с заплотами из бревнышек. А сознание – тоже самопроизвольно, без какой-либо заблаговременной установки – рефлексировать увиденное: «По одним ограждениям можно было судить, какими разными стали люди за полтора десятка лет, как размежевались их судьбы». Эта общая мысль, выраженная в начале третьей главы, обретет свои реальные очертания в сопоставлении образов Бакланова и Лукьянченко, который после встречи с другом детства и юности заметит: «Да, родились в одном хуторе, учились в одной школе и работали вместе, а прожили по-разному!» Философично! Заключение самоценно и самодоста-



точно, но оно же выполняет и другую формально-композиционную функцию: в конце главы конкретизирует и обрамляет прозвучавший в ее начале мотив.

Говоря о языке Бутенко, нельзя пройти мимо одной его особенности: отдельные фразы его по звучанию приближаются к стихотворной речи: «Сполох упал в балку рыжим коршунном» – пятистопный хорей с переносом ударения во второй стопе с первой на второй слог; «Осень, пора прозрения и грусти» – четырехударный дольник с дактилической основой; «И вновь он остался один в осенней степи» – пятиударный дольник на амфибрахической основе; «Резвились молнии окрест» – чистый четырехстопный ямб... Заметим, что наиболее явно поэтическое начало и здесь снова проявляется в пейзажах.

Наверно, фрагменты таких стихотворных подобию при желании можно выявить у каждого прозаика, но все же для Бутенко – поэта и барда в прошлом – эта черта представляется наиболее характерной.

Повесть актуальна, злободневна, поднимаемые в ней проблемы современности остры и животрепещущи; переживаемая эпоха схвачена и представлена в ней писателем умным, тонким, эстетически состоятельным, душой болеющим за состояние страны и народа. В плане художественном она добротна, профессиональна, сработана мастерски. Вероятно, в силу этих причин Владимиру Павловичу Бутенко и была присуждена премия за лучшее произведение прозы журнала «Наш современник» в 2011 году.



СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Абрамов Яков Васильевич (1858 – 1906). Выдающийся деятель отечественной культуры и общественной мысли. Основоположник издания серии книг «Жизнь замечательных людей» (1889 г.). Публицист. Писатель. Общественный деятель. Родился в Ставрополе. Окончил Кавказскую духовную семинарию. Учился в Санкт-Петербургской военно-медицинской академии. За политические воззрения был выслан на Украину. Затем сотрудничал в журнале «Отечественные записки», возглавляемом Салтыковым-Щедриным. Широкую известность ему принесли статьи, рассказы и очерки, посвященные жизни простого народа. Последние шестнадцать лет прожил в родном городе, активно публикуя в столичной периодике. Похоронен в Ставрополе.

Блохин Николай Федорович. Родился в 1952 г. в селе Калюжном на Ставрополье. Журналист, литературовед. Лауреат премий им. Б. Горбатова Союза журналистов Украины, Всероссийской журналистской «Пегас-2004». Исследователь жизни и творчества выдающихся соотечественников. Живет в Ставрополе.

Гончарова Елена Михайловна. Родилась в Ставрополе. Окончила Ставропольский госуниверситет. Публиковалась в коллективных сборниках. Автор книг «Трамвайчик» и «Полосатый понедельник» Лауреат литературной премии губернатора Ставрополья им. Губина. Активно занимается просветительской общественной деятельностью. Живет в Ставрополе.

Козлов Юрий Вильямович. Известный российский писатель. Родился в 1953 году в г. Великие Луки. Член Союза писателей СССР и России. Лауреат многих литературных премий, в том числе премии им. А. Невского. Главный редактор «Роман-газеты». Прозаические произведения переведены на многие языки. Живет в Москве.

Комаров Александр Михайлович. Родился в 1956 году и живет в с. Китаевском нашего края. Окончил Ставропольский пединститут. Учительствовал, работает глав-



ным редактором районной газеты. Автор нескольких поэтических сборников, песен. Член Союза писателей России. Живет в селе Китаевском.

Кругов Алексей Иванович. Родился в 1959 году в Перми. Окончил Ставропольский педагогический институт и Институт российской истории РАН. Кандидат исторических наук. Автор монографий, учебников и учебных пособий, публикаций по вопросам аграрной и военной истории, краеведению. Живет в Ставрополе.

Полумискова Екатерина Петровна. Родилась в Ставрополе. Окончила Ставропольскую государственную сельхозакадемию. Поэт. Прозаик. Лауреат литературных премий. Автор поэтических книг и многочисленных публикаций в периодике. Возглавляет региональное отделение Общероссийского литературного сообщества. Член Союза писателей России. Живет в Ставрополе.

Петросян Михаил Суренович. Родился в Ставрополе. Известный ставропольский радиожурналист. Окончил журналистский факультет МГУ. Несколько десятилетий проработал на краевом радио. Признанный мастер во всех жанрах радиожурналистики. Лауреат журналистской премии им. Г. Лопатина. Живет в Ставрополе.

Селиванов Юрий Геннадьевич. Окончил Кубанский государственный университет. Сменил несколько профессий. Активный участник общественного движения по увековечению культурного наследия Кавказских минеральных Вод. Автор трех книг поэзии и прозы. Член Союза российских писателей. Живет в г. Минеральные Воды.

Скрипаль Сергей Владимирович. Родился в 1960 году в г. Темиртау Казахской ССР. Окончил Ставропольский педагогический институт. Учительствовал. Принимал участие в боевых действиях в Афганистане, отмечен правительственными наградами. В течение последних лет работает в газете «Ставропольская правда». Лауреат премии им. А. Губина губернатора Ставропольского края. Член Союза журналистов и Союза писателей России. Живет в Ставрополе



Федосов Петр Стефанович. Потомственный казак. Родился в 1937 году в станице Расшеватской на Ставрополье. Окончил Грозненский нефтяной институт. Много лет проработал в геологоразведке. Один из основателей общероссийского движения по возрождению казачества. Кандидат исторических наук. Автор нескольких книг по краеведению и истории казачества. Живет в Ставрополе.

Халимонова-Мельник Алла Владимировна. Родилась в г. Прокопьевске Кемеровской области. Окончила Новосибирскую консерваторию. Автор многих поэтических сборников. Член Союза писателей России. Плодотворно занимается просветительской духовной деятельностью. Живет в Ставрополе.

Чекалов Петр Константинович. Родился в ауле Кубина Карачево-Черкесской республики. Известный российский литературовед. Окончил Ставропольский педагогический институт. Доктор филологических наук. Профессор. Автор многочисленных публикаций о русских и северокавказских писателях. Живет в Ставрополе.

Шевякин Анатолий Николаевич. Родился в 1950 году в станице Филимоновской на Ставрополье. Окончил Ставропольский пединститут. Публиковался в периодике, в альманахе «Ставрополье». Автор поэтических сборников «Кто же я?» и «Даль судьбы». Живет в Ставрополе

Шишкин Евгений Иванович. Известный российский писатель, драматург и сценарист. Родился в 1956г. в городе Кирове. Окончил филологический факультет Нижегородского университета и Высшие литературные курсы. Лауреат всероссийских премий. Произведения переведены на иностранные языки. Член Союза писателей России. Живет в Москве.